

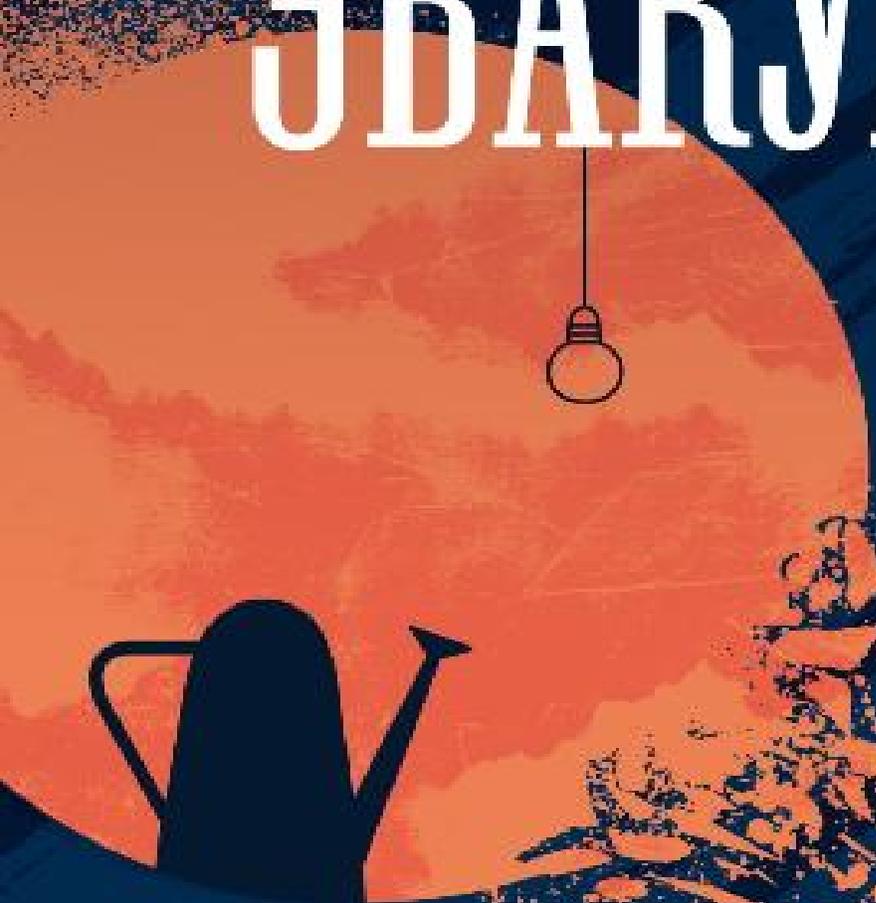
ДМИТРИЙ

БЫКОВ

ЭВАКУАТОР

Роман

18+



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

ДМИТРИЙ

БЫКОВ

ЭВАКУАТОР

Роман

18+

СЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ



t.me/marketologmanager

Annotation

Жить в Москве становится просто невозможно: каждый день столицу сотрясают теракты, кругом хаос и разруха. У главной героини Кати тоже всё рушится: и в семейной жизни, и на работе. А тут появляется он – инопланетянин с Альфы Козерога – и предлагает эвакуироваться с погибающей Земли на его родную планету, где всё по-другому. Но взять с собой можно только пять человек – как их выбрать?

Непредсказуемый сюжет, ирония, глубина и афористичность выводов о России, далеко не всегда веселых, – это роман «Эвакуатор» Дмитрия Быкова.

Содержит нецензурную брань

- [Дмитрий Быков](#)
 -
 -
 - [Эвакуатор](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [Князь Тавиани](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [Послесловие автора](#)

- Стихи вокруг романа
 - Басня
 - Пэон четвертый
 - Начало зимы
 - 1
 - 2
 - Новая графология-2
 - Песенка
 - Теодицея
 - Колыбельная для дневного сна
 - Серым мартом, промозглым апрелем,
 - Двенадцатая баллада
 - Четырнадцатая баллада
 - notes
 - 1
 - 2
-

Дмитрий Быков

Эвакуатор

© Быков Д.Л.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Ирке

*Соленый морской ветер
нес золу и пепел нам в лицо^[1].*

Дафна Дюморье, «Ребекка»

*Пришли и сказали (дитя, мне страшно),
пришли и сказали, что он уходит.
Зажгла я лампу (дитя, мне страшно),
зажгла я лампу и пошла к нему.
У первой двери (дитя, мне страшно),
у первой двери пламя задрожало.
У второй двери (дитя, мне страшно),
у второй двери пламя заговорило.
У третьей двери (дитя, мне страшно),
у третьей двери пламя умерло.*

< ... >

*А если он возвратится,
что мне ему сказать?
Скажи, что я и до смерти
его продолжала ждать^[2].*

Морис Метерлинк, «Двенадцать песен»

*Кто вышел, кто пришел,
кто рассказывает, кто умер?*

Лев Толстой

Эвакуатор

– И потом, – сказал Игорь, – у нас живые деньги.

– В смысле большие?

– Да нет. – Он поморщился. – У кого как. Но у нас зависит реально от того, какой человек. У вас плохой человек мочь иметь много, много. У нас быть не так. У нас человек отличный, хороший, мочь иметь практически бесконечно, а дурной, злобна морда, лишаться последнее. Это быть так устроено. Такие быть зверьки. Сам мелкий, коричневый, шкурный-шкурный. Нос розовый, мягкий. Рот такой, с язык внутри. Такой весь как бы плюшевый. Ты его получать за своя работа. И если ты его холить, лелеять, учесывать шкурка, то он расти, расти, размножаться. Он размножаться сам, от хорошее отношение. Но если ты забывать про зверек, не учесывать зверек, не гладить, не кормить, не менять подстилка, то он чахнуть, сохнуть,дохнуть и умирать. И ты уже не мочь поменять его на еда, пища. Тогда просить займы один-другой зверек, но не все давать. Очень удобно.

– И Сбербанк называется звербанк.

– Банк есть, да. Но обычно хозяин уже привязаться к свой зверек, расставаться крайне неохотно. И зверек, если хозяин хороший, не хотеть уходить. Он приводить еще, еще. Тогда быть много, много зверек. Некоторые, конечно, все равно надо менять на продукты, одежда... Но это редко. На один зверек можно месяц кормить большая семья. И если их хорошо ухаживать, они никогда не умирать практически. Жить долго, много долго, как долгожитель с красивый, гостеприимный Кавказ.

– А бывать случаи, когда нерадивый зверьковладелец сосать лапа, умирать голод,дохнуть? – спросила Катька.

– Так не мочь быть, – покачал головой Игорь. – Быть гуманность, дорожить каждый член общества. Ему говорить: ты понимать теперь, как чувствовать себя недокормленный зверек? Он кивать: да, да, плакать, каяться. Тогда ему давать сразу много харлаш, много камбас, дурык, иногда бараласкун. Он поглощать, благодарить, начинать новая жизнь. Приговаривать: уж зверек ты мой зверек, уж я тебя так и сяк.

– Бараласкун – это местная выпивка?

– Да, будем считать, что типа того. Ну, не сильная, не водка – а вроде, допустим, бодрящего вина. Я лично очень люблю дурык.

– От него делаешься дурык?

– Дурык никогда не делаешься. Дурык либо родишься, и тогда уже ничто не поможет, – либо нет, и тогда тебе ничто не угрожает. Ты дурык, но у тебя интерфейс симпатичный. У нас там тоже как у вас: если женщина дурык, но хороша собой – ей многое прощается. У нее всегда зверьков полны клетки, бараласкун в постель каждое утро, харлаш по праздникам. Счет дайте, пожалуйста.

– У тебя хватит? – спросила Катька.

– Если не хватит, я ей дам зверька. Но, вообще, надо как-то менять дислокацию. Они тут так стали драть, что я на тебе разорюсь. У нас женщина всегда платит за мужчину. Потому что, если наоборот, он будет думать, что теперь имеет на нее право. У нас все тонко продумано. Я не хочу сказать, что у нас идеальный мир. Это было бы анкурлык, невежливо. Но все-таки у нас думают о людях, а у вас только выделываются друг перед другом. Если бы не ты, я бы уже с ума сошел.

– Спасибо, – сказала Катька. – Это вежливо, курлык. Типа пошли?

– Типа пошли, – он оставил полтинник на чай и с трудом вылез из-за крошечного столика. В китайском «Дракон» было особенно заметно, какой Игорь большой. Тут все было маленькое: порции, чашечки, кружечки, официанточки, – все, кроме цен.

– Ну, ты ползти домой? – Он никогда ее не провожал, Катька на этом настаивала – наш муж иногда выходил встречать Катьку, и нам совершенно не было нужно, чтобы наш мужзнакомился с наш Игорем.

– Да, я, вероятно, ползти. А ты лететь свой идеальный мир Свиблово?

– Угу. Я улетать и жестоко тосковать. Вспоминать гордая земная женщина, небольшая, но душевная. Полетели когда-нибудь ко мне, честное слово. Я тебе покажу, как там все у нас.

– Это, знаешь, у нас тут на Земля, во времена моя далекая и прекрасная молодость, бывали иногда студенческие каникулы.

– Каникулы? Что это – каникулы?

– Ну, это типа вашего бурундук, но короче, – сымпровизировала она, и он, как всегда, мгновенно подхватил:

– Бурундук – это столовый прибор. Отпуск называется «бырындык». Во всех словах с позитивной модальностью присутствует «ы». Ты, мы, курлык.

– Ну вот, у нас тут были кыныкылы, – сказала Катька. – И я ездила в пансионат под Москву, с дывчонками. И если какой-нибудь пырень звал к себе в кымнату, то он говорил дывушке: «Пойдем посмотрим, как я живу». Это был такой ывфемизм. Некоторым девушкам так нравились эти комнаты, что они потом часто ходили их смотреть. Тогда образовывался бесхозный мальчик, напарник этого счастливица. Комнаты были на двоих только. Иногда мальчика кто-нибудь приючивал, а иногда он спал в танцзале под роялем. Ты тоже мне хочешь показать, как живешь?

– Очень хочу, – серьезно сказал Игорь. – Вот как увидел, так захотел показать. Я живу один, без напарного мальчика. Я живу не сказать чтобы очень хорошо, но стараюсь. Наверное, я все-таки живу лучше, чем эти ваши студенты.

– Да, наши тогдашние студенты совершенно не умели жить.

– И часто ты ходила смотреть комнаты?

– Моим первым мужчиной был однокурсник, мне было семнадцать лет, – сказала Катька.

– За что я тебя люблю, мать, так это за чистоту, простоту и прямоту. А кто был твоим вторым мужчиной?

– Ты будешь шестой, – честно сказала она. – И то я еще подумаю.

– То есть возможно, что я буду восьмой? Ты хочешь передо мной еще потренироваться на ком-то?

– Нет, что ты будешь шестой – это я тебе твердо обещаю. Но это будет не завтра, не послезавтра, вообще нескоро. Все очень серьезно, очень.

– Я так тебя люблю, Кать, – сказал Игорь. – Мне даже страшно будет тебе показывать, как я живу. Я вообще боюсь тебя как-нибудь уязвить, испортить...

– Слушай, мне категорически пора.

– А, да-да. Все уже с ума сходят. Меня-то никто не ждет.

– Игорь, бить на жалость у нас считается анкурлык.

– У вас все нормальные человеческие проявления считаются анкурлык, – сказал Игорь, поймал ей машину и уехал к себе в Свиблово, далекое, как Альфа Козерога.

Вылезая из машины и заходя в подъезд, Катька на всякий случай нашла Альфу Козерога, как он учил. Приятно было думать, что Игорь там. Вот он вошел, голосом открыл дверь, привычно поприветствовал электричество, чтобы оно зажглось, легким усилием воли переоделся в халат, уселся за стол, включил компьютер – а к его ногам радостно побежали живые деньги, стали тереться, прося вкуснятины. Игорь, вероятно, чертыхнулся, как всегда, когда его отвлекали, но в глубине души был доволен: когда живое существо нас поджидает и от нас зависит, это всегда большая радость. Ну, положим, не всегда, подумала она, открывая дверь вечно заедающим ключом.

Трудней всего оказалось научиться переключениям – буквально, с физической осязаемостью переводить какой-то внутренний рычажок в положение «выкл», и Катька даже представляла этот рычажок – черный, пластмассовый. Не сказать, чтобы таким образом она выключала внутренний свет: она переводила его в другой регистр. Первая антипатия к нашему мужу и даже, страшно сказать, к Подуше сразу проходила, как только Катька попадала в свою двухкомнатную жизнь, невыносимую, конечно, но и родную. Тут все было другое – «наша родина, сынок», – и требовались другие вещи, и она сама удивлялась, сколько у нее в голове, оказывается, живет народу – каждый активизируется, когда востребован, а в остальное время спит мертвым сном или по крайней мере исчезает из поля зрения. Возможно, он даже что-то делает, пока мы за ним не следим, и именно этим определяется настроение. Та Катька, которая была с Игорем, дома безутешно рыдала, но помалкивала. Если она подавала голос, ее тут же приходилось затыкать. Ее все бесило: манера мужа оставлять тарелки в раковине (мыть посуду – не наше дело!), свекровь Любовь Сергеевна, забредшая в гости (она жила неподалеку и навещала их два раза в неделю, выходной, не выходной), вечно включенный телевизор, до сих пор не уложенный ребенок и даже нянька ребенка, которой, между прочим, платили доллар в час – и она торчала до восьми, а то и до девяти вечера: «Полинка без вас не засыпает!» Не засыпает – ну так скинь ее на мужа и ступай, но ведь и муж наш чаще всего вдавливаются в логово только после десяти, и он в своем праве, ибо в турконторе зарабатывает больше нас. Ему надо расслабляться, он страшно напрягается. Это мы не имеем права явиться после девяти и при всяком опоздании бываем подозрительно расспрашиваемы: с кем

это мы, что мы... Наша жизнь определена широким кругом мелких обязанностей, тогда как единственная, но суперважная обязанность нашего мужа – зарабатывать деньги, мы копим на трехкомнатную, и больше с нас при всем желании ничего не спросишь. Ведь сами мы приносим в дом от силы шестьсот, хорошо, если семьсот баксов, с левыми заказами иногда набежит у нас штука, вот и теперь нас еще ждет оформление брошюры «Если ты заложник», просили повеселей.

Игорь был единственным на новой работе, с кем можно было разговаривать. Если не считать подружки Лиды, но ее Катька знала не первый год, вместе учились и посильно помогали друг другу с заказами. «Офис» был отвратительным местом, если честно, – но только наедине с Игорем Катька могла себе в этом признаться. Его делали для несуществующей прослойки успешных и состоявшихся людей от двадцати пяти до сорока (сначала, она помнила, было до тридцати пяти: верхняя граница оптимального читательского возраста отодвигалась по мере старения идеологов). «Офис» печатал исторические очерки о сигарах, написанные безработным историком; обзоры выставок, сочиненные безработным искусствоведом; справки о нобелевских лауреатах, накопанные в Интернете безработным физиком; но в основном там появлялись статьи непонятно о чем, в которых Катька не понимала ни единого слова и потому иллюстрировала их яркими абстрактными композициями. Там было что-то о деловой этике. Она поняла только одну статью – об организации корпоративных вечеринок: оказывается, чтобы дать сотрудникам надлежащую мотивацию, необходимо было регулярно проводить День Босса. Босса Катька нарисовала с такой мерой ненависти, что испытала колоссальное облегчение, – и это был единственный день, когда работа в «Офисе» была ей в радость.

Игорь, слава богу, не имел отношения к содержательной части журнала. Он чинил и настраивал компьютеры. «Вешайтесь, доктор, – говорил он любому, кто приходил с заявкой, – устройство вошло в плотные слои атмосферы»; после чего легко устранял неисправность. Катька особенно любила его за эту легкость. Она любила его за то, что он до такой степени не отсюда. Она любила его, потому что он читал все ее мысли, прежде чем она успевала додумать их до конца.

Во время работы активизировалась другая Катька – хладнокровная, резкая, изобретательная; если бы можно было ее,

такую, как-то мобилизовать для общения с домашними, жизнь стала бы много привлекательней, но бодливой корове Бог рог не дает. В любом графическом редакторе она ориентировалась лучше, чем в собственной жизни, – и это очень справедливо, потому что даже в тараканьей черт ногу сломит, а вы хотите, чтобы я понимала человеческую. Поистине мир устроен не так. Репродуктивную способность я давала бы лет с сорока, сорока пяти, по достижении истинной зрелости. Надо это проговорить с Игорем. Трахаться можно сколько угодно, а плодить детей – только когда умеешь отвечать за себя и за них. Выходить замуж тоже с сорока. В двадцать я была фантастическая дура. В полной уверенности, что никому никогда не буду нужна, вышла за нашего мужа, дала жизнь еще одному существу и завязала свою биографию в невообразимый узел, изволь теперь жить и плодотворно трудиться в завязанном состоянии. Так думала молодая повеса, вставая под душ и мысленно – третью уже неделю – прикидывая: нет, еще вполне, не стыдно будет показаться инопланетянину.

– Я кебабы купил, – крикнул наш от телевизора.

– Я не голодная, – отозвалась она, но тут же подумала, что в смысле конспирации это прокол: третью неделю они с Игорем ходят по забегаловкам вокруг работы, она возвращается сытая и раздраженная – сытая от Игоревых щедрот, раздраженная от необходимости возвращаться, – и все это может навести на определенные размышления, даже если ты непрошибаемо убежден в заурядности собственной жены. Конечно, облагодетельствовав провинциалку, получив в ее лице безропотную кухарку и бездонный сосуд для излияния своего раздражения... ну ладно, ладно, это уже чересчур. Еще месяц назад, в августе, она была вполне довольна – или убеждала себя в этом, – но в сентябре появился Игорь, и все пошло кувырком. Сохранялась, впрочем, видимость благопристойности, и Катька диву давалась, до какой степени, значит, их с мужем ничего не связывало, если уже три недели она была ему совершенно чужая, а он ничего не замечал и все шло как обычно. Впрочем, может, замечал. С Сереженькой ни в чем нельзя быть уверенной, на этот счет у нее был солидный опыт. Вроде бы все гладко – «и вдруг разинет рот да как заорет: скорее головы канарейкам сверните!». Вероятно, он и теперь что-то в себе копил, дабы потом, под горячую руку, припомнить ей и

поздние возвращения, и хозяйственную нерадивость, – и тогда она в ответ скажет ему, что уходит и забирает Подушу. Это надо было еще обдумать. Подуша обожала отца, а с Игорем они не были знакомы даже заочно: Катька отчего-то избегала говорить с ним о дочери, Игорь просто знал, что она есть, а Подуше вообще трудно было объяснить, где мать работает и какие у нее друзья. В «Офисе» Катька появилась пятого сентября, и Подуше было сказано, что мать рисует для журнала и что там имеется подруга Лида. Лида ее туда и привела, когда вполне предсказуемо и все-таки неожиданно лопнул «Созерцатель». Сереженька, конечно, уверял, что проживем, но снова садиться на шею нашего мужа, выслушивая при случае рассказы о том, как он устал горбатиться и как невыносимо приходиться в неубранную квартиру... ведь, казалось бы, у тебя столько свободного времени – могла бы и подмести! Нет, пусть у меня опять не будет свободного времени. И она пошла в «Офис» и не знала теперь, радоваться или ужасаться.

– Заснула нормально?

– Тебя требовала, но я спел про невесту.

Это нам, вероятно, намек. Ну как же, ребенок ждет, мы тут шляемся и черт-те о чем думаем.

– Мы номер сдавали.

– Кать, я совершенно не в претензии.

И ведь любила же когда-то, что самое интересное. Такие были страсти, такие внезапные приезды под окна Дома аспиранта, ДАСа, выбегала к нему вся разнеженная, и не сказать, чтобы потом было ужасно. Было очень прилично, и даже в первый год после рождения Поли никто не жаловался. Демонстрировалась забота, предупреждение желаний. С самого начала, конечно, было ясно, что не то и придется притираться, но думалось, что так у всех. А по сравнению с личной жизнью подруги Лиды, чей муж вообще таскал ее в байдарочные походы и постоянно цитировал бр. Стругацких, наш был еще приличный, даже с проблесками понимания. Иное дело, что он был безнадежно нудным парнем, без малейшего полета, но это стало ясно, только когда возник Игорь со своей непрекращающейся неделей игры и игрушки.

Игра в инопланетянина была особенно занятной и длилась пятый день. Сначала, вспоминала Катька в кухне, яростно размешивая чай и более всего желая, чтобы муж так и остался у телевизора, – сначала

были вещи более традиционные: допустим, ты дочь богатого чаевладельца и живешь на Мясницкой. Какого чаевладельца? Ну, не знаю, чаоторговца. Чай от... как твоя девичья фамилия? Кузнецова, какая прелесть. Значит, «Чай Кузнецовых». Шикарный дом в центре города, в первом этаже магазин, в витрине пальма. Ошеломляющий запах чая двадцати пяти сортов – и с померанцем, и с марципанцем, и с бергамотцем, и что угодно для души. Папа, понятное дело, продвинутый, не без эстетизма. Собирает у себя салон. Для дочек. У тебя сестры есть? Вообще-то, у меня брат. Ученый брат, намного старший. Он в Германии, родителей забрал к себе. Хорошо, брат. Но давай допустим, что у тебя есть младшая сестра, дура, уродина, жестокая и толстая девочка, которая бьет тебя с раннего детства. А ты вся такая золушка, кротко это переносишь, только иногда у тебя появляется неотвязная фантазия, что ты не родная дочь у родителей, что твой добрый отец – настоящий, а холодная, самодовольная мать – его вторая жена. В общем, в один прекрасный день они завезут тебя на саночках в лес и бросят. Такие тебя посещают бреды, понимаешь?

А потом, в один прекрасный день, собирается салон. Приходят голодные, но страшно претенциозные модернисты. Один из них по-настоящему талантливый, его звать Игорь, а все остальные так себе, шелупонь, авторы и составители сборника «Лягушачья икра», изданного в самодельном издательстве «Мускус». Все поэты наперебой стараются очаровать толстую, наглуую младшую дочь Кузнецова, а ты сидишь одна, в углу, и никто на тебя никакого внимания... Но после того, как жидковолосый, неопрятный Кубышкин читает венок сонетов «Вошь» – дело происходит в пятнадцатом году, окопная тематика уже возобладала, – ты вскакиваешь так, что чуть не опрокидывается чайный столик, и трагическим, низким голосом восклицаешь: «Боже, какая чушь! Неужели, неужели вы не понимаете, что всего этого скоро не будет! Не будет ни-ко-го!» – и с ревом выбегаешь. Все в замешательстве, а я, конечно, за тобой. И осушаю губами твои истерические слезы где-нибудь на темной лестнице... Как?

Это был второй, кажется, их разговор. Он имел место в отвратительной столовке «Офиса», где давали в тот день винегрет, картофельный суп и серую котлету, но и на том спасибо – в «Созерцателе» буфета вовсе не было.

– А потом, сама понимаешь, ужасная любовь, но меня мобилизуют, и я пропадаю без вести. А в восемнадцатом папаша быстрее прочих сообразил, что отсюда надо драпать, и ты...

– Беременная от красноармейца, – вставила она.

– Почему от красноармейца? Ты что, комиссаршей на фронт пошла?

– Нет, полюбила представителя угнетенного класса. Из чувства вины.

– Это ты мне не заливай. С красноармейцем у тебя могло быть только по принуждению, и то ты вырвалась бы. Ты не веришь, что я погиб, и хранишь мне верность. Итак, Париж, двадцать второй год, приезжает делегация российских дипломатов... и кто же переводчик?

– Конечно ты, Карлсон!

– Разумеется, я. Я там на фронтах перековался, все пересмотрел и решил, что будущее России – в большевизме. И дезертировал под это дело. Был агитатором. Мотался по фронтам. – Он опустил голову и принялся выталкивать слова резко, хрипло, взглядывая на нее исподлобья: – Окопы. Вши. Знаете вы, Катя, что такое вши? Настоящие, жирные? Это совсем не то, что писал тот щенок... как его... Букашкин... Потом тиф... Бредил водой, водопадами, айсбергами... Выходили. Женился. Жена – простая, грубая. Ненавижу. Теперь здесь. Катя, одно: да или нет? Там – жизнь. Тут – болото. Катя, вы пойдете со мной?

Они пошли тогда в «Синдбад» – Катьке там страшно понравилось, очень жаль, что две недели спустя его погромили в ответ на взрыв в Саратове. Было совершенно непонятно, почему вдобавок к саратовскому взрыву надо еще громить приличное кафе в Москве, но власть не вмешивалась: люди должны дать выход патриотическим чувствам. Потом ходили в «Ласточку», потом в «Суши весла», – восточных кафе в городе почти не осталось, в остальных из странной национальной гордости перестали готовить плов и манты, хотя, казалось бы, узбеки-то при чем? И все это время Игорь выдумывал им роли – давай ты шахидка, у тебя растет шахидыш, а я русский милиционер, задержал тебя и жалею... А давай ты скинхедка с рабочих окраин, а я гастарбайтер, я защитил тебя от изнасилования в электричке, и теперь в тебе борются долг и чувства... Все было весело, но лучше всего получился инопланетянин.

– И как будто я ничего у вас тут не знаю, а ты мне все рассказываешь. Вот это, например, для чего?

– Это предмет, освещающий улицу, ряд домов. Он должен испускать свет, но не испускает.

– Испортился?

– Нет, военная хитрость. Глупый инопланетянин думает, что у нас все ломается, не стыкуется и разваливается, и начинает постепенно захватывать все земное, начиная с девушек. А мы только притворяемся, на самом деле у нас готовность номер один.

Осень, на их счастье, была отличная. Она казалась похожей на другую, тоже совершенно счастливую, десятилетней давности. Катке исполнилось пятнадцать, она быстро выросла и сама поражалась своим новым возможностям – в голову приходили отличные мысли, прилично рисовать она начала именно с этого времени, сами собой появились новые знакомые, понимавшие, что она делает, была поездка с ними в Москву, сумасшедшая ночь у сумасшедшего художника на Арбате, никаких приставаний, конечно, большая компания, сплошная романтика... Даже родители всё стали разрешать и смотрели на нее с внезапным почтением. Мишка уже уехал учиться в МГУ и триумфально двигался к славе. В ее жизнь и даже в комнату никто больше не лез.

Та осень ей запомнилась потому, что Катка смотрела тогда на мир новыми глазами. Был сентябрь с большой буквы, архисентябрь – ясный, теплый, четкий, с резкими линиями веток и проводов, с вызолоченными солнцем кирпичами хрущевки напротив. Катка, проснувшись, долго смотрела на нее. В школу не хотелось, и несколько раз она ее пропустила, гуляла по любимой улице Генерала Трубникова, освобождавшего Брянск (улица Трубникова была вся в кленах, которые в тот год отчего-то сплошь стали медно-желтыми, ровного солнечного цвета), смотрела на старух во дворах, прислушивалась к случайным разговорам и чувствовала себя тайной хозяйкой всего этого. Но и хозяйка – не совсем то: она была как бы представительницей Брянска перед незримыми, тайными наблюдателями, ей предстояло за все перед ними отчитаться и все объяснить. Это мы, Господи. Вот пруд, вот старик, разговаривающий сам с собой, вот вечно бранящаяся с матерью несчастная очкастая девочка с собакой – они живут этажом выше, мать, девочка и собака, и, когда мать с девочкой особенно

неистово орут друг на друга, собака вступает с пронзительным лаем, умоляя их замолчать. Все замерло на пределе, за которым, конечно, тоска и распад – но пока, в последний миг, все еще старалось блеснуть, в полную силу показать себя и только после этого кануть. Она никогда раньше не понимала, что осень для того только и придумана: весна слишком суетлива, лето блаженствует и ни о чем не думает, – осень впервые понимает конечность всего, но на осознание этой конечности у нее совсем мало времени. Потому-то прозрачная ясность так быстро сменяется мутью больного, истерзанного сознания: делайте что хотите, только скорее.

Теперешняя осень была так же ясна, тепла и золотиста, и Катке так же приходилось отвечать перед неведомым наблюдателем, но уже за Москву. Это было тем забавней, что Игорь тут родился, а она жила последние восемь лет, – но он идеально перевоплощался в чужака и на второй день игры даже выдумал язык, на котором они теперь почти все время разговаривали: усиливающие повторы, сплошные инфинитивы, именительные падежи, прелестное дикарское наречие.

– Что быть тут?

– Тут быть проспект, ряд домов, в честь Ленин. У нас быть обычай называть в честь великий человек улица, корабль, иногда научный институт.

– Что сделать Ленин?

– Он картавить, делать рука вот так, говорить: «Това'ищи! Това'ищи!» Потом он умереть, и товарищи назвать улица, чтобы вечно помнить, как хорошо говорить милый, милый товарищ Ленин. Такой лысенький.

– Ты его любить?

– Бэзмэрно. Как только слышать про товарищ Ленин, так сразу подпрыгивать, махать ручки, хохотать. Вот так: «Товалищи, товалищи!», – она подпрыгнула и поцеловала Игоря в нос.

Она объясняла ему, что такое мороженое и почему оно в стаканчиках; почему один орех называется грецким, а другой – миндальным; зачем на растяжке крупно написано «Поздравляем с Днем города!» («А что, в городе бывают какие-то другие дни?» – «Разумеется. Страна у нас сельская, большую часть года все живут соответственно, то есть без горячей воды, с удобствами во дворе, – чтобы селянам не было обидно. Когда наступает День города, все

ужасно радуются: дают воду, показывают кино, работает канализация... но все это только один раз в году»). Они забредали в Нескучный сад («Почему Нескучный? Здесь никто не скучает?») – «Ну что ты. Здесь во время Дня города раздают Нескафе, оно лежит по всему парку огромными бесплатными кучами, почему он и называется Нескучный»), видели рубку толкиенистов на деревянных мечах – один вдруг узнал Игоря и подошел.

– Арагорн, магистр! Верный ученик приветствует тебя!

– В смысле? – дружелюбно спросил Игорь.

– О, простите мою неучтивость! Любезная дама, я должен был обратиться сначала к вам! Сообщите мне ваше звездное имя, чтобы я мог повторять его в битве.

– Его уже я повторяю в битве, – объяснил Игорь. – Вы меня, рыцарь, не за того приняли.

– А, – сказал толкиенист. Вид у него стал озадаченный. – Играем. Понял. Простите, что вторглись.

– Да ничего, ничего.

– Когда магистр играет, ученик отступает, – учтиво сказал толкиенист. Он был приятный малый, хотя и сальноволосый. – Удачи магистру. Помните, что всегда можете рассчитывать на Эстрагорна. Мобильный не изменился.

– Непременно, непременно, – ответил Игорь. – Добро победит, мир, дружба, жвачка.

Толкиенист нахлобучил шлем и отбежал к своим.

– Ты его знаешь? – удивилась Катька.

– Понятия не имею.

– А чего же он...

– Ну, обознался. Или вербует нового человека. У психов своя логика.

– А я уж подумала, что ты в юности того...

– Кать, я похож на толкиенутого? Серьезно? Магистр Эстрагон, рыцарь Тархун?

– Ты ни на кого не похож, потому я по тебе и сохну, – серьезно и уважительно сказала она. – Знаешь, как приятно говорить другому человеку, что по нему сохнешь? Я уж думала, что все, отсохлась. Поразительные способности открываются в организме.

Потом пили зеленый чай на открытой веранде странного клуба «Ротонда», где собирались незлобивые, отрешенные люди, почему-то сплошь в черных очках («Это наши, – пояснял Игорь, – они слетелись посмотреть, не делаешь ли ты мне зла»). Там, в «Ротонде», в присутствии внимательно наблюдающих за ними инопланетян, которые, конечно, только для виду заказывали пирожные и минералку, он впервые рассказал ей, зачем, собственно, Земля.

– У вас многое хорошо, но неправильно, – пояснил он. – Мы наблюдаем и не допускаем.

– Ага. То есть здесь, как я понимаю, своего рода полигон.

– Ну да, можно так. Когда вас открыли, то очень обрадовались: у вас жизнь почти совсем такая, как у нас. Немножко другая биоформа, другая корова, другой скунс. Но в целом очень сходно. Тогда решили, что зародят сюда жизнь и будут смотреть и делать так, чтобы у нас не повторялось.

– Долго же вы ждали. Сначала инфузории, потом динозавры...

– Да нет. Какие динозавры? Динозавр – мифологический персонаж, вроде дракона. Обычная ящерица, только большая. Их никогда не было. Просто выселили сюда какое-то количество народу, оно стало плодиться и размножаться, а мы смотрим и учитываем.

– Поняла, отлично. Изгнание из рая. А за что их?

– Ну, было за что.

– За первородный грех?

– Это они так придумали, что за первородный. На самом деле у нас за это никого не выгоняют. Все это делают, и ничего. Просто... за мелкие пакости.

– Но это нечистый эксперимент. Преступники дадут преступное потомство, земля будет заселена моральными уродами...

– Ну а как иначе наблюдать? Если сюда ссылать прекрасных людей, они не будут допускать ошибок, быстро построят совершенное общество по нашему образцу, и прощай вся затея. Мы сюда забрасываем самых таких, забыл, как это по-нашему... анкурлык.

– Ага. А всех хороших, случайно тут образовавшихся, отзываем к себе, поэтому лучшие поэты редко живут дольше тридцати семи. Игорь, почему все компьютерщики такие обчитанные посредственной фантастикой?

– Ничего не посредственной, ты это сама придумала. Никто хороших не отзывает. Легенда о загробной жизни – продолжение воспоминаний о потерянном Рае. Типа здесь не пойми что, а где-то там есть правильная земля. Она есть, конечно, но туда почти никто не попадает.

– А как вы доставляете этих ваших плохих?

– Как-нибудь покажу. Дубов, например, сам сбежал.

– А обратно его никак нельзя?

– Нет, Кать, никак. Я его лично не пушу. У вас ему самое место.

Дубовым звался – и, надо сказать, весьма точно – ответственный секретарь «Офиса», редкий дурак и трус, по двадцать раз перепроверявший любой факт и вырубавший из текста даже фразы типа «Очевидно, что...». «Мы работаем для деловых людей, – говорил он с теплой комсомольской интонацией, – и не наше дело указывать им, что очевидно, а что нет. Вам очевидно, а им, может быть, не очевидно». Он с истинно собачьим чутьем отсекал все, что приносили живого, заменял удачные обороты на неудобочитаемые и бестрепетно лишал все тексты даже еле уловимого личного начала. В редакции «Офиса» собралась разношерстная публика, но Дубова ненавидели все. Только это – да еще дружная брезгливость относительно буфета – и спланивало их в подобие коллектива.

– И откуда же у вас, в вашем прекрасном обществе, после долгой селекции еще берутся плохие люди?

– Сами не знаем. Что-то генетическое, вроде сбоя в программе. Один рождается без слуха, другой с ослабленным иммунитетом, а третий, например, клептоман. Это только у вас придумали зависимость от среды. От среды зависит не больше, чем от погоды. Но у нас, слава богу, быстро разбираются, что к чему. Всякая неприятная личность сюда попадает еще в детстве, в крайнем случае – в молодости.

– И ничего не помнит.

– Почему, помнит что-то... Иногда во сне видит... Летает там, как у нас. У нас многие летают, очень запросто.

– Ну хорошо, а ты что здесь делаешь? Такой славный?

– Инспекция, мать, инспекция. Надо следить, что тут у вас, и предупреждать у нас. Иначе на фиг бы вы и нужны, с вашими терактами. Инспектор быть профессия гордая, рискованная. Многий не возвращается. Некоторый влюбляются земная женщина, любить

крепко, много сильно, она его жрать, жрать, как у вас быть принято. Некоторый драться с жестокие мальчишки. Другой попадаться милиция при попытке освободить несчастные животные из зоопарк. Так что цени, я человек непростой.

– Это да, – согласилась она.

II

В начале октября, в один из последних теплых дней они сидели на парапете смотровой площадки на Воробьевых горах, пили «Балтику» номер седьмой и рассматривали женихов и невест, в изобилии съезжавшихся сюда по случаю субботы.

– А я ведь так и не знаю, как у вас размножаются, – грустно сказал Игорь.

– Ты сам говорить, у нас одна биоформа.

– Биоформа одна, а размножаться по-разному.

– Откуда ты знать?

– Быть специалист. Но только в теории. Ты знаешь, по-настоящему размножиться на Земле удавалось очень немногим нашим. Почему-то ваши женщины к этому допускают очень неохотно. У нас гораздо проще: полюбил, поговорил, размножился.

– Ну и неинтересно.

– Очень интересно. И вообще, у нас секс отдельно, а размножение отдельно.

– Почему?

– Потому что только у вас надо обязательно обставлять размножение максимальной приятностью. Очень сильный нужен стимул человеку, чтобы продолжать род. Жизнь плохая. А у нас не так, у нас размножение в радость, и женщина это делает сама. Она съедает специальный фрукт, похожий на земное яблоко, – и, как это у вас называется, за... за...

– Залетает.

– Ну да, да. По-нашему тыбыдым.

– Игорь, – сказала Катька страшным шепотом. – Ты тронул сердце земной женщины, и я тебе откроюсь. У нас тоже так.

– Что – тоже?

– Секс отдельно, а размножение отдельно. Это все женский пиар, что люди трахаются и от этого залетают. Придумано, чтобы мужики женились. На самом деле от такого приятного дела не могут получаться дети. Дети – это серьезно, а секс – развлечение, праздник. Сам посуди, если бы дети получались от секса – сколько бы тут было

детей? Все бы только и делали, что плодились. А откуда, по-твоему, столько матерей-одинок? Женщине стало скучно, она съела яблоко и размножилась. Посмотри, у каких бывают дети. Неужели кто-то с ними занялся бы сексом?

– А где вы берете эти яблоки?

– А вы?

– У нас выдают централизованно. Ты пишешь заявление, специальная комиссия изучает твои жилищные условия, образование, нравственные качества... И тогда тебя либо отправляют на курсы повышения квалификации матерей, либо выдают яблоко. Я его никогда не пробовал, но говорю, что исключительно вкусно.

– А у нас не так, – сказала Катя. – У нас естественный отбор. Если женщина может достать такое яблоко, то она, значит, уже готова к деторождению. Его очень трудно найти, целая процедура. Через знакомых там... А милиция специально отслеживает, кто их распространяет, и отлавливает. Масса риска. Ты думаешь, почему Дума запретила рынки?

– Из-за террористов.

– Господи, ну при чем тут террористы! Что, террорист на рынок пойдет? Персиками торговать? Это все из-за размножения. Очень много стало людей, прокормить невозможно. Убивать пока смелости не хватает, так они решили рождаемость свернуть.

– Подожди, подожди, я не понял, – он нахмурился. – Что, это только в России залетают от фрукта? Или во всем мире?

– Да везде, конечно. У русских есть анатомические особенности, но я тебе потом расскажу. А размножаются все одинаково, только в России это обставлено трудностями. В Штатах эти яблоки на каждом углу лежат, размножайся не хочу. А у нас все делается специально для того, чтобы как можно меньше было народу. Ты что, не замечал?

– Нет, почему. Замечал, но как-то это... не отдавать отчета...

– Вот смотри. В «Офисе» гендиректора почему сменили? Потому что он еще хоть какое-то представление имел, как журнал делать. Новый пришел, и первым делом что? Первым делом – чтобы все ходить на работу к десяти, на перекур отпрашиваться, в Сеть лазить только по делу. То есть уконтропупить максимально все, чтобы никто не хотел работать, думать работа с отвращением, с тоской. Ну и во всем так. Хочешь размножиться – крадешься в ночи на конспиративное

место, ищешь эппл-дилера, обманываешь слежку... И яблоко это жутко невкусное, жесткое, с мыльным запахом. Горечь такая, что скулы сводит. А не фиг размножаться потому что.

– Оно как выглядит-то?

– Ну что ты за наблюдатель, ничего не знаешь! Сорт такой, кандилька.

– Оно же, наверное, растет где-то в природе? Можно же без дилера, просто к дереву сходить?

– Ну можно, да... Только это еще опаснее. Они растут только на очень сухой почве и в небольшом количестве. Милиция где увидит – сразу рубит. И яблоню, и владельца. Их в строгой тайне выращивают, на плантациях в лесу. В Средней Азии они еще хорошо растут. Ну так там и размножаются по-страшному...

– Слушай! – Игорь воодушевился, игра ему нравилась. – А если мужчина съест такое яблоко?

– Это тайна, – сказала Катька. – Дай ухо.

– На.

– Он познает суть добра и зла, – прошептала она, встав на цыпочки.

– Господи, какой ужас, – благоговейно сказал Игорь. – Поехали купим, а?

– Нет, – решительно ответила Катька. – Я не знаю, как это подействует на инопланетянина. Вдруг ты размножишься. А я с тобой и одним не знаю, что делать. Мы лучше поедem к тебе, и я тебе покажу, как у нас занимаются сексом.

Он несколько опешил. Шла четвертая неделя бурного романа, но до сих пор она пресекала все его осторожные заходы. Катька и сама не знала, почему вдруг сделала ему непристойное предложение. Минуту назад она не предполагала ничего подобного. Может, на нее так подействовал разговор о размножении, а может, просто она ужасно любила Игоря в эту минуту, и ей нравилась погода, и она была ему страшно благодарна за последний месяц, когда вспомнила наконец, какая бывает жизнь.

Он схватил ее за руку и потащил к стоянке такси.

– Ну ладно, ладно! Куда ты! Стой, мы пешком пойдem до Киевского.

– Катька, это садизм.

– Почему садизм?! Наоборот, это счастье. Я хочу гулять. Я хочу, чтобы все было медленно-медленно, долго-долго, в счастливом предвкушении. Ты же точно знаешь, что я еду к тебе. Зуб даю, что не передумаю. Идем, а впереди кайф. Человек всегда на него кидается, а самое-то лучшее – именно растягивать ожидание. И вот мы идем, идем... и только потом выясняется, что ты забыл ключи...

– Начитанная, – сказал он, глядя на нее с восхищением. – Прямо, ты знаешь, у меня такое чувство, что тебя делали на заказ. По моей выкройке.

Они много раз потом вспоминали малейшие детали этой прогулки – из всего, что Катька придумала в жизни, это затянувшееся ожидание счастья было самым удачным замыслом. Она отлично знала, что все будет так, как надо, и лучше; что не будет ни малейшей неловкости, никакого непонимания – полная гармония, веселое бесстыдство и та особенная ясность ума, которая всегда наступает в постели, если оказываешься там по любви. «Как в страсти прояснялась мысль!» – именно про это, такого не выдумаешь. Мысль прояснялась уже сейчас, они оба запоминали все с небывалой четкостью – полугололого старика на роликах, который промчался мимо, сосредоточенно глядя перед собой, словно видя впереди здоровье и долголетие, к которым устремлялся; мальчика, настойчиво требовавшего купить ему стеклянное яйцо с объемным лазерным изображением Кремля внутри, и разразившегося внезапным, диким басовитым воем, когда стало ясно, что никто ему ничего не купит, еще бы, полторы тысячи! – и странную толпу ментов из «Антитеррора» в красных бронежилетах, человек пятьдесят, вдруг высыпавших из экскурсионного автобуса, и двух девочек на лошадях, предложивших прокатиться; девочек этой породы а-ля Оксана Акиньшина Катька отлично знала – они с раннего отрочества пропадают на ипподромах, ненавидят людей и любят только лошадей, кормят их, разговаривают с ними, но любовь к животным тут ни при чем – скорей эротический подростковый подтекст, тоска по кентавру. С людьми эти девочки всегда высокомерны – презираешь человечество, ежедневно видя толстых дядек и визгливых теток, неуклюже влезающих на благородное, грациозное, жестоко эксплуатируемое животное... А поскольку Катька больше всего на свете ненавидела именно высокомерие, из которого и произошли все другие пороки, она никогда

не давала этим девочкам денег на прокорм лошадей и не каталась по Воробьевке на грациозных животных.

– А это у нас знаешь что? – указала она ему на невысокий, примерно в полтора человеческих роста, желтый забор напротив. Вдоль забора росли кусты с красными ветками – Катька не знала, как они называются, но почему-то считала, что это бузина.

– Не знаю. Сколько тут хожу, всегда хотел перелезть и поглядеть.

– Тут была одна дача товарища Сталина. У него их было много вообще, никто не знал, на какой он находится. Он любил так развлекаться – говорит кому-нибудь: приглашаю вас, значит, к себе на дачу. Посмотрим там кино, Хрущев споет, сыграем в бутылочку... Человек едет – и никогда не знает, на какую дачу. Такая рулетка. А опозданий товарищ Сталин не прощал. Говорит: «А, ви, значит, опаздываете. Ви нас нэ уважаете. Ну канэшно, канэшно – у вас есть развлечения получше... Ви, наверное, к троцкистско-бухаринской оппозиции в гости ездите и там играете в бутылочку... Где уж вам заезжать к бэдному товарищу Сталину...» – и все, и нет человека. Некоторые прямо тут же и умирали, описавшись.

– Ужас. Зачем же они к нему вообще ездили? Хрущев так хорошо пел?

– Ты не понимаешь. Сам товарищ Сталин не представлял из себя ничего особенного, но у него был садик. На одной из дач. Между прочим, как раз на этой. Особо любившихся ему людей товарищ Сталин выводил в этот садик и предлагал его осмотреть. И не было во всей стране более высокой награды. Чего только не росло в садике товарища Сталина! Он сам заботливо ухаживал за розами, и розы были голубые, зеленые, радужные. Удивительные сливы, величиной с детскую голову и такого же цвета...

– Детородные яблоки...

– Конечно, ведь товарищ Сталин должен был знать суть добра и зла! Каждое утро он съедал такое яблоко, и смысл добра и зла каждый раз был новый. Осмотреть садик он предлагал только самым достойным, знатным людям. Знатными назывались летчики, хлеборобы... Он приглашал самого достойного – только раз в год! – и показывал ему садик и дарил розочку. По выходе из садика розочка тут же превращалась из радужной в обычную, розовую. Один человек попытался черенок от этой розы посадить у себя на даче – не вышло,

конечно. А я в одном доме видела засушенный лепесток, ничего особенного. Но считалось, что если в самый трудный момент его съесть, то можно как-то спастись.

– От чего?

– От всего. А самое потрясающее знаешь что? Что только один раз в году товарищ Сталин и сейчас выходит из своего садика, вон из той калитки, и приглашает к себе людей. Идет мимо какой-нибудь прохожий, а тут – бац! – товарищ Сталин. Зайдите, говорит, ко мне, я хочу показать вам свой сад. И на счастливец обрушивается нечеловеческая удача.

– Никто не возвращался?

– Да все возвращаются, но жизнь им уже не в радость. Они видели садик товарища Сталина, и современность им теперь ничего не может предложить...

Они дошли до Киевского вокзала, мимо сине-свинцовой, тихой Москвы-реки, мимо патентной библиотеки, мимо ТЭЦ, на которой Катька еще помнила надпись «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны» («Знаешь, почему у них не получился коммунизм? Они не нашли плюса! Власть была, электричество было, а плюс утрачен еще Парацельсом!»), и от «Киевской» доехали на метро до «Проспекта Мира», нагло целуясь на всех эскалаторах; там пересели и поехали в Свиблово, обнимаясь все тесней, все крепче, – дом был прямо у метро, рядом с деревянной часовней. Выходя из метро, Катька отключила мобильник. Если наш муж позвонит, весь кайф обломается. Она и представить себе не могла, как с ним говорить – это даже теперь, когда ничего еще не было; а потом...

Игорь жил на двенадцатом этаже.

– Слушай, – шепнул он в лифте, – а ведь ты нарочно решила так долго добираться. Теперь мы войдем, ты скажешь, что попьешь чаю – и сразу надо бежать, потому что уже поздно. Это будет совершенно в твоём духе.

– Ты дурак, – сказала она. – Если я хочу с тобой спать, значит, я буду с тобой спать.

– А дома что скажут?

– Это мои проблемы, не лезь туда, пожалуйста.

– Может, ты все-таки уйдешь ко мне?

– Может, и уйду. Подожди, ты же еще не знаешь ничего. Вдруг вообще ничего не получится.

– С какой стати? – Он чуть не выронил ключи.

– Ну мало ли. Есть понятие «антитело». Все хорошо, а в постели полная несовместимость.

– Типун тебе на язык. Милости прошу. Скромно, но просто.

– А что, – сказала Катька, – очень милая берлога. Я так себе и представляла. Давай, ставь барласкун, кыгырык, дырмыр, и тогда, возможно, мы будем немного тыбыдым.

– Кыгырык не завезли, – сказал Игорь виновато. – Они очень плохо снабжают в последнее время. Говорят, сами там ищите, раз у вас такая стабилизация.

– Ну и написал бы, какая тут стабилизация.

– Они не верят ничему. Зорге же тоже не верили.

– А зачем тогда держат?

– Хороших людей забирать.

– Ой, погоди... – Она отпихивалась, но слабо. – Отцепись, у меня и так ноги подгибаются. Я, что ли, в дыш сначала... Есть дыш?

– Есть, есть. Есть даже хылыт.

– Слушай, – обернулась она уже на пороге ванной, – а я ведь совершенно не в курсе твоей жизни.

– Очень своевременный, оправданный интерес. – Он выпрямился рядом с полузастеленной кроватью и скрестил руки на груди. – Я родился от бедных, но благородных родителей, получил порядочное образование, на Землю попросился добровольно, будучи наслышан о трудной, но благородной работе разведчика...

– «Мертвый сезон» не смотрел?

– Обязательно. Все приличные люди начинали в разведке. Это мой третий рейд к вам. Если хочешь узнать мое настоящее имя, наберись терпения. В нем тридцать три слога, и еще сорок пять в титуле.

– Ты аристократ?

– Прямо скажем, не под забором найден. Катя, иди уже в душ, пожалуйста, а? Хочешь, я тебе потру спинку?

– Не надо, я сама потру себе спинку. Но меня мало интересует твое происхождение. Меня волнует, например, был ли ты женат. Вот в этом халате до меня многие гостили?

– Честное слово, ты первая. Я купил его неделю назад в предвидении именно такого случая.

– Правда? Выглядит подержанным.

– Что ты хочешь, Свибловский рынок. Теперь его закроют, хоть память будет.

– Ты раздевайся, не стесняйся, – сказала Катька.

– Да? А ты будешь стоять и смотреть?

– Ага. Очень интересно.

– Знаешь что, Катя!

– Ну, у вас же все совсем иначе устроено...

– Я не могу тебе вот так показать. Я должен тебя подготовить.

– Что, настолько страшно?

– Нет, просто очень красиво. Иди, пожалуйста, куда шла.

Под душем Катька пела. Она нарочно мылась долго и шумно – надо было оттягивать счастье еще и еще, а между тем в самом деле было поздно, седьмой час, и у нее впервые мелькнула мысль – плюнуть на все, остаться на ночь у него, – но это было вовсе уж безответственно; и вообще, надо посмотреть... Как странно, сейчас мы будем изменять мужу. Но какая же это измена? Счастье накатило и не отпускало: счастье – это когда все можно.

Когда она вышла наконец из ванны, завернутая в явно великоватый халат, горячая, влажная, с полотенцем на голове, – он уже лежал под одеялом и читал какую-то фэнтезийную ерунду с когтистой красавицей на обложке. В зубах красавица держала меч, а в когтях – рыцаря в полном прикиде. Рыцарь тоже кого-то держал, но Катька была близорука.

– Читаем, да?

– Да, знаешь, что-то взгрустнулось. Захотел почитать про родину.

– Взгрустнулось? – Катька села на кровать. – Всякая тварь грустна перед соитием. У нас после, а у вас перед.

– Слушай, – он оторвался от книги. – Может, не надо соития, а? Я тут подумал... ну, все это так серьезно... Мы еще не готовы, ты недостаточно про меня знаешь, мы не проверили свои чувства... По нашим законам, юноша должен совершить три-четыре подвига и только потом взять девушку за, я не знаю, подбородок...

Она смотрела в его хитрые глаза и сияла: это было то, что надо, и с самого начала не надо было ничего другого, и какая

несправедливость, что все вышло только сейчас. Катька всю жизнь стеснялась своего тела, да и вообще себя – словно каждый день вынужденно доказывала кому-то собственное право на существование; она привыкла к этому грузу и несла его без усилий, как улитка домик, но только теперь, когда ноша свалилась, стало ясно, какая тяжесть пригнетала ее к земле с первого класса, с первого контакта со средой. Нам так редко и неохотно подбрасывают своих, чтобы мы не понимали, какой ужас – чужие. После одного дня со своим невозможно сидеть с чужими в классе или на работе, входить в метро, полное чужих тел, ложиться в одну постель с непонятым полужнакомым человеком. В своем все устроено как надо. Такая полнота совпадения невыносима, как чистый кислород: после этого все оскорбительно и грязно, и лучше вообще не разлипаться. Кошунственна была сама мысль о том, чтобы перед этим пить – тогда как с прежними своими мужчинами Катька до такой степени стыдилась самой ситуации, что обязательно опрокидывала банку-другую джин-тоника, а то и прибегала к чему покрепче.

– Нет, погоди. Я должна тебе все объяснить. Ты можешь сделать не так, мы хрупкие существа. Значит, есть три дырки.

– Больше, больше...

– Уши не в счет. Пусти, дурак, ты приехал информацию собирать или зачем? Тебе неинтересно, что ли?

– Нет, почему, очень увлекательно. Продолжайте, профессор.

– Ну вот. Есть три отверстия. Одно, основное, расположено здесь и скрыто от глаз. Некоторые бреют, но мы считаем это неэстетичным.

– Действительно. Такой милый хвост.

– Это у тебя милый хвост. У нас это как бы ежик. Ежик – насекомоядное животное, живет в средней полосе практически повсеместно... Погоди, не трогай зверька. Он испугался и свернулся. Мы имеем также другое отверстие, противоположное, в него тоже можно, но в основном оно не для этого. Бывает типа банальный секс и анальный секс...

– Но это ужасно больно, наверное.

– Ты знаешь, у наших мужчин считается очень оскорбительным, если их кто-нибудь в это отверстие. Но для наших женщин это почему-то знак особенного расположения. Мы посмотрим, может быть, у нас

до этого дойдет, но вряд ли. И наконец, есть третий способ, но при нем не поговоришь.

– Ага. Я, кажется, догадываюсь.

– Я в это время не то чтобы очень болтлива, но понимаешь... если иногда приходит важная мысль... просто поделиться...

– Да, да. Я понимаю. Скажите, профессор, а там, внутри... там нет ничего опасного? Ну, в смысле зубы... или бездна... Я слышал, что в вашем фольклоре это место имеет очень негативные коннотации...

– Знаете, Игорь, в нашем фольклоре практически все места... ох... имеют негативные коннотации. Игорь! Игорь, дурак! Какое счастье, что можно вот так трепаться, а? У меня ни с кем не было ничего подобного.

Некоторое время они просто лежали рядом, он гладил ее и терся носом о щеку, было ясно, что будет замечательно и еще более замечательно, но главное – она была необыкновенно хороша и сама это чувствовала, хотя и не видела в комнате ни одного зеркала; даже в ванной оно было маленькое, ровно для того, чтобы побриться.

– Подожди, но мы не обговорили всего разнообразия способов...

– Ка-а-атка... Ты абсолютное чудо, ты в курсе вообще?

– Знаешь, да. Сейчас почему-то в курсе.

– Ну, а когда у вас считается, что уже можно? Что можно как бы приступать?

– Это по готовности. Но вы, кажется, были готовы еще в лифте?

– Мы готовы, всегда готовы... Я ведь член нашей этой организации, как ее... пыинер... знаешь, да? Мы всегда готовы, это годы тренировок...

– Ну что ты делаешь! Дай я сама.

– Ну, сама так сама... Что ты ржешь?

– Ой, погоди... Ты знаешь это выражение – «и он весь превратился в слух»?

– Да. У нас тоже такое есть.

– Ну вот, а в таких ситуациях надо бы – «и он весь превратился в...».

– Да, – сказал он, – это похоже. Поразительно, как ты умеешь чувствовать другого человека.

Некоторое время им было не до острот. Наглой натяжкой было бы утверждать, что с первого же раза она испытала неземное блаженство;

точней, ее неземное блаженство было совершенно иной природы, и всякая там физиология никакой роли уже не играла. Было полное совпадение, и блаженная вседозволенность, и милая покрасневшая морда с виноватым и восхищенным выражением, и деликатность, столь умиляющая в мужчине, существе низшем, эгоистическом... Это же существо, наверняка инопланетное, думало не о себе, а о ней, продолжая помнить краем сознания, что она у него ненадолго, что всё вообще ненадолго, – ее-то часто посещали такие мысли, и именно в постели: некоторым счастливым почему-то в это время кажется, что они бессмертны, а она никогда не ощущала себя такой смертной, как во время близости. И сейчас тоже. Но сейчас к этой тоске примешивалось другое чувство, истинное счастье – рядом с ней тоже был необыкновенно смертный человек, и то, что они умрут оба, особенно сближало, позволяя принять и этот закон.

– Ну ладно, – сказал он. – Я чаю принесу.

– Чудесно. А потом?

– А потом я тебе покажу, как это у нас.

– Что, иначе?

– Совсем иначе.

– Ну прости, милый. Я тебя грубо изнасиловала, да?

– Что ты, Катя. Очень познавательно, правда. Но у нас совсем не так. Мы сейчас попробуем, только у нас так устроено, что нужно время восстановиться. У вас, наверное, не так, да?

– Так, так. Но вы же, пыинеры, всегда готовы...

– Всегда готовы только почетные пыинеры. А я обычный.

Он пошел в кухню – она успела заметить, что все-таки ей достался замечательный инопланетянин, высокий, тонкий, при этом без всякой болезненной хилости. Теперь было время рассмотреть комнату: она не видела толком названий его книг, но по обложкам угадывала стандартный набор плюс страшное количество фотоальбомов (главным образом природа; мы, значит, изучаем земную флору и фауну?). Компьютер был титанически навороченный, с серебристым корпусом, идеально плоским монитором не меньше двадцати трех в диагонали, четыремя колонками по углам жилища – вообще чувствовалось, что все деньги уходят сюда. Прочая обстановка была явно хозяйская: Игорь проговорился однажды, что квартиру снимает, потому что с родителями жить не хочет.

Он вернулся с двумя кружками жасминового чая, потом принес миску мелких желтых шариков.

– Это наша инопланетная еда.

– Ну ты подумай! Альфа Козерога, а жрут кукурузу с сыром.

– Это только кажется, что кукуруза. На самом деле это наша секретная вещь, ужасно сытная. Каждый шар возвращает силу и приносит день жизни.

– Ну, дней на пять я себе уже наела.

– Учти, я нарушаю все инструкции, давая тебе такую еду.

– Тебя теперь вызывать ковер, отнимать зверьки, лишать шары?

– Очень быть дорого каждый раз вызывать ковер из Москва на Альфа Козерога. Мне присылать секретная шифровка: Юстас, Юстас, где шары? Почему кормить самка? Я выкрутиться, отвечать, что иначе она пожрать я. Быть вынужден утолять страшный посткоитальный аппетит. Не ешь много, станешь слишком толстая, я разлюбить, улететь.

– А работа?

– Какая работа, когда тебя толстая самка преследует сексуальными домогательствами...

– Да, да. Кстати о домогательствах. Ты съел шар? Восстановился? Ты, помнится, хотел мне показать, как это делают у вас...

– Да, сейчас. Обязательно. Я только отнесу чашки.

Аккуратист, подумала она, какая прелесть.

– Ну вот, – сказал он, ложась рядом. – Единственная просьба: не закрывать глаза, у нас это не принято. Почему у вас закрывают глаза, ты не знаешь?

– Вообще догадываюсь. Чтобы не увидеть родное лицо, искаженное гримасой похоти.

– А. Ну ладно. Я постараюсь не исказиться. Тем более, что какая же это похоть?

Дальнейшее было странно, почти статично и все же трудноописуемо.

Надо заметить, что в физической стороне любви вообще много такого, о чем лучше не думать. Всякий человек, которому случалось испытывать сильное физическое притяжение, отлично понимает, что, например, Отелло убил Дездемону не потому, что ее оклеветал Яго, рядом случился соблазнительный Кассио и т. д., а потому, что

чувственному мавру с самого начала хотелось задушить хрупкую белую женщину с чертами виктимности, и сама она отлично знала, что этим кончится, и сознательно на это шла, еще отчасти его и провоцируя. Настоящая трагедия получилась бы, обойдись Шекспир вовсе без темы клеветы и оставь на уединенном острове только мавра, венецианку и их странные игры, обреченные прийти именно к такому исходу. Ну, может, Бьянка какая-нибудь будет еще бегать по сцене как невольный свидетель. Отелло задушил Дездемону не потому, что ревновал, а потому, что хотел задушить, вся полнота его страсти могла реализоваться только так, сильное физическое притяжение непременно вытаскивает из нас нечто такое, от чего в конце концов вся любовь сводится либо к диким, с рычанием, ссорам и дракам, либо к столь же диким соитиям и укусам. Вокруг этого навечно много пошлости, начиная с фрейдистских домыслов насчет Эроса и Танатоса, но у Катки подобная история была на третьем курсе, она еле вырвалась из нее. Товарищ устроил ей такую «Горькую луну», что до сих пор вспомнить стыдно. Ко всему он был совершенный идиот, претенциозный, дурновкусный, любитель Егора Летова, всякой смертельной мистики и готики: клочок козлиной бороды, серьга, черная косуха, байкерская юность, внезапные приступы ярости с блатным визгом; таскал ее, помнится, по заброшенным кинотеатрам и заводам, был у них целый клуб, ширялись... отчасти, наверное, это объясняет, почему возникший на горизонте наш муж был сочтен спасательным кругом, чуть ли не ангелом-хранителем. Мы побежали тогда в эти уютные, простые отношения – в надежде избавиться от зависимости; и в самом деле, путем отсечения какой-то больной части нашей психики и некоторого, чего скрывать, интеллектуального оскудения приобрели стабильную семью и душевное здоровье, а надлом, вечно отзывавшийся на мировые катаклизмы, как старый перелом на дурную погоду, почти перестал напоминать о себе. Но есть еще один вариант совпадения, редчайший, почти не встречающийся – мы назвали бы его братством в позоре, товариществом в смертности; «как друг, обнявший молча друга пред заточением его» – точнее, пред заточением обоих. Это и есть настоящая любовь, с которой ничего невозможно сделать. Оба этих крайних варианта, адская похоть и райское союзничество, симметрично располагаются по разные стороны от того чистилища, в котором мы с нашим мужем прожили

последние три года, забыв, как оно было, и заставляя себя не думать, как могло бы. Все это Катька передумала секунд за десять, в состоянии, которое, как принято считать, исключает всякую способность к соображению. Конечно, она ничего этого не формулировала, но представляла себя и Игоря на острове среди то ли огненного, то ли морского буйства, при полной иллюзорности спасения, когда единственным, что могли они предъявить Богу в последний момент, была абсолютная близость, достижение жалкое и сомнительное, в сравнении с которым, однако, меркнут любые свершения. Так можно было любить в гибнущей Помпее, за секунду перед тем, как разделить общую участь. Отсюда же и дурацкое, ничего не объясняющее «кончил», «кончила»: сначала до тебя доходит, что все конечно, потом – что все кончено. Катька поняла это со страшной силой: на мгновение ей представился дымный горизонт, выжженные поля с напрасным урожаем, закат на западе и пламя на востоке, сумеречный лес, в котором по случаю конца света пробуждаются самые страшные сущности, дремавшие доселе в дуплах, ветвях, пнях, брошенные огороды, разоренные дома и жалкая кучка беженцев с убогим скарбом, плетущаяся через поселок и усугубляющая кошмар визгливыми, бессмысленными взаимными обвинениями. Это была война, землетрясение, голод и мор, за лесом выло, на железной дороге грохотало, и хрустела под ногами колючая стерня, схваченная первыми заморозками.

Очень может быть, что у других людей все не так, и эта утешительная мысль первой пришла Катьке после того, как к ней вернулась способность различать окружающий мир. В окружающем мире быстро темнело. Наступали сумерки – самая тревожная и неуютная пора.

– И что... у вас всегда так? – спросила она.

– Где?

– Ну там... на планете... Я, кстати, так и не знаю, как она называется.

– Ой, это долго по-вашему. Слогов двадцать. Для краткости будем говорить «на Альфе» или «у тебя дома».

– И что, у тебя дома всегда так... это происходит?

– Нет, не всегда. Иногда перебираешь тьму вариантов, ничего подходящего нет, – тогда говоришь: «Ладно, пошлите меня, товарищи,

на Землю, может, я там поищу». Наверное, извращение какое-то, если среди нормальных людей найти не можешь, а среди потомков всяких флибустьеров сразу бац – любовь. Но я это себе так объясняю, что наоборот, среди потомков флибустьеров иногда вдруг нарождается мутант с удивительными свойствами, на грани святости, и тогда тебя к нему тянет больше, чем к нашим образцовым домохозяйкам.

– Не замечала в себе сроду никакой святости.

– Ну а в чем она должна заключаться? В помощи бедным? Это самое тупое... Я думаю, нужна чуткость такая, на грани фантастики. А больше святость ни в чем не выражается. Все нормальные святые просто очень много понимали и действовали соответственно. Не наступали на больные мозоли, не говорили гадостей... Святой – это же не тот, кто повсюду ищет обездоленных в надежде их спасти и тем повысить самоуважение. Ау, ау, кто обездоленный?! Святой столько понимает про человечество, что ему всех только жалко. Ничего другого ведь нельзя испытывать, если смотреть с известной высоты...

– Да. Очень интересно. Подожди, но это самое... – Катька всегда ощущала неловкость не только говоря, но и думая на эти темы. – Ты же почти ничего не делал.

– Я очень много всего делал, но это не сводилось к примитивному шевелению туда-сюда.

– И что это было?

– Ну... все тебе расскажи... Это был наш специальный способ.

– А... Ну да. Короче, мне пора.

– Ты что? – вскинулся он. – Лежи!

– Нет, Игорь, мне серьезно пора.

– Ты что, не можешь остаться?

– Пока не могу.

– А соврать что-нибудь? Завтра воскресенье, в конце концов. Ты могла заночевать у подруги.

– У меня нет подруг. То есть таких, у которых я могу заночевать.

– А Лида?

– Не говори ерунды. Он отлично знает, что Лида с Борей каждые выходные уезжают на дикую природу.

– Господи, ну к родне поехала...

– Ты что, как моя дочь? Не можешь без меня заснуть?

– Теперь не смогу. Ты знаешь, как у нас это серьезно? У нас кто раз это делал с женщиной, тот уже один быть не может. Все равно что руку оторвать.

– Ладно, пусти. Честное слово. Я тебе клянусь, что завтра чего-нибудь придумаю и мы куда-то пойдём.

Она уже злилась, потому что ей было невыносимо тревожно. Прошло часа три, наверное, как она приехала сюда... было ведь уже шесть с копейками... значит, сейчас девять, надо позвонить домой и что-то наврать – но как раз звонить от него домой она почему-то не могла, да и не была уверена, что сможет врать достаточно беспечно. Ладно, по дороге чего-нибудь изобретем. Ему-то хорошо, он останется здесь, а ей переться через всю Москву с пересадкой на кольцо, – требовалось страшное усилие, чтобы встать, отклеиться от него, одеться (всегда терпеть не могла одеваться, со школы, с треклятых зимних пробуждений, при воспоминании о которых и теперь неудержимо накатывал озноб и нервная зевота), и она уже сердилась на него за то, что он останется здесь, в своем раю, а она из него уйдет и весь вечер вынуждена будет притворяться.

– Я тебя отвезу.

– Лежи.

– Нет, что ты... – Он уже встал и натягивал джинсы.

– Я тебя серьезно прошу, останься тут! Не хватало мне еще в дороге мучиться, а потом в подъезде переключаться... Я пока буду ехать, как раз от тебя отойду.

– Слушай, мне так не нравится. Ты будешь ехать, я буду тут представлять, как ты едешь, и сходить с ума.

– Ну представлял же ты раньше, как я еду...

– Дура, то ведь раньше! А теперь совсем другое. Теперь я чувствую все, как ты. У вас что, не так?

– Нет, у нас не так. У нас если бы было так, то половина населения чувствовала бы одинаково, потому что все со всеми.

– Почему, это же потом проходит. Это только пока любовь, а потом ж-жах – и все. И не чувствуешь. Как лампочку выкрутили. Это значит – прошло.

– Нет, Игорь. Нет. Ну пожалуйста, сделай ты раз в жизни, как я говорю, – она сама не заметила, как употребила любимое выражение нашего мужа: он всегда это говорил, настаивая на чем-то.

– Ты завтра позвонишь? – спросил он, когда она, не стесняясь его, быстро мазалась перед единственным зеркалом, в ванной.

– Позвоню, естественно, куда же я денусь. Мы, земные женщины, страшно привязчивы.

– А я боюсь, что ты теперь пропадешь и больше не появишься. Вы, земные женщины, ужасно роковые.

– Игорь! – Она закрыла косметичку и влезла в пальто, которое он и не подумал ей подать, так и стоял столбом, загораживая вход в комнату. – Я тебе клянусь всем святым, что никогда тебя не покину по доброй воле. Вот честно. Вы все, инопланетяне, ужасные дураки. Вы думаете, что женщина может злиться только на вас. Пойми ты, я с ума схожу, будь моя воля – я бы вообще никогда не ушла отсюда. Здесь все совершенно как мне надо. Я не на тебя сержусь, ты понял?

– Понял, понял. Но ты правда позвонишь?

– Ты сам можешь позвонить совершенно спокойно...

– Я сам теперь боюсь.

– Ну и правильно. А то наши земные мужчины после этого думают, что уже все можно, – она быстро поцеловала его в щеку.

– А кровать будет тобой пахнуть.

– Ну вот видишь, моя радость. Считай, что я частично тут.

– У тебя есть на такси?

– Не хватало еще деньги с тебя брать за сеанс.

– Ну давай, – он повожился с замками и открыл дверь.

Изгнание из рая совершилось, причем вполне добровольно. Внизу собачник уже выгуливал эрделя, господи, ведь в самом деле четверть десятого! В метро попался вагон, в котором ехали одни монстры: так бывает, причем именно тогда, когда мы особенно уязвимы. Особенно ужасна была пара уродов, с узкими, вытянутыми черепами, с фанатичными черными глазами, оба в рубище, в пропыленных тряпках цвета советских тренировочных штанов, она еще застала такие. Оба мрачно смотрели вперед, крепко держась за руки, – вероятно, брат и сестра, жертвы пьяного зачатия; ну правильно, что ж – уроды должны держаться вместе, крепче хвататься друг за друга, откуда нам взять другую опору? На «ВДНХ» вошли отец с дочерью, ей лет двадцать, ему под пятьдесят, он толстый, и она толстая, бородавчатая, в мужских ботинках, вся в него, несчастная, деться некуда, всем некуда деться. Достали книжки, у него первый том Марининой, у нее второй. На

«Проспекте Мира» почему-то была закрыта пересадка – она не сумела перейти на кольцо, пришлось ехать до «Октябрьской», в вагоне никто даже не зароптал – несчастные, приплюснутые люди, кол им на голове теши – слова не скажут, все так и надо. Доехала до «Профсоюзной», схватила такси, грузин попался молчаливый, печальный и с виду даже рыцарственный – знала она эту рыцарственность, сплошной винно-шашлычный перегар под ветшающей оболочкой национального колорита, – и все время, пока они ехали мимо темных тополей улицы Вавилова, мимо спешно разбираемого Черемушкинского рынка, оголенный остов которого жалобно торчал слева, она спрашивала себя: и что теперь будет, и как теперь будем жить?

– И как теперь будэм жить? – обреченно спросил грузин.

Она уставилась на него с внезапной благодарностью: нет, все-таки в них есть какая-то восточная чуткость.

– Попробуем как-нибудь. – Катька попыталась улыбнуться и даже подмигнула. – Не такое бывало, в конце концов...

– Нэт, такого еще нэ бывало.

Прямо мысли читает, ужаснулась она.

Только тут Катька осмелилась включить мобильник: Сереженька, вероятно, уже обзвонился. Сообщений от него не было. Она позвонила домой – как-то самортизировать неизбежный скандал, невинным голосом объяснить, что задержалась, но обнаружила, что кончились деньги; вот так всегда, в самый неподходящий момент.

– Связь у многих нэ работает, – сказал грузин.

– Да, черт-те что творится... У вас тоже что-то случилось?

– Нэт, – грустно улыбнулся он, – ничего сверх обычного. Всё, что у всэх.

– Ну, если у всех, то как-нибудь.

– Как-нибудь, как-нибудь... Вы не с Востока сама?

Из-за черных волос и некоторой смуглости, особенно заметной в сумерках, ее, случалось, принимали за гречанку или турчанку, – курносый российский нос, конечно, путал карты.

– Нет, нет. Я из Брянска вообще.

– А... Ну, сейчас время такое, что не смотрят. Могут и из Брянска...

– Что могут?

– Всё могут, – мрачно сказал он. Видимо, у него был тяжелый опыт отношений с милицией.

Лифт не работал, Катька взлетела на свой пятый, некоторое время переводила дыхание перед дверью, искала внутренний выключатель – действительно, вот бы кнопка, Ури, Ури, где у него кнопка! – наконец решилась и открыла дверь. Кто бы думал, что на нас так подействует первая измена; что значит пять лет добропорядочности. Наш муж, наш Котенька, как называли мы его в хорошую минуту, наш Сереженька сидел перед телевизором и мрачно смотрел российский боевик: менты с овчарками, руины торгового центра в Сокольниках, штук двадцать машин скорой помощи.

– Котя! – крикнула Катька с преувеличенной бодростью. – Кот, ты не представляешь, какая красота! Я так нагулялась... прямо как в детстве...

– Я тут с ума схожу, – произнес наш муж мрачно, не поворачивая головы. – Ты хоть позвонить могла?

– Кот, честно, деньги кончились, а карты там нигде не купишь... Ну что такое, в конце концов, всего десять...

Тут только она взглянула на любимые настенные часы и поняла, что идет не боевик – показывали десятичасовые новости; с тех пор как сцены насилия с семи утра до десяти вечера были запрещены, имело смысл смотреть только десятичасовые, потому что во всех остальных выпусках ни о терактах, ни о захватах не говорили, шла сплошная молотьба и дружественные визиты. С десяти прорывало – на Первом поменьше, на России посерьвильнее, на НТВ поэксклюзивнее, а тарелки у них не было: за тарелку теперь полагалось платить пять тысяч в месяц, и хорошо, что рублей.

Торгового центра «Сокольники» больше не существовало. Дом был отчетливо виден в разрезе, со второго этажа свисали синие тряпки – Катька, ужаснувшись, узнала форменную одежду продавцов. Внизу, перед входом в спортивный отдел, обычно торговали белорусскими велосипедами, и теперь справа от входа громоздилась груда изуродованных, восьмерками выгнутых колес.

– Суббота, – сказал муж. – Все с детьми пошли... Рассчитали, сволочи.

– Слушай, когда это?!

– Перед закрытием, в семь. Я звоню тебе, звоню, связь не работает... Во всем городе, говорят, проблемы с мобилами.

– Ну и кто сделал? Что хоть говорят-то?

– Что они говорят... Говорят, что тридцать человек погибли и пятьдесят ранены. Ты можешь себе представить, сколько там на самом деле?

Разборок не будет, с облегчением подумала Катька, он слишком занят другим, – но тут же мысленно закатила себе оплеуху: сволочь, о чем ты думаешь?!

На самом деле до нее просто никак не могло дойти, что произошло. Теракты случались в последнее лето чаще обычного, в августе все спецслужбы встали на уши, чтобы не оправдалась примета насчет рокового месяца, – и до двадцать пятого все было тихо, но потом случился захват Маклаковской АЭС, чудом не приведший к всеобщему бенцу только потому, что не сработало взрывное устройство (сказали, естественно, что были учения, – а город подумал, шахиды идут). Убрали Патрушева, разогнали «Огонек», попавший под раздачу без всяких причин. Сентябрь прошел относительно тихо, она уже думала – очередная волна не скоро, но оказывается, это они набирались сил.

– Ответственность взял кто-нибудь?

– Говорят, какой-то псих из Турции разместил на сайте... Его проверили – вроде ничего нет. Я боюсь, теперь Сеть вообще закроют к фигам...

– Ну, всю-то не закроешь.

– Ты говорила, что и рынки не закроешь.

– Господи, господи! – Катька взгляделась в экран. – Сколько же там рвануло?

– Говорят, было четыре бомбы на двух этажах. По пятьсот грамм.

– Слушай, кто у нас живет в Сокольниках? Коньшев, кажется?

– Коньшев на даче, у него автоответчик.

– Черт... Что же будет...

– Не знаю, что будет. Валить отсюда надо, вот что. – Он встал, и Катька не могла не заметить, какой он маленький. – Валить к чертовой матери. Еще раз рванет – вообще разговаривать запретят. Я не могу, чтобы у меня ребенок рос в этом аду.

– Ну и куда ты свалишь?

– Хоть в Африку, хоть в Антарктику. К черту лысому. Не можете ни хрена, кроме как свой же народ пугать, – все, не обижайтесь, если одни останетесь.

Он тер затылок – затекла шея – и отчего-то не смотрел на нее, а все в пол. Может, чувствует что-то? Впрочем, что теперь...

– Катя! – сказал он с внезапным пафосом. – Я тебя очень прошу! Никуда не ходи одна! Сама видишь, время такое, черт-те что может случиться...

– Да куда я хожу, кроме работы? Гулять иногда...

– Я не знаю, куда ты ходишь. Я вообще не претендую знать, куда ты ходишь.

– Кот! Ну Кот! Ну что ты заводишься, честное слово...

– Я завожусь? Это я завожусь? Я, кажется, вообще ни слова... Я только хочу сказать, что сейчас не время. Понимаешь? Не нужно сейчас надолго уходить из дома. Я свинья, конечно, тебе со мной скучно, я занят только собой и все понимаю. Честное слово, я постараюсь...

«Еще бы не хватало, чтобы ты сейчас занялся мной», – подумала она обреченно, уходя в кухню. Но он занялся. Весь вечер ныл, а ночью – видимо, странным образом возбуждись на фоне общего испуга – полез на нее, и не было никаких отмазок. Вероятно, счастливая в любви женщина испускает флюиды, приманивающие самцов. Невыносимо было не только то, что досталась я в один и тот же день лукавому, архангелу и Богу (только Бог медлил, но, судя по динамике, скоро приберет): невыносимей всего было то, что полунасилованным соитием с мужем начисто уничтожалось впечатление от инопланетного волшебства, невозпроизводимого, конечно, ни с кем другим. Становилось вообще непонятно, зачем люди живут вместе, – как после тонны графомании, прочитанной где-нибудь в Сети или в современном журнале, перестаешь понимать, так ли уж хорошо «Я помню чудное мгновенье...». Чудное мгновенье растянулось минут на двадцать, муж старался. Катка лежала как бревно, но он и не нуждался в реакции. Вскоре после решительного момента вошла, пошатываясь, испуганная Подуша: ей приснился кошмар.

Пришлось заново укладывать, успокаивать, петь. Сереженька храпел. Катка спела дочери «Было время, процветала в мире наша

сторона...». Дочь во сне была похожа на Сереженьку. И было еще что-то, важное и неприятное, о чем надо было подумать.

«Семь часов, – вспомнила она. – Что мы делали в семь часов?»

III

Так началась для Катьки жизнь, которую она не могла бы назвать ни райской, ни адской – и которая напоминала скорее улей и сад из финала любимой повести; а того верней – садик товарища Сталина, под почвой которого клубился адский жар, а на грядках благоухали радужные розы. Рай и ад спелись, сплелись и создали идеальную среду для незаконной любви. После взрыва в Сокольниках понеслось: то ли последний и решительный штурм, к которому готовились все эти годы, то ли первая атака объединенного ислама, то ли – и эту догадку было уже не отогнать – хаотическое осыпание самой системы, и тут уже радикальный ислам был не виноват ни сном ни духом.

Бабахало по два-три раза в неделю, то в Москве, то в области, то на южных окраинах, то в Сибири, то на Дальнем Востоке, в непредсказуемых местах и без всякой логики. Всего ужасней были традиционные внутренние репрессии в ответ на внешние атаки – словно паралитик не в силах был отогнать ос и лупил самого себя по тем местам, до которых мог дотянуться. Зрелище было не столько пугающее, сколько жалкое. Никто уже не сомневался, что государство недееспособно, обречено и рухнет в самом скором времени – тем более что взрывать оказалось на диво легким делом. Взрывчатки хватало, шахиды уже не требовались – радиоуправляемый заряд в сумке срабатывал в час пик, на концерте, в музее, среди ночи падал жилой дом, в Ульяновске причиной взрыва называли утечку газа, а в Братске – тектонический сдвиг из-за внезапного таяния мерзлоты; случалась двух-трехдневная пауза, и бабахало опять, на этот раз в троллейбусе, и вот что мучило вдвойне – люди научились с этим жить, приспособливаться; человек опять доказал свою исключительную адаптивность – из обреченных домов вдруг среди ночи, за час до взрыва, высыпали жильцы, иногда даже успевали вызвать милицию, найти и обезвредить взрывчатку; в заминированный троллейбус садилось меньше народу (интервью со счастливыми, избежавшими судьбы, почти ежедневно печатала «Вечерка» – «И тут-то я и почувствовал: нехорошо! Ну его, думаю, пойду пешком. Надо бы мне, конечно, в милицию – но кто бы поверил?!»). Народным бунтом не

пахло, хотя в иное время двух таких терактов с лихвой хватило бы для низвержения власти, – но Россия вновь доказывала свою неодолимую природность: в иное время довольно было крошечного толчка, чтобы обрушить всю конструкцию, – теперь же все словно спали, и конструкция медленно гнила, обваливаясь по частям. Если бы вся она сгорела в одночасье, что-то стальное в ней могло уцелеть, – но в болоте перегнивает любое железо. Не было не только революции, но и сколько-нибудь заметного ропота; для ропота был не сезон, и никакие взрывы не могли ускорить время, как не может взрыв или пожар на волжском льду ускорить приход весны.

Островки нормальной жизни среди всего этого сохранялись – магазины торговали, хотя ассортимент стремительно скудел и еда все чаще попадалась гнилая, порченная; кое-где платили зарплату, кто-то качал нефть (и ни один нефтепровод еще не взорвался, подтверждая конспирологическую теорию о том, что все это «из-за нефтянки», хотя при чем нефтянка – никто объяснить не мог). Самое же странное, что продолжал выходить «Офис», из-за чего Катьке все чаще приходило в голову, что журнал как-то связан с террористами, может, служит им крышей, мало ли, потому что прочие издания лопались с той же скоростью, с какой плодились в девяностые. Дольше других продержался глянец, и это было по-своему логично – в гибнущей стране все наоборот, законы переворачиваются, и наиболее жизнеспособным оказывается никому не нужное. Катька прислушивалась к гулу гибели, и не сказать, чтобы этот звук ей вовсе не нравился.

В конце концов, только так она и могла быть счастлива. Нелюбимый ребенок с коллекцией незаживших душевных язв, она резонировала только с катастрофой – и надо было случиться, чтобы разгар катастрофы совпал с первой и последней любовью, с месяцем бурного счастья, на фоне пышного увядания и вулканического жара! Наш муж, в одночасье лишившийся работы и совершенно потерявшийся (часами лежал на диване, вцепившись в Подушу, – няньку рассчитали, на нее уже не хватало), каждое утро начинал с разговора об отъезде, не признаваясь даже себе, что отъезд давно немислим – вот уж две недели, как введено чрезвычайное положение, выезд только по специальной визе, куча разрешений от МИДа, Совбеза, ФСБ, уважительная причина, профессиональная

необходимость... Разом свернулись все обменные программы, в два дня обанкротились турфирмы («Офис» порядочно потерял на этом – реклама туроператоров шла в каждом номере), а главное – никто не мог объяснить, за каким чертом понадобилось возводить этот занавес на руинах. Все было тем абсурдней, что действовал так называемый принцип обыска – всех впускать, никого не выпускать; въезд в страну оставался совершенно свободным, и любой шахид мог попасть в нее без проблем, – власть словно заботилась о том, чтобы было кого взрывать: обидно же восточному гостю приезжать на пустое место.

Поначалу родители звонили из Германии через день, потом реже – они долго не могли взять в толк, как такое может продолжаться неделями и никто ничего не в силах остановить; им все еще казалось, что к ситуации приложимы нормальные критерии. В конце концов, в Германии тоже бывало, и не один раз, но чтобы вот так, лавиной... Мать умоляла Катю не спускаться в метро – она и в Нюрнберге жила брянскими мерками, будучи уверена, что в Москве можно всюду добраться автобусом, а то и пешком, к подземке же прибегают исключительно для быстроты. Отец недоумевал, чем занято правительство и почему молчат демократы, в особенную влияние и западные связи которых он свято верил с самой перестройки; Катя лишней раз убеждалась, что перестроечные представления оказались феноменально живучи – это была последняя и самая сладостная волна государственной пропаганды, ибо государство, проповедующее распад, обладает удвоенной силой, освящая своим авторитетом давно желаемое. Распад, как выяснилось, был тайной мечтой почти всего населения, потому что созидать давно было незачем, нечем и, в сущности, себе дороже. Может, все потому и сносили нарастающий террор так покорно, что в глубине души с самого начала были уверены в заслуженности происходящего, в естественности именно такого развития событий; каждый знал за собой тайную вину. С той же покорностью сносили ведь и посадки, и разорения, и обманы – начиная робко возмущаться, лишь когда гнет слабел. Слабый гнет как бы сомневался в своем праве – и робкой власти ставилось в строку всякое лыко, тогда как сильной прощалось и вдесятеро большее. Теракты терпели потому, что за ними чувствовали мощь, с которой не пошутить. С каждым новым взрывом всё уверенней обвиняли власть и всё охотнее сочувствовали противнику –

ибо противник казался опасней; Катька давно знала, что истинное свободолюбие заключается в выборе сильнейшего врага и переходе на его сторону. Власть порывалась, конечно, доказать и свою силу – посадили пару химиков, передавших Китаю подшивку институтской газеты двадцатилетней давности, – но даже если бы начали сажать за курение на улицах, ввели налог на русский язык и выслали из Москвы всех гагаузов, иррациональность уже не обернулась бы величием.

Страннее же всего было то, что происходило с самой Катькой. На нее навалилась необъяснимая глухота: ни страха за собственную жизнь, ни скорби по отнятой чужой уже не было. Проще всего было сказать, что превышен болевой порог, а на войне как на войне: каждого оплакивать – никаких слез не хватит. На войне, однако, есть хоть то утешение, что наносишь ответный удар, посильно бьешь противника – здесь же и противника не было видно, только Шамиль слал по Интернету ехидные письма; отвечать было некому и некуда, и это придавало смертям в метро и в спящих домах анонимность и неотвратимость Божьей кары. Не Богу же было мстить – но то, что он это допускал, обесценивало любую молитву. Взрывы были ответом на силу и слабость, ультиматумы и переговоры, угрозы и признания вины; взрывы не имели прикладной, низменной цели вроде шантажа, устройства переговоров или чьей бы то ни было независимости. Шла война на уничтожение, без условностей и условий, – и оказалось, что обреченных жалеть нельзя. По законам военного времени к скорби должно было примешиваться новое чувство – жажда мести. Без этого скорбь обесценивалась, перерождаясь в безвыходное раздражение, в тоскливую мольбу: «Скорей бы». У тех, кого приговорил Бог или столь же незримая сила, есть лишь обреченность да глухое чувство давней вины, за которую пришла наконец очередь расплатиться. В чем вина – не взялся бы сказать и самый пристрастный историк, но без ее бремени нельзя было бы влачить такую жизнь и принимать такую смерть.

Каждое утро Катька просыпалась в невыносимой тоске, в центре которой, как сладкий комок мороженого среди черной кофейной горечи, все-таки была мысль об Игоре, и она хваталась за эту мысль, но тоска по контрасту делалась только горше. Особенно невыносимо было с утра, еще в тумане, тащить Подушу в детсад, куда ее пришлось в конце концов устроить, несмотря на все протесты нашего мужа.

Катька вообще ненавидела просыпаться раньше девяти, куда проще ей, как всякой сове, было бодрствовать до четырех утра за срочной работой, – а тут в семь надо было срочно отрывать голову от подушки, прыгать под горячий душ (по средам горячей воды не было – начали по случаю террора внезапную профилактику, черт бы их драл, при чем тут профилактика, где террор, а где трубы?!), расталкивать сонную Подушу, одевать ее, несмотря на рыдания, тащить за собой в гору, к детсаду, – хорошо еще, в нем нашлись места после того, как комитет детсадовских матерей потребовал выгнать всех «черных», включая одного действительно негра, отпрыска чьей-то любви со студентом института Лумумбы. Куда дели этих восточных детей, никто не знал, родители забрали их безропотно, опасаясь худшего.

С утра, с раннего пробуждения, с бессмысленного насилия над собой (кто придумал эти детские сады с восьми утра?!) начиналось отвращение ко всему. Сереженька порывался встать, помочь, сварить кофе – но ронял голову и засыпал опять. Из него в последнее время будто вынули позвоночник – воли нашего мужа не хватало даже на то, чтобы принять душ перед сном. Катька, однако, не завидовала его праву оставаться дома – до вечера он был теперь предоставлен себе, накручивал круги по квартире, выходил попить пива с мужиками, сидел перед телевизором, бессмысленно глядя непрекращающиеся «Фабрики звезд», которые, в порядке борьбы с ксенофобией, вели Дадашева с Кушанашвили, и чем смотреть все это в тупом ожидании худшего – а ждать лучшего перед таким телевизором не приходилось, – предпочтительней было оттаскивать дочь в сад, верстать никому не нужный «Офис» и по вечерам три часа в сутки окончательно сходить с ума, потому что ясность рассудка возвращалась только на эти три часа, когда она была с Игорем, и тогда она понимала, куда все катится.

Катька оставляла злобной воспитательнице ноющую Подушу, шла к остановке, и взгляд ее падал на новые и новые приметы распада. Около дома напротив появилась полупарализованная собака, шпиц, кем-то выброшенный из-за болезни и старости, – этому шпицу дети построили в кустах картонный домик, выносили ему туда объедки... На всех прохожих, кроме этих детей, он отчаянно, визгливо лаял, откуда силы брались, – лаял на собственную смерть и бессилие, и звучало это так жалко, что Катька всякий раз думала: вот так и страна,

в картонном убежище, в полупараличе, среди объедков, рррав-тяв-тяв! Около другого дома уже года три ржавел старый «запорожец» – хозяин, вероятно, умер, а наследникам машина была не нужна, и Катька, проходя мимо него еще до встречи с Игорем, всякий раз думала, что вот и она как тот «запорожец» – хозяин умер, это чувство смерти хозяина тайно сопровождало ее каждое утро после отъезда родителей, а кроме хозяина, она никому особо не нужна; теперь этот «запорожец» взломали и доламывали по частям, продавливая крышу, отрывая руль, внутрь нанесло листвы... Однажды утром Катька чуть не разревелась, увидев на кусте забытую детскую варежку. Страшно было подумать, что начнется зимой, когда все это беззащитное убожество будет стыть на ледяном ветру.

Но среди всего этого был Игорь, к которому она ездила теперь уже ежедневно, не заботясь о том, чтобы выдумывать объяснения для мужа; она все равно возвращалась домой каждый вечер, потому что остаться у Игоря ночевать значило внести новый вклад в общую энтропию. Объяснить она ничего не могла бы – просто знала, и все. По этой же причине нельзя было сейчас уходить от мужа, не выпавшего из прострации, – это было бы уже полное предательство, за которое ее и всю страну должны были окончательно покарать.

Иногда, когда уж вовсе не вмоготу было терпеть (да и в метро заходить было все страшнее), они брали машину до Свиблова – не так уж далеко от «Алексеевской», близ которой размещался «Офис».

– А чего ты не выучишься водить?

Они целовались на заднем сиденье, не стесняясь частного.

– Мне нельзя. У меня слишком силен инстинкт межпланетчика, космолетчика.

– Что, можешь слишком разогнаться?

– Да не в том дело. Это огромная, сложнейшая система – космолет. Обязательно нужно каждый день тренироваться, иначе навык уходит. У меня в компе тренажер.

– Покажешь?

– Никогда в жизни. Секретность.

– А машина что, сбивает навык?

– Ну конечно. Я, как только сяду за руль, буду сразу искать рядом с ним демпфекс, трансмутатор, кузельвуар... Без пумпинга вообще не могу за рулем находиться.

– Пумпинг – это такой... с пумпочкой, да?

– Почему, в последних моделях без пумпочки. Она же нужна была только для экстренного зависания над территорией, если что-то интересное внизу. А в последних моделях само тормозится, когда что-то интересное.

Мимо пронесся серебристый «мерс» – почему-то с вешалкой внутри; на вешалке красовалось минималистское вечернее платье. За рулем сидела азиатка с длинными черными волосами и яростно что-то орала в крошечный мобильник – выражение лица было самое чингисханское. Некоторое время они глядели вслед «мерсу», потом переглянулись.

– Таргет-групп проехала, – сказала Катька. – Мечта Дубова.

– Знаешь, – задумчиво произнес Игорь, – если бы у меня был АКМ... я бы сейчас доказал, что выражение «таргет-групп» имеет, помимо переносного, вполне буквальный смысл.

– Что, и не жалко?

– Да чего там жалеть. Я уверен, она внутри пустая. И свиномарку бы ей разнес к чертям собачьим...

– Как ты сказал? – Катька захихикала. – Свиномарка?

– Ну да. У вас же тут дикая путаница в языке. Есть два нормальных слова: иноматка и свиномарка. Иноматка – это источник энергии для инопланетян, мы подлетаем к ней кормиться, когда слабеем. Кстати, расположена в «Ротонде». Помнишь, там много было наших? Вот толстая тетка за стойкой – это и есть иноматка, я к ней подошел якобы расплачиваться и быстро подзарядился. А свиномарка – это тяжелый бронированный автомобиль с пяточком, в нем ездят свинтусы. Количество свиномарок в городе – критерий его готовности к уничтожению.

– И что, решение принимают у вас?

– Да зачем, господи! Просто, если количество свиномарок близко к критическому, нам надо активизироваться и искать тех, с кем должны работать эвакуаторы.

– Слушай... А весь этот кошмар как-то связан с количеством свиномарок в городе?

– Конечно. Только не напрямую. Там все сложно. Какая-то формула есть, но это прогностики занимаются. Что-то вроде, не помню... квадрат числа свиномарок поделить на три и прибавить 666,

и будет точная дата окончательного конца. Где-то за неделю до нее надо собирать людей, пока паника не началась, – и туда.

– Куда?

– Ко мне домой. Куда мы, собственно, и приехали.

Иногда она психовала и у него дома, где, вообще-то, чувствовала себя в блаженной изоляции от всего окружающего ужаса, да и от себя самой – тут не надо было ничего решать и никого бояться; но бывали дни, когда она не могла сразу успокоиться. В такие дни она шестым, седьмым, двадцать пятым чувством понимала, что все дело было в них, что из-за них трещит и разламывается мир, в котором чеченцы или арабы играют лишь скромную роль исполнителей, а вот от Игоря с Каткой в самом деле что-то зависит. Все более очевидная, гнетущая второсортность окружающего – будь то продукты, журналы, телепрограммы, лица людей в транспорте и их убогие страхи – диктовалась только тем, что первого сорта мир уже не выдерживал. Ему казалось комфортнее, спокойнее так вот и соскользнуть в небытие – медленно, как бы в полузабытьи; тогда как все настоящее – хотя бы один настоящий телеканал – немедленно вспарывало гниющую, по швам ползущую ткань и ускоряло неизбежное. Все словно сговорились жить вполсилы, терпеть из милости, читать дрянь, жрать тухлятину, и стоило среди этого появиться настоящей любви, как мир немедленно пошел вразнос. Если бы они не любили друг друга, все так и сошло бы на тормозах, негромко, вполголоса, в медленном и шуршащем полураспаде, в тихом гниении, в уютной грязице... это зрелище наполняло Катку таким омерзением, что она немедленно просилась за компьютер: не рисовать, просто поиграть, чтобы расслабиться. Он никогда не разрешал – это была одна из самых странных странностей.

– Ты же в самолете не просишь, чтобы пустили порулить.

– А что, у тебя тут... жизнеобеспечение?

– Ну конечно. Он меня поддерживает во всем. Ты одну кнопку не так нажмешь – а у меня анализатор воздуха заперется, другую нажмешь – пищеварение отрубится...

– Он же выключен.

– Это монитор выключен. А сам, видишь, мигает. Это он в спящем режиме, а в бодрствующем тебе его видеть нельзя.

– А почему клавиатура русская?

– А где я нашу возьму?
– Ну... с собой привез бы...
– Я и так до хрена с собой привез. У нас каждый килограмм на счету. Он отлично управляется и с русской.
– Ну дай я хоть в «саперчика» сыграю!
– Ты что, с ума сошла?! У нас «сапер» – одна из главных программ! Ее можно открывать, только если наверняка выиграешь.
– А если нет?
– А если нет – это самоликвидация ракеты! На чем я домой полечу?!
– И где она у тебя сейчас? – Катька заглядывала под диван.
– В надежном месте. Все тебе покажи...
...И если бы потом спросить Катьку – ну, а главным-то что было, еще тогда, в октябре? – она задумалась бы ненадолго, в своей манере, кусая нижнюю губу, а потом тем решительнее, потрянув головой, ответила бы: счастье, счастье. Особенность любви в том, что ее не выразишь, как нельзя вообразить, скажем, горячую ванну. Есть вещи, которые словами не описываются, и они-то наиболее драгоценны. Как описать, что в комнате включили свет? Вошли, включили, все стало уютным и жилым, появилась возможность жить, надежда, гармония... Вот так и тут – включили свет, и началась жизнь, а когда ее не было, о ней и помыслить было нельзя. Все стало подсвечено, на все страхи и обиды нашлось универсальное «а зато», включился дополнительный двигатель – демпфекс, трансмутатор, кузельвуар. Никакое воображение, даже самое сильное, никакая память, даже крепчайшая, не заменит присутствия живого человека, любящего нас. Человек, любящий нас, поил нас чаем, раздевал нас, долго и с умилением смотрел на нас. Любовь и есть, в сущности, восторг и умиление при виде другого человека, но этого-то наиболее человеческого чувства мы почему-то давно не встречали не только на собственных путях, но и вокруг. Как левые и правые у нас на родине всегда умудрялись промахиваться мимо огромного главного, с издевательской точностью попадая в десятистепенное, так и люди вокруг интересовались всем, кроме людей, хотя ничего интересного, кроме них, на самом деле просто нет. Впрочем, может быть, он так человечен потому, что сам – нечеловек, и чтобы любить меня, надо быть не таким, как я? Говорила же одна злая женщина: я не Господь Бог и не кошка, чтобы любить

людей. Но нет, и это неправда – разве можно любить только высшее или низшее существо? Любить можно только равное, а где тут найдешь равных... таких же бедных...

– Учти, – сказал он однажды, – со мной тебе ничего не угрожает.

– Почему? По-моему, наоборот. Я все время боюсь теперь. Вдруг как-нибудь проговорюсь, что-нибудь выплывет, кто-то догадается... Ты меня сделал гораздо уязвимей, если хочешь знать. Я была как цыпленок в яйце, а теперь вылупилась. И теперь мне со всех сторон угрожает черт-те что.

– Пока я с тобой, – серьезно повторил он, – с тобой ничего не будет.

– Ага. Если это шантаж, то я ведь и так не собираюсь уходить.

– Считай, что шантаж. У вас всегда называется шантажом то, что у нас называется гарантиями.

Он ничего не рассказывал о себе. Это и хорошо, она много рассказывала сама, – чего там, она всегда лучше умела говорить, чем слушать. Брянск, бабушка, которую она любила больше матери, брат Мишка, с которым никогда нельзя было разговаривать – он принадлежал к трудной породе постоянно защищающихся людей, уязвленных с самого начала и непоправимо, и в математику свою ушел только потому, что она идеально защищала от всего, позволяла быть высокомерным, отрицать все, чего нельзя просчитать...

– Ты знаешь этот тип?

– Их полно на самом деле. Я их очень часто наблюдаю в ЖЖ.

– Извини, программеров среди них тоже страшное количество. Специфический фольклор, многословные шуточки, насквозь рациональное мышление, чистая механика, талмудизм, каббала... Кстати, они часто евреи. Тебе никогда не приходило в голову, что Бог, которого они вечно обвиняют в нетерпимости, тоталитарности и всем прочем, гораздо терпимее, чем они все? Потому что в их мире просто нет места тому, чего они не понимают. Говоря, что они не верят, они ведь на самом деле отрицают нашего Бога, а своего не дают тронуть никому. Страшно подумать, какой у них Бог. Что-то совершенно безвидное, безводное... Мишка вечно издевался, что я хожу в церковь. Он сам не мог там и минуты вынести. Вечно приставал с вопросами, как Бог терпит.

– Что?

– Ну, все это... У него была к нему масса претензий. Вот к реальности без Бога – никаких претензий, а к Богу – масса. Улавливаешь? У меня почему-то никогда не было вопроса, почему он терпит. Я же понимала, что он не терпит. В конце концов, есть я, мне вложено какое-то нравственное чувство, которое было бы совершенно неоткуда взять, если бы мир только этим, вот только этим, – она показала на окно, – и ограничивался. Сидит человек в окопе и спрашивает: как это маршал Жуков все это терпит?!

– Ты что, видишь его похожим на маршала Жукова?

– Нет, конечно, боже упаси. Я думаю, он такой... капитан Тушин.

– Но тогда над ним должен быть еще кто-то?

– Обязательно. Вот такой, который этим рисуется... математикам... Суперкомпьютер, черный метеорит, башня в пустыне.

– А брат давно уехал?

– Пять лет. Сразу, как закончил. Три года назад родителей забрал. Очень успешный, я не удивлюсь, если он Нобелевку получит. Мишка в принципе приличный человек. Я просто никогда не могла с ним разговаривать. Слушай, а у вас верят во что-нибудь?

– Да у нас почти всё как у вас. В этом смысле точно.

– И как по-вашему Бог? Тоже тридцать три слога?

– Нет. У нас несколько слов на самом деле.

– В смысле? Отец, Сын и Дух Святой?

– Нет, немножко не так.

– А как? Язычество?

– Тоже нет. Ну, это трудно объяснить... В принципе почти как у вас – троеипостасность. Только у вас отец, сын и дух, а у нас отец, мать и дитя.

– Слушай, как интересно.

– Ну да... это точней, кажется... Есть Бог, который делает. Так называемый Кракатук – в честь его наши вулкан у вас назвали.

– И еще орех.

– Ну да, потом орех... Богу действий поклоняются люди действий. Есть Бог, который думает, но не вмешивается. То есть у него как бы отдельно разум и чувства. Иногда берет верх одно, иногда другое. Это женская сущность, она успокаивает, проливает жир на волны, удерживает от резких движений.

– А называется как? Каракатица?

– Не кошунствуй, она называется Аделаида. Как известный мыс и соответствующая звезда.

– И внезапно в трубке завывало: «Аделаида, Аделаида»...

– Да, да. Именно так. Очень хороший стих.

– Он что, ваш?

– Бродский-то? Нет, ваш. Просто ему однажды по ошибке позвонили. Ошиблись номером. «Аделаида, Аделаида»... С тех пор он все думал, что Бог с ним разговаривает, а Бог понял, что его плохо слышно, и стал звонить по другим телефонам.

– А дитя? Дитя какого пола?

– Дитя еще не имеет пола, оно ребенок. Его зовут... сложный звук, такой лепечущий. Его очень трудно повторить в земных условиях, у нас тяготение меньше. Я тут знаешь, в первые дни как мучился? По-вашему это будет примерно... – Он приподнялся в кровати, вытянул шею и напрягся. – Ты-лын-гун, вот так примерно. Даже Ты-гын-гун. Но это и у нас не очень легко произносится. Ему редко молятся поэтому. Да он, собственно, и не делает ничего. Это третья ипостась, она, как ребенок, все понимает, но ничего не может объяснить. Только плачет.

– Почему плачет?

– Ну, людей жалко... вообще всех жалко... Почему ребенок все время плачет?

– Есть хочет.

– Неправда, он иногда поест и все равно плачет. Ты же знаешь.

– Подуша в первый год вообще не плакала. Все умилялись, какой спокойный ребенок.

– Нет, просто очень деликатный. Наверняка она все понимала, но считала неприличным привлекать к себе внимание.

– Игорь, ты лынгун.

– В смысле?

– В смысле врешь все. Ты это сейчас импровизируешь или давно сочинил?

– Дура ты, Катя, и всегда будешь дура. Я тебя, как слетаем туда в отпуск, в храм свожу.

– А что, на всех троих один храм? На Кракатука, Аделаиду и Тыгынгуна?

– Да, они же в одном доме живут. В храме очень красиво, есть кухня, ванная, все как у людей... Большая комната... В центре колыбелька висит, в колыбельку можно записочку положить.

– И что, исполняется?

– Когда как. Он же читать не умеет. Лучше Аделаиду просить.

– Исполняется?

– Чаще нет... но просто становится ясно, что и не надо было.

– Интересно, ты обо мне просил?

– Зачем? Я же знал, что ты будешь. У меня все с детства так складывалось, чтобы тебя встретить. Много было всяких знаков, предвестий...

– Типа?

– Ну, мелкие какие-то предвестия. Боги же тонко работают, не грубо... Например, идешь по улице, размышляешь о будущем – и вдруг вопль: «Ка-а-атка!»

– Почему?

– А это у нас так называется блюдо такое, вроде фруктового коктейля. «Ка-а-атка!» Ну, подойдешь, купишь, а потом подумает: не случайно все это, не случайно...

– Но ведь это и все остальные слышат! Если у вас так называется коктейль!

– Все слышат, да. Но о будущем в этот момент размышляю я один.

«Бля-а-ади! – заорали внизу. – Ка-азлы!»

Катка расхохоталась.

– Ты представляешь, – выговорила она сквозь смех, – ты представляешь, если кто-то в этот момент размышлял о будущем?

– А что, – сказал он, почесывая нос, как обычно делал в задумчивости. – Очень похоже на правду.

...Теперь она не убегала от него вот так, сразу: надо было как следует попрощаться, чтобы не рвать по живому. Они никогда не пили перед близостью, но после нее, перед расставанием, почти всегда. Рядом с его домом была забегаловка без названия, вечно пустое кафе с поразительной дешевизной: меню всегда было одинаковое – рассольник, котлеты, омлет с горошком, две водки на выбор – «Флагман» и «Гжелка», еще какая-то бормотуха и неперенный «напиток», розовый, блеклый и на цвет, и на вкус. Они стояли там по

полчаса, – денег на китайские рестораны уже не хватало, да и ни к чему было их тратить на китайские рестораны.

– Знаешь, почему тут такой тусклый свет? – спросил он однажды.

– Маскировка?

– Нет. Просто все эти люди – кассирша, бомж с бомжикой вон в углу, повариха тоже – выловлены из Свибловских прудов, что на улице Нансена.

– В смысле покойники?

– Ну конечно. Ты заметила, что здесь цены как пять лет назад? Теперь таких нет.

– Что, рассольник тоже... из покойников?

– Да нет, почему. Они нормально, честно работают. Просто человек, которого не устраивает текущая реальность, идет и топится в Свибловском пруду. Это место магическое, вроде Китеж-озера. После этого можно вернуться сюда, но уже в своем настоящем качестве.

– А иначе никак?

– Ну а как иначе? У вас нельзя просто своим делом заниматься... Если хочешь быть самим собой и получать за это деньги – пожалуйста, Свибловский пруд.

– Ты хочешь сказать... что я тоже не своим делом занята?

– А ты хочешь сказать, что рисовать для таргет-групп и есть твое предназначение? Иллюстрировать статьи про *МВА*?

– Наверное...

– Нет, мать. Я о тебе лучшего мнения.

– И что мне теперь, в Свибловский пруд?

– Почему, не обязательно. Можно ходить сюда. После тридцатого посещения произойдут значительные подвижки.

– И «Офис» закроется?

– Может, и так, а может, еще что-нибудь откроется... Хотя, по совести говоря, вряд ли. Не такое сейчас время, чтобы открывалось что-нибудь...

– И что, после смерти попадаешь в забегаловку?

– Если всю жизнь хотел в ней работать, правильно кормить правильных людей – да. А чего тут плохого? Может, кассирша всю жизнь была надзирательницей или вообще воспитательницей в детском саду, а ей хотелось приносить радость людям.

– А эти двое тоже хотели быть бомжами?

– Господи, да везде жизнь, – неожиданно громким и сильным голосом сказала бомжиха, обнимая бомжа.

Больше всего ее поражали теперь эти совпадения реальности с их мыслями и разговорами. После они еще немного погуляли по Свиблову – он показывал ей район; удивительно уютны были желтые и красные окна, она всегда больше всего любила смотреть на вечерние окна и еще на листву, зеленеющую в свете фонаря. И кое-где она еще зеленела – только горящие фонари попадались все реже.

– А это дом кружащегося мальчика, – сказал Игорь возле длинной серой семиэтажки, тянувшейся от метро до поворота на улицу Нансена.

– Какого мальчика?

– Такой особенный мальчик, я тебе его сейчас покажу. Но это ужасная тайна.

– Где он кружится?

– На втором этаже. Сейчас как раз... – Он взглянул на часы. – Обычно с семи до десяти. Так что все увидишь.

Они дошли до середины дома.

– Отойдем, а то не видно... Лучше всего с другой стороны...

Они перешли Снежную. На втором этаже, прямо над козырьком третьего подъезда, светилось окно, слева и справа темнели два тусклых квадрата.

– Он, по-моему, один живет. Там должна быть двухкомнатная квартира, но ни в другой комнате, ни в кухне света нет. Сейчас, погоди.

Пока смутно виден был только желтый шкаф, дешевый, из ДСП. Мальчик появился неожиданно. Он плавно протанцевал из глубины комнаты к окну, покружился с высоко поднятыми над головой руками и отвальсировал обратно, к невидимой противоположной стене.

– Что он делает? – испуганно спросила Катька.

– Не бойся, пожалуйста. Он хороший, безвредный мальчик, ыскытун. Просто танцует.

– Что, учится?

– Не знаю. Я уже довольно давно тут жить, иногда прогуливаться от страшное одиночество. Смотреть окна, изучать реальность. Пять месяцев уже.

– А до того где был?

– Неважно. – Мальчик опять появился в окне, и Катька заметила, что волосы у него на голове темные, кудрявые и какие-то высокие, как – читала она – бывает у запущенных душевнобольных, не дающих прикоснуться к своей больной голове. Они стояли вертикально, будто поднялись от внезапного испуга. Лица мальчика не было видно, и вообще Катька не понимала, с чего Игорь решил, что это мальчик. Может, взрослый мужчина. Но худоба, стройность, грация движений заставляла предположить, что он действительно юноша, почти подросток. Вот он опять удалился и опять подтанцевал к окну, и показалось даже...

– Слушай, он не кивнул нам сейчас?

– Нет, он всегда в этом месте отвешивает полупоклон.

– Господи, что же это с ним?! Давай, может быть, поднимемся к нему! Я боюсь. Никогда такого не видела.

– А ты не бойся. Развлекается человек, у каждого свои причуды.

– Может, он кому-то тайные знаки подает?

– Да. Шахидам. Помешались все на тайных знаках...

Они еще несколько раз ходили смотреть на мальчика, и Катька один раз чуть не решилась подняться к нему, но в последний момент оробела.

– Мне кажется, это все-таки болезнь, – неуверенно сказала она.

– Ну, если и болезнь, то не худшая. У нас с тобой, может быть, тоже болезнь.

– Конечно, – кивнула она. – Со стороны, наверное, без слез не взглянешь: гуляет какой-то дылда с козьявкой, иногда они слипаются ртами...

...Двадцать седьмого случился тот разговор.

Начиналось все невинно – они ехали к Игорю из «Офиса», отпустили в четыре, у менеджмента случилась корпоративная вечеринка по случаю дня рождения бухгалтерши, и творческие сотрудники, которых на праздники менеджмента никогда не звали, слава тебе господи, получили вольную двумя часами раньше. Добирались на метро. Игорь листал свежий номер.

– Слушай! Какая прелесть!

– Что ты там нашел?

– Радикальное средство очистки организма. В течение шести часов – полное промывание желудка с одновременным его массажем.

Представляешь, как они там сидят все... на креслах... все крутые, потому что стоимость процедуры – две наших зарплаты... Обсуждают, вероятно, перспективы российской экономики. Что-нибудь между собой трут. Ты замечала, кстати, что у них речь без существительных? Проплатить, отгрузить, потерять? Это у вас для конспирации так делается – или просто все происходит в пустоте?

– В пустоте, конечно. – Катька была усталая и грустная, и говорить ей не хотелось. Она даже злилась на Игоря, пытавшегося ее худо-бедно развеселить: шутить и век шутить – как вас на это станет! В конце концов, у него не было ни Подуши, ни Сереженьки, он никого на себе не тащил – чистый инопланетянин, человек ниоткуда...

– Вот. Они сидят, и тут тревога... Представляешь? В здании бомба. А они все – на этих клистирах, а? Как они с них пососкакивают и побегут!

Катька против воли улыбнулась.

– Ну ладно, – сказал он с неожиданной злостью. – Надо серьезно поговорить. Сама видишь, шутки кончились.

– Шутки давно кончились, – кивнула Катька, испугавшись на миг, что он затеет сейчас мучительный разговор об уходе к нему – а бросать Сережу в таком состоянии нельзя ни в коем случае – или предложит ехать к мужу вместе, говорить, разбираться... этого ей сейчас хотелось меньше всего. Она вообще ничего не могла теперь выдержать, из-за любой ерунды ревела и по-настоящему хотела одного – улечься с ним в родную свибловскую кровать, уткнуться, лежать молча, ничего не видеть и ничего не делать; может быть, даже спать. А вечером ехать назад. Слава богу, завтра суббота, и можно, стало быть, выспаться... навести порядок дома, погулять и почитать с Подушей, а потом, может быть, часа на два... просто на Воробьевых или где еще... под предлогом Лиды, неважно, придумаем.

– Наверху, а то шумно, – сказал он.

– Может, не надо? У нас так все было складно без выяснений...

– Я ничего не собираюсь с тобой выяснять, Кать.

Он ее обнял, и так они достояли до Свиблова. Против обыкновения он не тащил ее к себе, а повел в ту самую забегаловку, где и вечером пятницы не было почти никого. Взяли все тот же рассольник, котлеты с макаронами, две порции «Гжелки» по сто и розовый неизвестный напиток.

Выпили без тоста, некоторое время молча ели.

– За нас, не чокаясь, – сказала Катька.

– Не глупи.

Он доел рассольник и вытер рот салфеткой.

– Значит, Кать, – сказал он буднично и тускло, совсем не так, как начинал обычно свои истории. – Что делается, сама понимаешь. Надо сваливать.

– Игорь, у меня каждое утро с этого начинается. Если только он просыпается до моего ухода. Просыпается и вместо «доброго утра» говорит: «Надо валить». Тупо глядя в пространство, куда, видимо, предлагается валить.

– Да? И куда конкретно?

– Он не знает. Вообще, у него есть какая-то еврейская родня, почти мифическая, по-моему... Свекровь намекала, что его папа был еврей. Они же не регистрировались, документов нет, но он уверен, что можно найти. И тогда его возьмут хоть в Израиле, хоть в Германии, а меня и Польку с ним.

– Нет. Я тебе предлагаю не туда.

– А куда? В Полинезию?

– Не-а.

– Ну, не томи.

– Ты девочка догадливая, сама поймешь.

– Не пойму, Игорь. У меня от ранних пробуждений ум набекрень, ты же видишь.

– Там двадцать слогов, Кать. Утомишься говорить.

– То есть к тебе домой? – проговорила она в некотором отупении.

– Да, да.

– Ну так мы туда и идем...

– Катя, ты прикидываешься, что ли?

Конечно, ее сбила с толку эта непривычная серьезность.

– Извини, милый. Я думала, мы действительно не шутим.

– Мы действительно не шутим, – сказал он и посмотрел на нее так, как не смотрел еще ни разу: так, по ее представлениям, должен инструктор по парашютному спорту подталкивать взглядом новичка.

Для издевательства это было слишком.

– Так, – сказала она.

– Именно так.

– Игорь. Честное слово, я очень устала.

– А уж я-то как устал, – выговорил он тем же тяжелым голосом, каким, бывало, пародировал комиссара-поэта. – Чрезмерное тяготение. Грязь. Террор. Невежество. Менеджеры среднего звена. Рос среди приличных людей. Аристократ. Дурык в постель. И что у меня здесь? Ничего, кроме дурык в постель, и этой дурык я не приношу ничего, кроме отчаяния. Летим, Кать. Я совершенно серьезно.

– Это такое предложение руки и сердца?

– Я могу взять пять человек, – сказал он другим голосом, деловито. – Кроме нас с тобой. Больше пяти никак. Она не взлетит.

– Кто? Тарелка?

– Ну, назови тарелка. Хотя они мало похожи. Просто галлюцинации чаще всего бывают у домохозяек, вот им и мерещатся тарелки. Хорошо еще, что не веники. Тарелка на самом деле неудобна по форме, она плоская. Летательный снаряд должен быть узкий и высокий. Да увидишь.

– Возьми еще водочки, – попросила Катька.

– Зачем?

– Ну, может, поверю... Ты так рассказываешь...

– Я ничего не рассказываю, – сказал он. – Ты вообще ни хрена не понимаешь. Если бы ты знала то, что я знаю...

– И что ты такого знаешь?

Он отошел за водкой и принес еще два раза по сто.

– Что я знаю, это мое дело. Я и так тебе больше, чем надо, говорю.

– Слушай! – От водки Катька повеселела, ей стало тепло. – Ты меня так уговариваешь... прямо Сохнут. Я читала. И люди другие, и небо другое...

– Да, типа. Только в нашем смысле «восхождение» несколько буквальной, ты не находишь?

– Ага, а потом вы нами питаетесь. Там, наверху. Точно, я все придумала! Выжидаем кризисный момент, создаем на Земле панику, а потом говорим: пожалуйста, уезжайте. Эвакуация. Черт, разве плохой сюжет? Мы там, наверное, дефицитное лакомство. Вроде икры. За нас дают два, три зверька, за толстый человек – четыре зверька! Понимаешь, почему во время войн многие пропадают без вести? Это ведь ваши работают, так? Любимый! Дай слово, что ты съешь меня

лично! А интересно, у вас это живьем? Там, у вас, ты, наверное, выглядишь совсем иначе?

– Да, – кивнул он серьезно, – немного иначе.

– Такой типа комар, да? Вонзаешь... и все высасываешь!

– Вонзаю, – согласился он.

– Но я хотя бы съезжу для начала на краткую экскурсию по вашей райской местности?

– Пять человек, – повторил он, не желая поддерживать игру. – И ни человеком больше.

– Вот всегда так, – сказала она грустно. – Когда ты придумываешь, я всегда подхватываю. А когда я придумываю, мы все равно продолжаем играть в твою дурацкую игру. Доминирование любой ценой. Пожалуй, я не дам тебе меня съест. Пусть меня лучше съест кто-нибудь умный, хорошенечкий...

– И у нас только неделя, – продолжал Игорь.

– Господи, ну почему неделя!

– Потому! – крикнул он, и кассирша обернулась в испуге, оторвавшись от газеты чайнвордов «Тещенька». – Ты же всегда все понимала, почему ты сейчас не понимаешь!

– Нет, я все понимаю. Жестокое время – жестокие игры. Просто мне не хотелось бы играть в «Спасение пяти», понимаешь? У меня уже и так две кандидатуры, которые вряд ли тебя устроят, и это совершенно не игрушки.

– Дочь не в счет. Три года... сколько она весит? Килограммов пятнадцать?

– Двенадцать. Муж тоже сравнительно легкий.

– А мужа мы обязательно берем?

– Мужа, – зло сказала она, досадуя на упрямство и бестактность любовника, – мы берем обязательно, и это не обсуждается. Я не понимаю, почему мы должны продолжать этот дурацкий разговор, я лучше поеду домой.

– Катя! – сказал он таким измученным голосом, что у нее сразу прошла вся злость. – Катя, хочешь, я на колени встану? Ну пойми ты наконец, что началась жизнь!

Это было так забавно – до сих пор была не жизнь, а тут возникла летающая тарелка и реальность подошла вплотную, – что Катя улыбнулась и поцеловала его в небритый подбородок.

– Игорь, ты сделал все как надо. Я на какой-то момент действительно отвлеклась. За что я тебя люблю, знаешь? Нет, мы никогда не говорили об этом всерьез, но сейчас все можно. Игорь, я тебя люблю! Я так люблю тебя! Главным образом за то... это ведь все вранье, что любят просто так. Любят всегда за что-то. Я сейчас пьяная, пользуюсь случаем, земная женщина рассказывает тебе всю правду о своем внутреннем устройстве. Любят тех, с кем нравятся себе. Любят тех, с кем можно быть хорошей, и умной, и повелительной, и жертвенной, и главное – что всё вместе. У нас такой быть направлений в искусстве – пуантилизм. Точечка тут, точечка там. Я быть молодая, глупая, очень увлекаться.

– У нас тоже это быть, – сказал он. – Тыды-кырлы.

– Да, да, правильно! Туда-сюда! И вот тебя я люблю за то, что с тобой можно столько всего пережить в единицу времени! Усталость, злость, страсть, восторг, испуг, раздражение, нежность, да, друг мой, такую нежность – я, кажется, сейчас всю эту забегаловку приняла бы в себя и поместила куда-то в вечное тепло! Я художник, я человек искусства! Обрати внимание, я никогда тебя не рисую. Я столько раз пыталась это делать, но ты же как ртуть.

– Нас учат, – сказал Игорь.

– Чему?

– А вот этому. Незаметность в толпе, смена масок. Я разведчик-эвакуатор, хочешь ты этого или нет.

– Да, да, конечно! Ты разведал меня и эвакуировал, и я два месяца прожила в твоём дивном новом мире со зверскими деньгами! Ты столько всего придумываешь, я так тебе благодарна. Не сердись, милый, что какие-то твои игры я поддерживать не в состоянии, потому что у меня есть муж и дочь, и это очень взрослая жизнь. Как все художники, я была и буду ребенком и готова с тобой играть в любые игрушки относительно меня, но не пытайся сочинять мне сюжеты про Сереженьку и Подушеньку, съемка окончена, всем спасибо! – Она снова чмокнула его, на этот раз в глаз. – Мой миленький глазик, такой красненький.

– Я тебя тоже очень люблю, – сказал Игорь. – Я так тебя люблю, что даже тебе верю. Хотя у наших есть правило никогда не верить вашим.

– Это еще почему?

– Просто ваши рано или поздно обязательно предадут наших, и я слишком хорошо знаю, как это бывает.

– Может, ваши сами сбегают? Когда все становится серьезно?

– Это точно, – кивнул он. – Когда у вас все становится серьезно, нам тут делать больше нечего. Вам, впрочем, тоже.

– Пошли к тебе. Пожалуйста, пошли к тебе. Еще немножко, и я перейду на следующий уровень. Мне станет очень-очень грустно, я буду реветь. Потом мне станет очень-очень зло. А сейчас я очень-очень хороша для тыбыдым, я гожусь для этого в высшей степени.

– Катя, – он взял ее за плечи и встряхнул. – Катя, детка. Сегодня не будет никакого тыбыдым. У меня теперь очень, очень много работы. Ты же видишь, я в «Офисе» почти не появляюсь. Только тебя забираю.

– Почему не будет тыбыдым? – захныкала Катька. – Ты не смеешь у меня отбирать единственную радость... дурык...

Она слегка поколотила его маленькими твердыми кулачками.

– Ты что, только в процессе тыбыдым теперь можешь нормально разговаривать? – спросил он.

– Не знаю. Пойдем к тебе, а? На нас уже смотрят. Ну пойдем, пожалуйста, я так люблю, когда у тебя... Не хочешь тыбыдым – не надо тыбыдым, просто посидим...

В этот раз все было удивительно грустно. Катька гладила его затылок, тощую спину с выступающими лопатками, костлявые плечи, почти безволосую грудь, целовала в глаза и брови и вообще чувствовала себя так, будто прощалась навеки. Все было очень нежно, медленно и бессловесно.

– Правда, будто навек, – сказала она наконец. – Ужасная вещь расставаться навек, никому не пожелаю. Ведь ты не улетишь без меня?

– Нет, – сказал он глухо, – я не улечу без тебя.

– Нет, лучше лети. Я эгоистка. Я не имею права тебя задерживать, ты здесь погибнешь. Наши пертурбации не для вашей конституции. Скажи, а никак нельзя там пересидеть страшное – и вернуться?

– Никто еще не возвращался, – сказал он.

– Это я знаю. А почему?

– Не знаю. Я вот курсирую туда-сюда, и мне тоже трудно, но я еще кое-как могу. Потому что я там вырос, и мне слетать в ваш ужасный мир – не такое уж испытание. А ваш человек вырос здесь, и когда он попадает туда, для него мысль о возвращении уже совершенно

невыносима. Ну как... с чем бы сравнить? Надзиратель, допустим, может жить дома и каждый день ходить в тюрьму и обратно. А заключенный, если освободится, никогда уже не вернется в тюрьму, по крайней мере добровольно.

– Но если он там у вас чего-нибудь начудит, его же вернут насильственно?

– Было несколько раз. Они потом называли себя духовидцы. Рассказывали ужасные глупости про какие-то дома в тысячу локтей, про золотые комнаты... Жуткие шарлатаны, эвакуированные по ошибке. У нас каждый такой случай в учебниках разбирается. А тут на этих духовидцев чуть не молились, каждому слову внимали... Как можно верить людям, которых сослали обратно на Землю?

За окном бухнуло.

– Выхлоп, – успокаивающе сказал он.

– Нет, – медленно проговорила Катька, – не выхлоп.

– Если я говорю, значит, знаю! – крикнул он неожиданно. – Почему ты не хочешь понять! Черт с тобой, я пойду против всех инструкций. Завтра посмотри телевизор, тогда, может, и до тебя дойдет.

– Телевизор? – Катька села на кровати. – Ты же знаешь, они почти ничего не говорят...

– На этот раз скажут. И пусть потом со мной делают, что хотят, – я вообще не могу в таких условиях работать, если никто не верит ничему... Растлили всех к чертовой бабушке, ни одно слово ничего не весит! Пока носом не ткнешь...

Катька похолодела. До нее наконец дошло.

– Игорь! – сказала она и закашлялась: в горле сразу пересохло. – Если ты что-то знаешь и ничего не делаешь...

– Да делаю я, делаю!

– Что же ты мне сразу не сказал... Мы тут с тобой... а там действительно...

– Ну а что я могу! – Он рывком поднялся и сел рядом. – Мы же не знаем, где... когда... Это не моя специальность. Внедряемся, пытаемся что-то... а разве тут сладишь? Ты думаешь, это единая организация? Это даже не сетка, а так – тыды-кырлы. Здесь рвануло, там рвануло... Я даже не представляю, где это завтра будет. У меня просто подсчет... примерный... Но то, что завтра-послезавтра все войдет в последнюю

стадию, – это и без расчетов, в принципе, понятно, просто я не все тебе говорю. Побудь, пожалуйста, дома. И своих никуда не выпускай.

– Ты серьезно?

– Абсолютно серьезно. Я бы и так тебе сказал. А потом быстро отбирай пять человек и готовься. На отборы, сборы, прощальные приготовления – неделя. После чего старт. Или сдохнем все.

– Ты хочешь сказать, что без меня не полетишь?

– Именно это я и хочу сказать.

– Так нечестно.

– А у меня нет вариантов. Иначе тебя не сковырнешь.

– погоди. А нет у тебя предположений... ну, хотя бы относительно... Может, что-то можно остановить?

– Остановить нельзя ничего, – хмуро сказал он. – Иначе давно бы само остановилось. Шарик уже покатился, хочешь не хочешь. Не сердись, Катя. Я правда не все могу. Мы вообще избегаем вмешиваться, ты знаешь. Всякое зло – оно копируется очень легко, легче, чем думаешь. Шаг – и ты вовлечен. А нам это нельзя, кудук.

– А увозить можно?

– А увозить можно, кыдык. Я же не всех беру. Всех бессмысленно.

– Но подумай, как я могу на это пойти? Чем я лучше других?!

– Ничем не лучше. Я тебя люблю, и все. У нас в таких случаях доверяют эвакуатору.

Дороги домой она не запомнила. Болело все тело, и настроение было хуже некуда – то ли она заболела, то ли устала, то ли будущее давило на нее всей тяжестью. Она знала за собой эту способность физически предчувствовать худшее. Предположим, что все игра, хотя и совершенно бесчеловечная. Но на секунду, на полсекунды допустим, что нет! И тогда – как жить, если знаешь, что завтра... Но живем же мы, зная, что завтра кто-то не проснется, кто-то разобьется в машине, как поется у Цоя, кто-то сойдет с ума... Черт бы его драл с его выдумками, предупредила меня мать, что в конце концов обязательно доигрываешься.

IV

– Ну? – только и сказал он.

Катька подняла на него зареванные глаза.

– Если ты придешь сам, – сказала она, – ничего не будет. Честно. Они же сказали – если кто-то придет сам, отпустим. На Библии клялись.

Игорь скривился, как от зубной боли.

– Да, – процедил он. – Надо было мне, дураку, думать...

– Ничего! Честное слово, еще можно... ты знаешь, все еще можно...

– Ты что, совсем? Вот же блин, как же я не учел, что ты именно так и подумаешь... Все эта подлая земная логика, когда же я этому выучусь, в конце концов!

Катька на секунду понадеялась, что все не так страшно, но тут же отбросила надежду – теперь ведь понятно. Эта версия объясняла все, с самого начала.

– И ты действительно думаешь, что я один из них?

Она быстро, жалобно закивала.

– Работаю под прикрытием «Офиса»?

– Черт тебя знает, под каким ты прикрытием. Ты мне поэтому и в компьютер не разрешал лазить.

– Идиотка! – простонал Игорь. – Господи, ну если уж ты такая идиотка – чего тогда про остальных?! Что за раса подлая, Каиново семя, как вы еще живы, я вообще не понимаю! Ты спала со мной два месяца, рассказывала мне все про себя и семью, говорила, что ближе меня у тебя нет человека! А потом, когда я тебя предупредил, чтобы ты сидела дома, ты за полчаса поверила, что я шахид!

– Не шахид, – затрясла она головой.

– Ну еще хуже! Вообще профессор Мориарти, Черная Фатима, организатор, все нити заговора, мозговой центр! Ты видишь себя со стороны хоть на столько?! Ты же... блин... ты же говорила, что дышать без меня не можешь!

– Да, да, – Катька ревела, кивала и тряслась.

– И как это все у тебя смонтировалось?

– Игорь, родненький... ну как же ты не понимаешь... ну ведь это не злодеи, хотя они и убийцы и все такое. Они просто мстят... и почему я не могла бы одного из них полюбить?

– Не злодеи? Ты это говоришь после всего... после этого?!

– Ну, я в том смысле, что они другие... не такие злодеи... не ради бабок же, в конце концов! Они просто не люди, это совсем другое дело. Ну вот и ты... я ведь тоже не совсем человек, я урод, я никогда не могла полюбить просто человека! Из-за этого всегда и мучаю всех...

Она заревела в голос. На них оглядывались. Впрочем, плакали в тот день многие, – Москва уже привыкала к истерикам на улицах, и к битью головой об асфальт, и к расцарапыванию лиц, но этого было как раз немного. Все-таки не Владикавказ, не Беслан. К чему нельзя было привыкнуть – так это к понурой, молчаливой толпе на улицах, к людям, шедшим на работу и в магазин как на заклатие. В них была такая обреченность, которая хуже любой истерики.

– Значит, я по вечерам трахаюсь с тобой, а по ночам взрываю других русских?

– Ага.

– И кто бы я был после этого?

– Чеченец.

– Ка-тя! Да неужели по человеческим меркам не следовало бы заживо зажарить такого борца, который вечером спит с русской женщиной, а ночью взрывает ее братьев?!

– Следовало бы.

Она соглашалась, не понимая, что говорит. Ее здорово колотило.

– Черт, и не пойдешь никуда... Ка-тя! Очнись!

– Не могу. Игорь, две тысячи человек... две тысячи... ты понимаешь? Никогда столько не было, нигде... Хотя в «близнецах», кажется, было... Игорь, ну как так можно, а? Игорь, если ты знал и не сделал ничего, то как так можно, а?!

– Говорят тебе, я не знал! Знаешь же ты, что завтра будет утро!

– Н-не знаю, – повторяла она. – Не знаю. Теперь ничего не знаю.

Он схватил ее за руку и потащил за собой.

– Куда мы?

– В сквер, не торчать же тут у людей на виду.

– Я не пойду никуда, мне надо домой.

– Сейчас, сейчас, пойдешь домой... Нам же надо поговорить, ты сама хотела.

Они сели на лавку в сквере возле ее дома – это она вызвала Игоря сюда, не опасаясь больше, что знакомые их увидят вместе; метро закрыто, центр оцеплен, доехать до Свиблова она не могла. Можно, конечно, было поймать машину, переплатить, по окружной добраться до него – но у нее ни на что не было сил. Она загадала: если он все-таки приедет, значит, есть хоть крошечный шанс, что он не из тех. И он приехал, и теперь они сидели у пруда, вокруг которого почти не было гуляющих – матери с детьми предпочитали сидеть дома. Чрезвычайное положение еще не было объявлено, но его ждали. Никто еще толком не понял, что произошло. Раньше после каждого теракта Катьке кто-нибудь звонил, советовались, обсуждали, что делать, – теперь, когда на месте Комсомольской площади зияла яма глубиной в три метра, телефон замолчал наглухо, телепрограммы прекратились по случаю траура, президентское обращение задерживалось.

– Катька, – помолчав минут десять, чтобы она успокоилась, сказал Игорь. – Теперь-то ты понимаешь?

Она кивнула.

– Ты поедешь со мной?

– На Альфу Козерога?

– Неважно. Долго рассказывать. Ты сама-то видишь, что здесь больше оставаться нельзя?

– Вижу, – тупо сказала Катька.

– Высморкайся. Ты говоришь глухим басом, как Баба-яга из ступы.

Она послушно высморкалась. У нее не осталось ни сил, ни воли. Скажи он ей сейчас: «Садись в ступу, и полетели», – села и полетела бы, не зная, зачем и куда.

– Ты мне все еще не веришь?

– Почему, верю.

– Ну так и поехали!

– Куда?

– Это неважно, я тебе говорю! Надо уезжать отсюда!

– На чем?

Он стукнул себя кулаком по колену и отвернулся. Катька смотрела на пруд, по которому плавали желтые каштановые лапы о пяти

толстых пальцах, липовые сердечки, кленовые ладошки. Все взорвалось, и органы неведомых существ раскиданы повсюду. Надо было дожить до того, чтобы в каштановой и кленовой листве мерещились оторванные ручки. Листья осыпались лавиной, да и все сыпалось. Как это я раньше не замечала, что осень – взрыв, что повсюду валяется мертвое, только что бывшее живым? Как страшно листьям, но ведь нам страшней. У них есть какая-то надежда – деревья остаются, все продолжится; а где наши деревья? Ветер может сколько угодно таскать листву по асфальту, по чахнущему газону, – живей она от этого не сделается.

– Хорошо, – сказал он наконец. – Это уже против всех инструкций и вообще против совести. Но меня так и так отзывают, терять нечего. Я тебе покажу тарелку.

Некоторое время до Катьки не доходило.

– Ты же сказал, тарелок не бывает.

– Неважно. Полное название ты все равно не поймешь. Считай, что тарелка.

– Где она?

– У меня на даче. В Тарасовке, по Курской дороге.

– В смысле?

– В обычном смысле, в сарае.

– Подожди. Откуда у тебя дача?

– Почему у меня не может быть дачи?

– Но ты же заслан. Ты что здесь, с пятидесятих годов?

– Почему с пятидесятих?

– Ну... когда давали дачи...

– Господи. Купили мне дачу, чтобы было где хранить тарелку. Трудно, что ли? Где я, по-твоему, должен ее держать в городе?

– Она... она очень большая, да?

– Не очень. Но там стартовая площадка, там вообще все для взлета. Как я буду взлетать из Свиблова? С крыши, как Карлсон? Она сама по себе компактная, я мог бы ее хоть под кроватью держать. Но нужно пространство, чтобы... ну, старт и все...

Катька смотрела на него внимательно и испуганно. Он не шутил.

– И когда мы едем?

– Поедем завтра.

– А что я дома скажу?

– Не знаю. Что хочешь. Учти, у тебя остается шесть дней. И взять я могу только пятерых – плюс Польша.

– Итого мне надо набрать еще троих.

– Да.

– Нет. Я не могу решать, кому спастись, а кому сдохнуть.

– Тогда все сдохнем.

– Может, еще и не все.

– Ну, не знаю. Если хочешь, давай поэкспериментируем. Кто-то, конечно, уцелеет. Кто-то даже будет мародерствовать. Жилплощадью торговать. Освободится много жилплощади, и она капитально подешевеет. Самое жуткое, что уезжать все равно придется. Сама запросишься. Человеку гораздо трудней умереть, чем он себе представляет. Только тогда уже все будет очень сложно. И добираться, и стартовать.

– Послушай! А ты не мог бы нас эвакуировать... ну, скажем, в другую страну?

– Куда? В Африку?

– Почему в Африку. В Штаты, например.

– А-а. Наш муж нас все-таки уговорил.

– Ну правда, почему не туда?

– Потому что туда у меня нет возможности, извини. У меня нормальный межпланетный корабль, а не «Дельта эйрлайнс». Хочешь туда лететь – лети, оформляйся, но не советую. Там тоже уже началось, а за неделю так продвинется, что как бы они сами сюда не побежали. Остается, конечно, Австралия – но это, сама понимаешь, не вариант.

– Ну да. Альфа Козерога, конечно, надежнее.

– Гораздо надежнее, – серьезно сказал Игорь. – Ты вообще это... не трогай Альфу Козерога. Ты там не была, в конце концов. Мне тоже не ахти как приятно выслушивать все эти гнусности про родину.

– Ты любишь родину? – спросила Катька.

– Да, – ответил Игорь, – я очень люблю родину. У меня приличная родина, и на ней живут приличные люди. Тебе понравится. Там не может не понравиться.

– Да, да, – кивнула Катька. – Живые деньги.

– При чем тут живые деньги! – взорвался он. – У нас вообще можно... можно жить без этого всего! У вас же каждый живет, будто делает нелюбимую работу – и главное, стопроцентно бессмысленную!

Все друг друга еле терпят... У нас же – ты понимаешь? – действительно все по-человечески! Все сделано для радости. Ты сама все поймешь, правда. Я как только наш вокзал представлю...

– Какой вокзал? – дернулась Катька.

– Центральный вокзал! Там встречают приезжих. Ты сразу попадешь в такое... такое поле любви... Ты почувствуешь, что тебя ждут, что тебе рады! У вас ведь как – куда ни приедешь, в какой город ни выйдешь с вокзала, сразу первое чувство, что ты не нужен, что тебя не должно быть! Автобусы какие-то заляпанные грязью, таксисты дерут втридорога, горожане ползут, не глядя друг на друга... И так везде, в любой Америке! Никто никому даром не нужен! Если бы ты знала, как я тут вообще... задыхался до тебя. Ты же совсем наша, ты умеешь радоваться другому человеку, умеешь просто делать другому хорошо! Тебе самой это в радость, это же страшно естественная вещь. А у нас так все, тебе там будет в сто раз проще адаптироваться, чем в Штатах. Чем хочешь клянусь. Господи, я так его и вижу...

– Кого?

– Вокзал. – Игорь мечтательно уставился в холодные небеса. – Огромный хрустальный купол, и такое, знаешь, преломление – всё в радужных пятнах, весь пол.

– И оркестр, да? Дрожит вокзал от пенья аонид?

– Откуда ты знаешь?

– Это не я, это стих такой.

– Пенье, да. Оно наплывает отовсюду, и ты идешь как в звуковом шаре. И все запахи, и все цвета – все лучшее, что вообще может дать планета. Она тебе как бы сразу открывается всеми сторонами, и пейзажи по стенам движущиеся. Такой просторный, просторный мир! Все вдвое больше – улицы, здания. Мне так дико тесно у вас все время... Только в Тарасовке могу дышать, но я редко там бываю. Мне нельзя, чтобы соседи часто видели. Только на профилактику езжу, смазать там, проверить... ну, и по выходным иногда... когда здесь совсем достанет.

– Это сколько от Москвы?

– Километров семьдесят.

– А что, люди тоже больше наших? Там, на Альфе?

– Не то чтобы больше. Другие. Я тебе здесь не могу рассказать. Пока будем лететь, подготовлю. В тарелке есть проектор, там все

покажу. Целая программа для прилетающих. Просто чтобы в дороге посмотреть, подготовиться.

– А здесь нигде нельзя? В Москве?

– Здесь я энергии столько не наберу, – виновато сказал он. – Там изображение объемное, я это могу запустить только от двигателя. Подожди, через неделю полетим – все увидишь.

– А если она компактная – как мы полетим, вшестером-то? И с тобой?

– Ну... она сейчас не в рабочем состоянии. Она как бы такой эмбрион. Надо расконсервировать, только по зиме уже трудно. Надо пока снега нет. При минусовой температуре она очень долго будет греться. Народу набегит – из пушки не разгонишь. А у меня, к слову сказать, и пушка так себе.

Эти милые детали долженствовали, надо полагать, окончательно убедить ее в реальности происходящего, но до нее до сих пор не доходило – что за эвакуация, какая тарелка? Все пришло из фантастики, из сна, из их собственных прелестных игр, теперь невыразимо далеких, – но зачем ему продолжать игру теперь, когда серой запахло по-настоящему, она понять не могла.

Он это почувствовал – он всегда все чувствовал.

– Кать. Ты действительно полагаешь, что если мы из космоса, то должны во все тут вмешиваться? Ты решила, что сверхъестественная сила прилетит и всех спасет? Не будет этого, Кать. Вы со своей этикой вечного вмешательства в чужие дела уже так вляпались – вас теперь никакая сила не выволочет. Ты поживешь у нас и поймешь, у нас все рано или поздно понимают. Нельзя вмешаться в другой вид, нельзя вас сделать нами. Можно только забрать тех, кого стоит спасти.

– И почему ты решил, что стоит именно меня?

– А разные есть подходы. – Он улыбнулся и взял ее за руки. – У нас иногда думали: брать надо гениев. Или там детей. Или инвалидов. «Места для пассажиров с детьми и инвалидов». Некоторые до сих пор так делают, мучаются с выбором ужасно. Но я эвакуатор столичной школы, там особый подход. Нас учили просто: чтобы понять землян, надо жить нормальной земной жизнью. И с кем тебя сведет эта жизнь – того и забирай. Нечего выдумывать. Нету никаких критериев. Брать надо тех, с кем самому хочется жить. А гениев набирать... большинство ваших гениев, честно тебе скажу, по нашим критериям

ходят в класс пятый, шестой. С прогрессом мы как-нибудь сами разберемся. Приличных людей надо спасать, и все.

– А как себя будут чувствовать эти приличные люди, которые отсюда сбегут? У каждого ведь целая паутина, ты знаешь? Отцы, матери, сестры, друзья, дети, одноклассники детей... Это счастье еще, что у меня родители в Германии... кстати, там тоже что-то будет или как?

– Ну, не так, как здесь, – сказал он и отвел глаза.

– Так, может, мне к ним?

– Может, к ним! – взорвался он. – Давай, не держу! А я мужа заберу, зачем он тебе там! Мы с Сереженькой на Альфу полетим, а ты с дочерью – к родителям. Будешь мне е-мейлы слать, я адрес оставляю. Игор собака Альфа косм. Косм – это космическая связь, у нас своя Сеть.

– Что, честно?

– Нет, нечестно. Еще бы не хватало в земной Интернет лазить. Кать, ты что... ты правда со мной не полетишь?

– Прости, но представь такую ситуацию: у меня здесь родители, брат, любимая подруга, которая во всех отношениях лучше меня, и двое детей. Мне, допустим, тридцать. Да, и еще собака, которую я не могу тут бросить. А ты можешь взять триста двадцать кило, как лифт. И что мне делать?

– Выбирать, – хмуро сказал Игорь. – Или оставаться.

– Да? А кто мне дал право решать, кому жить, кому умереть?

– Я дал тебе право, – зло сказал он.

– А тебе кто его делегировал?

– Наблюдательный совет, – он достал из бумажника пластиковую карточку со странной голограммой: высокий узкий цилиндр с отводной трубкой наискось летел среди золотистых облаков. Больше всего это было похоже на водительские права. Никаких букв на карточке не было – была фотография Игоря с сильно вытянутым лицом и слегка выкаченными глазами. Вид на фото у него был идиотский.

– Ты там... такой? – после паузы спросила Катька.

– Я и здесь скоро буду такой, с тобой пообщавшись.

– Нет, а что... ведь ты же уже кого-то эвакуировал, верно?

– Было дело.

– Кого?

– Катя, не время ревновать совершенно.

– Да я не ревную, при чем тут вообще! Я хочу понять: они как, легко на это шли?

– Нелегко.

– Но шли?

– А там, знаешь, выхода не было. В Абхазии, например, в девяносто пятом году. Я все старался на юга, там немножко похоже... на наш климат. В Баку в восемьдесят девятом тоже было особо не до того... Самое смешное, конечно, когда вещи с собой берут. Жуткое количество. Там больше всего мучились даже не из-за людей, – мне все какие-то попадались довольно одинокие, не больше десяти ближайших родственников, – он кисло усмехнулся. – Очень мучились из-за нажитого. Вашим людям так трудно все достается! Я одну семью забирал, они говорят: а можно диван? А это у меня первая поездка была. Я их так обложил, до сих пор стыдно...

– Это сколько же тебе было? Четырнадцать? – быстро посчитала она в уме.

– Не совсем, мать, не совсем. У нас время немножко другое, я из-за всех этих перелетов подконсервировался. Ваш земной год примерно вдвое меньше нашего, мы там пока полный оборот сделаем – с ума сойдешь... Короче, это мне моих тридцать. А ваших шестьдесят.

– Ты такой старый? – не поверила она.

– Да молодой я, господи. Я твой ровесник примерно. На сколько выгляжу, столько мне и есть. Я просто живу немножко дольше. Понимаешь? Опыт другой.

– Ну и как я буду жить... там? Сколько мне по-тамошнему?

– Двенадцать примерно, – он хихикнул. – Причем и по-здешнему, как мне иногда кажется, ты в этих пределах.

– Это почему? Потому что не бегу, задрал штаны, в эту твою тарелку?

– Да нет. Недоверие такое, знаешь... Детское. Ребенок почему ничему не верит? Он массу вопросов задает: а как это устроено? А как то? А почему у вас здесь не сходится? А борода у вас приклеенная или как? А взрослый человек уже понимает, что жизнь довольно иррациональна. И чем иррациональней, тем достоверней. Ему не надо спрашивать: а какая у тебя тарелка? А на чем она летает? А какое мое моральное право? Он просто понимает: вот у меня ситуация, мне надо

решать, о причинах и моральных правах подумаем после. И делает взрослый выбор.

– Интересно, – сказала Катька. Она почему-то успокоилась – наверное, потому, что рядом был действительно взрослый человек, готовый за нее решать. Это еще вопрос, поступим ли мы так, как нам советуют; но мы не безразличны, нами занимаются – уже неплохо. Ей-то всегда казалось, что Игорь безнадежный инфантил, за то и любила, потому, если честно, и не торопилась сбегать к нему; вот оно как все оборачивается. – А если у тебя там семья?

– У эвакуаторов, Катя, семьи не бывает. Мы, если женимся, станем профнепригодны. Начинаем жизнью дорожить, все такое. Я теперь буду, видимо, простым наблюдателем. Турдын-коол. Хрен меня, женатого, выпустят с Альфы.

– Сколько лететь-то? – буднично спросила Катька.

– Ваши сутки где-то.

Помолчали.

– Могу я рассказать мужу?

– Не знаю, извини. Я эвакуатор, а не турдын-коол. Турдын-коол делает прогнозы, дает рекомендации, у него четыре высших образования и зарплата в десять зверьков. А я эвакуатор, низшая ступень в иерархии, ниже только президент, потому что от него вообще никакой пользы.

– А зачем он вам тогда?

– Ну как... положено. Не с нас началось, не нами и кончится.

– Игорь, – сказала Катька, заглядывая ему в глаза. – Ну а вот... если бы ты? Если бы тебя так? Ты поехал бы или нет? Если у тебя десять близких, а взять можно пять?

– Я тебе, Катя, скажу жестокую вещь, – ответил он спокойно. – У хорошего человека не бывает много близких. Он понимает, что ваш мир вещь ненадежная, и старается не заводить лишней родни, которая была бы слишком от него зависима. Зависимые нужны людям дурным, слабым, боящимся остаться с собой наедине. Приличные люди одиноки, им нужны, как правило, три-четыре человека. Надо уметь обходиться, не паразитировать, не нагружать собой. Тоже этика.

– Послушай! Давай отправим их всех, а сами останемся?! – Эта мысль только что пришла Катьке в голову. – Давай, ей-богу! Это же шикарный вариант! Представляешь, все любимые в безопасности. Все

души милых на высоких звездах. Как хорошо, что нечего терять! Зато как нам будет отлично вдвоем! – Она даже вскочила. – Представляешь, все накроется. Нас двое, у нас последняя ночь. Ну чудесно же! Или ты не хочешь умирать вместе со мной?

– А тарелку муж поведет? – спросил Игорь.

Катя сникла.

– А это... а на автопилоте как-нибудь нельзя?

– Как-нибудь нельзя. Катя, я тебе все условия обрисовал уже несколько раз. Если остаемся, то остаемся все. Если летим, то летим всемером: я, ты плюс пятеро по твоему выбору. Дочка не считается, она как бы часть тебя. Дальше думай, ты человек взрослый. У вас очень много врут. Очень много сволочей, и они придумали всякие тормоза. Сами они, заметь, никогда их не придерживаются. Я вообще от вашей морали скоро всякие ориентиры потеряю. Все ваши моралисты живут по одному принципу: нам можно все, а вам ничего. Если человек говорит про мораль – все, он мне ясен. Особенно такие, которые за нашу и вашу свободу. Свобода у них на экспорт, это я сразу понял. Тьфу, мразь! Гурулум, кундур! Тускупук...

– А ты, значит, гырылым, кындыр? Тыскыпык?

Он расхохотался.

– Повтори!

– Не смогу. А что?

– Ты знаешь, что ты сейчас сказала? Свежая пицца, здоровый стул, чистое дыхание!

Катя, обессилев, прижалась к нему.

– Нет, конечно, я тебя не оставлю... Нет, нет, моя свежая пицца...

– Мужу скажешь?

– Нет, какое... Ты понимаешь, я все-таки должна увидеть. Мне кажется, если я увижу, что-то решится само собой!

– Не думай, не решится.

– Почему? Почему ты так думаешь?!

– Потому что знаю. Я же ее видел, Катя. Я в ней каждый винт знаю. Она может, конечно, произвести впечатление. Но решать должна ты, серьезно.

– Хорошо. Когда мы едем?

– Электричка в десять тридцать, раньше они все мимо Тарасовки идут. Давай, что ли, на Курском вокзале – метро-то вряд ли откроют.

– Ну ладно. – Она встала со скамейки, оправила коричневое пальтишко. – Пойду.

– К себе?

– А куда? Естественно, к себе.

– И что будешь делать?

– Буду думать.

– Ну, думай. Оденься там попроще, по-дачному.

Он легко поднялся, и некоторое время они стояли друг напротив друга.

– Игорь... – Катька опять заглянула ему в глаза, снизу вверх. – Ну, а то, что тут потом будет... это как примерно произойдет?

– Не знаю. Думаю, что будет все сразу. Погромы, эпидемии, и хорошо, если без саранчи. Долго копилось.

– Да. Ну, чего – значит, завтра на Курском?

– Давай. Третий путь, подходи в десять пятнадцать, около киоска «Соки – воды».

Очувившись у себя, она тут же освободилась от его обаяния: это происходило сразу, наверное, и впрямь есть магнетизм любви. В физическом отсутствии любимого – залог нашей свободы. На этот раз он действительно заигрался, чего уж, – но при этом Катька ни секунды не сомневалась, что завтра поедет на Курский вокзал, на его дачу, смотреть несуществующую тарелку или что у него там спрятано на участке. Вообще, если у него была задача вывести ее из оцепенения и отвлечь от ужасов, он справился блестяще. Страх у нее теперь остался только один: выбрать не тех.

Допустим, мы никого не выбираем. Мы просто прикидываем, такая проверка, да и что мне еще делать сейчас, в рассеянном свете, в три часа пополудни? Раньше это было наше любимое время – перелом от дня к вечеру, еще целых два часа будет светло. Дочь в детсаду, Сереженька ушел в магазин, оставив записку, в которой каждая буква, мнится, глядит на нее с укоризной. Вот, он-то не паникует, он-то пошел в магазин, пока она тут бегаёт на сомнительные встречи (не нашла предлога умней, чем встреча с мифическим работодателем, предлагающим приличные условия). Сереженьку нельзя не взять, это не обсуждается. Свекровь? Он не полетит без свекрови. Свекровь не полетит без соседки, соседка не может жить без собаки колли, собака

колли умрет без своего лучшего друга эрделя, эрдель не полетит без хозяйки, хозяйка – без мужа, муж – без любовницы... Катьке представился космический корабль, за которым в безвоздушном пространстве тянулась жалкая вереница до самой Земли: дедка за репку, бабка за дедку, Жучка за бабку... и где-то еще в самом низу всех тормозил один, буквально не способный жить без кремлевской башни: ну куда же, куда же я без нее полечу! И цеплялся, болезный, за звезду, и все они живой цепочкой тормозили фотонный двигатель, удерживая эвакуатора на привязи, и зрелище это было так трогательно, что Катька рассмеялась, одна, сама с собой. А вокруг мигают потрясенные светила. Что мы за люди, в самом деле, как надежно умудряемся повязать себя и друг друга тысячами живых паутинных связей: нельзя никуда уйти, уехать, ни с кем порвать – все липнет, держит, и если эвакуатор – о, был бы только на самом деле какой-нибудь эвакуатор! – потянет нас когда-нибудь за луковку, выстроится сушая пирамида, геометрическая прогрессия, каждый не может еще без двадцати... и при такой повязанности почему же у нас жизнь-то такая непереносимая, господи, ведь так все друг без друга не могут! Честное слово, было бы уже как-то желательно, чтобы нас любили меньше. Инопланетянин отказывается спасаться без меня, я – без мужа, муж – без матери... зачем нам столько? Каким адом должна быть жизнь, если от любого столкновения с ней надо заслоняться таким количеством других! Родня: как хорошо, что у меня мало родни. Закатки, огурки-помидорки. Ненавижу! Ненавидела еще в общаге, и особенно – когда приезжали в ДАС эти родственнички, останавливались, подсеялись, привозили с собой всякое, бегали осматривать Москву... ну, не ужас ли? Ведь говорить все равно было не о чем. Сидели, ласкали друг друга глазами. А как иначе? – нельзя: родня. Самое архаичное, досознательное: свои. Но ведь давно чужие, как мы с Сереженькой, как все со всеми, – для чего врать? Кого бы я взяла? Стоп, хватит. Я запрещаю себе об этом думать. Никогда больше ни слова. Наверное, есть какой-то порок в наших отношениях, если мы не можем не играть в идиотские игры; наверное, мы сами виноваты, что не можем по-взрослому. А как по-взрослому? Съехаться, забрать дочь, по утрам в сад, потом на работу... то есть семейная жизнь, вошедшая в колею. Нормально? Как люди? К чертовой матери таких людей...

Щелкнул замок, и тоже как-то укоризненно – человек с тяжелой сумкой возвращается домой, надо немедленно открыть дверь...

Человек, однако, никаких тяжестей не нес.

– Там знаешь какие очереди? И хлеб, между прочим, подвезут только к вечеру. Я только соли взял.

– Ну и ладно, – сказала она, – съедим пуд соли.

Электричка задерживалась на час, и не было никаких гарантий, что она появится в половине двенадцатого. В половине двенадцатого обещали только дополнительное объявление.

– Ну, – сказал Игорь, приплясывая на перроне. Первого ноября с утра резко похолодало, задул ветер, низко летели темные облака, похожие на дым. – Что будем делать?

– Не знаю. Тебе видней.

– Мое рассуждение такое, что надо брать машину.

– Слушай. Может, вообще ничего не надо? Считай, что я поверила тебе на слово.

– Нет. Во-первых, ты не поверила, а во-вторых, я должен проверить, как она там. Может, сперли, может, дачи уже громят...

– С какой стати?

– А с какой стати у вас тут всё? Ради чеченской независимости? В общем, я за то, чтобы ловить.

– И сколько он возьмет, за семьдесят километров?

– Ну, допустим, штуку.

– Думаю, больше. Не мы одни такие умные.

– Хорошо, две – максимум. Если никого не найдем за две, не поедем. Пойдем жрать куда-нибудь, а завтра я с кем-нибудь договорюсь.

– А ты никакой транспорт не можешь устроить? Через ваш центр?

– А что они могут? Ракету прислать?

– Ну, ты же не один здесь эвакуатор, наверное...

– А ты думаешь, я всех знаю? Ну, дадут они мне чьи-то координаты, пойдут на риск, расконспирируемся к чертям... Ведь если ваши кого-то из нас возьмут, они будут допытываться про других, а наши пыток не выдерживают. У нас давно не пытаются. Он сразу всех и сдаст. Надо, чтобы никто не знал. Но даже если они мне и дадут координаты – чем он мне поможет? Деньгами? Деньги я достану... Ладно, пошли, будем искать.

Ехать до Тарасовки не хотел никто. Водилы были наглые, сплошь толстые и краснорожие. «По Курской? Эээ! Сейчас знаешь что на

окружной делается? Внешняя сторона вообще вся стоит, «Авторадио» только что сказало».

Игорь предлагал штуку – смеялись; повышал до полутора – захлопывали дверцы; один снисходительно сказал, что разговаривать будет начиная от трех – «А назад мне порожняком! Кого я там в Тарасовке подцеплю? Вас? Не, я ждать не буду. Туда – назад».

– А чего так дорого? – спросила Катька.

– Ты че, не в курсе? Из Москвы все бегут, дороги начисто забиты.

– Почему бегут-то? Что, под Москвой безопаснее?

– А то! Сейчас где угодно безопаснее. Обращение Шамиля читала? Предупреждает, что в ближайшее время всю Москву повзрывают, у меня дочка в Интернете видела. Они правильно считают: столицу взорвать – и все.

– Все эти обращения, – авторитетно сказал Игорь, – пишутся прибалтийскими графоманами.

– Не знаю, кем пишутся, а пока получается по-ихнему.

– Ну, не хочешь – как хочешь, – надменно сказал Игорь и повел Катьку к следующему водиле. С этим повезло не больше – о Тарасовке никто и слышать не хотел.

– Этак мы вообще не улетим.

– Вот видишь, как плохо не уметь водить машину, – Катька чмокнула его в холодную щеку.

– А толку? Застряли бы сейчас, только не в чужой машине, а в своей. Из чужой хоть вылезти можно, пешком пойти... Ладно. Короче, сейчас в забегаловку, до полдвенадцатого жрать, потом на перрон, а если нет поезда – значит, правда не судьба. Буду один добираться.

В забегаловке были только котлеты – почему-то очень кислые, с сильным сухарным привкусом, с минимумом мяса и максимумом хлеба. В половине двенадцатого, против всех ожиданий, объявили, что поезд будет подан через несколько минут, и к полудню он действительно подошел – толпа буквально внесла их в тамбур, разлучила, снова притиснула друг к другу уже в вагоне.

– И куда все едут? – спросила Катька.

– Не знаю. Может, на дачи, может, в Тулу к родне... Может, просто на перекладных будут добираться на юг – на дальние-то поезда всё распродано, я смотрел.

– А как назад поедем?

– Не знаю. Едем, и ладно.

Катька никогда прежде не ездила по этой дороге. Она вообще редко пользовалась электричками. Своей дачи у них с Сереженькой не было, хотя в лучшие времена он периодически заводил разговор о том, что Подуше нужен воздух, живая ягода... Он вечно выискивал себе какие-то новые занятия, надеясь, что хоть в них реализуется вполне: в самом деле, должно же быть на свете занятие, для которого он рожден? Может быть, дача. Построить домик, разбить грядки. В чужом пространстве Сереженька реализовываться не умел, ему необходимо было выгородить для себя личное, где не будет конкуренции. Но ведь на даче соседи. Наверняка начались бы разговоры о том, что вот это-то, сволочи, наворовали, у них-то хоромы... Вечно ставить себе недостижимый образец и с ним воевать, мучительно завидуя. Как она раньше терпела все это? Дача ведь тоже превратилась бы в бесконечные унижения, как же иначе, с Сереженькой по-другому быть не могло, – опять мы самые лучшие, и опять нам хуже всех...

Электричка ползла медленно, то и дело останавливаясь, спотыкаясь, скрипя, и движение это было похоже на заикающееся бормотание, бред больного, которому в жару все мерещатся столбы, станции, полустанки... Что такое, собственно, полустанок? Катька с детства представляла при этом слове половину станка, хотя станок видела не очень четко – что-то железное, квадратное. Но слово «полустанок» по самому своему звуку прижилось в описаниях русского пейзажа – в нем есть стык, перестук, спотычка, и неискоренимая половинчатость, и четырехсложность с анапестным ударением, то есть идеальное соответствие железной дороге. Интересно, Львовская – это станция или полустанок? Еще я в нем слышу усталость. Удивительно быстро устаешь на холоде. Наверное, потому, что организм все силы тратит на обогрев себя. Хорошо, сейчас я все-таки еду в электричке, пусть и битком набитой, и у меня нет вещей, кроме рюкзака с термосом, и со мной мужчина, на которого можно полагаться. А ведь скоро зима, все уже серьезно, и если завтра-послезавтра придется бежать из Москвы, с ребенком, с вещами... Почему я так отчетливо вижу себя бредущей по колючей стерне, без дороги, с отваливающимися от тяжести руками? Или, того хуже, вязнущей в черной грязи, в толпе беженцев, причитающих на разные голоса, – и один тащит на веревке облезлую грязную козу, и она тоже

блеет, блеет? Почему я с самого начала жила с тайной мыслью о том, что рано или поздно отсюда придется бежать? Виновато ли проклятое военное кино, воспитывавшее нас на сценах бегства и распада, или фильмы-катастрофы, до которых я в брянском детстве была великая охотница, все подряд пересмотрела в видеосалоне в самом впечатлительном возрасте от восьми до двенадцати? Но ведь другие запоминали другое – каких-нибудь «Муравьев в штанах». Видеосалон в Брянске открылся в восемьдесят седьмом, когда Катьке только что исполнилось восемь, – это было грязное тесное помещение, бывший станционный буфет. До сих пор она помнила цены – пятьдесят копеек утром, рубль вечером; показывали «Греческую смоковницу», «Рокки» и что-то с Брюсом Ли. Но она всего этого не любила, это было скучно, – ей нравились только фильмы, в первой половине которых нарастали приметы катастрофы, а во второй прорывался подпочвенный ужас, вылупливался динозавр, трескалась кора. Ужас всегда разочаровывал – копившиеся приметы были страшней; в «Легенде о динозавре» ясно было видно, что динозавр резиновый. В «Парке юрского периода» было не страшно, а, скорее, смешно. Она и потом, в Москве, не избавилась от этого пристрастия – бегала смотреть «Звонок», «Знаки», но особенно любила «Пик Данте», идиотскую пугалку, в которой было что-то бесконечно родное. Наверное, она любила «Пик» за то, что Америка там была провинциальной, беззащитной, похожей на Брянск, и оказалась совершенно не готова к извержению. Пирс Броснан вел себя как типичный русский, для которого катастрофа – нормальный фон жизни, и когда она наконец прорывается, словно магма сквозь трещину, сразу становится можно в полную силу жить, любить и разговаривать. Почему мне всегда таким невыносимым лицемерием казался обычный порядок вещей? Ведь я знаю, что в основе всего – пепел и магма; что именно сейчас самое лучшее время – когда все еще копится и ледяное дыхание чувствуется, но не началось еще страшное лавинное осыпание, только листья сыплются, сыплются...

Как всегда, инопланетянин все чувствовал.

– В войну, наверное, были такие поезда. Назывался «пятьсот веселый». Когда придет, где остановится – никто не знает.

– А ваши тут работали в войну?

– Да наверное. Только советские к нам не очень ехали. Не верил никто.

– Боялись?

– НКВД боялись. Вдруг это проверка такая, ты захочешь эмигрировать – а тебя в цугундер. За бегство. А то бы многие сбежали, конечно. У нас там знаешь сколько народу добавилось за войну? Тысяч десять, не меньше. Ваших, немцев, итальянцев... Евреи тоже. Всякие были.

– И как же там евреи... с немцами...

– А нормально, знаешь. Они же после войны тоже нормально встречались. Вообще, стоит местных забрать отсюда – и в хорошем месте сразу начинается обычная жизнь. Тут какие-то условия не те, поэтому все друг друга и ненавидят постоянно. Наши сколько лет изучают, все не изучат. То ли бури магнитные, то ли полюса неправильные... Очень поляризовано все. Да ты увидишь. Человек к нам попадает – и сразу все другое, вообще. Даже не понимает, как он мог на Земле такие глупости вытворять...

Электричка скрипела, ползла, спотыкалась. В пути я занемог, и все бежит, кружит мой сон по выжженным полям. Самое русское стихотворение, даром что японское. Откуда там были выжженные поля? Нет, это наше. Черный прах сожженной травы, белые иглы той же травы, сожженной заморозком. В тамбуре кого-то били, любая ссора теперь сразу превращалась в драку, но заканчивалась драка – и вновь наваливалось сонное оцепенение, да и дрались одурело, бессмысленно: два-три беспричинных удара – и будто не было ничего. Бокон продирался через вагон несчастный продавец китайских ручек с мигалкой. Ручек никто не брал, а он все переползал из вагона в вагон. Освободился уголок скамьи, Игорь с силой протолкнул туда Катьку.

– Да не надо, я стою...

– Сиди! – прикрикнул он. – Неизвестно еще сколько...

И точно, на Столбовой встали капитально. Говорили, что впереди перекрыт путь, то ли упало дерево, то ли сидят протестующие непонятно против чего. Машинист открыл двери, задуло холодом, мужчины потянулись курить, отвратительный запах «Примы» пополз в вагон. Стало попросторней. Динамик просипел, что стоять будут минут сорок, не меньше. Простояли уже час, ничто не менялось; Катька глянула на часы – было три.

– Ну их к черту, – сказал Игорь. – Отсюда уже доберемся, на трассе поймает.

– Да забита же трасса, они говорили...

– Мало ли что они говорили. Пошли.

На пристанционной площади в Столбовой стояла небольшая толпа, рядом неизвестно чего ждали пять желтых автобусов, водители курили рядом. Время от времени от толпы кто-то отделялся, подходил к водителям, безнадежно задавал вопрос, получал предсказуемый ответ и возвращался обратно в неопределенное ожидание. Игорь с Каткой тоже подошли спросить.

– Поедет кто-нибудь?

Водители важно помолчали.

– Ждем, – сказал мужичок в кепочке.

– Чего ждем?

– Распоряжения.

– А что, сейчас нельзя?

– Сейчас нельзя, – подтвердил мордатый водитель, сидевший на ступеньках, в открытых дверях своего автобуса. Это был один из вечно обиженных, задиристых, тяжелых людей, которых так много в любой подмосковной электричке или очереди. На вопросы он отвечал злорадно, передразнивая, словно желая сказать: «А, вы думали, будет хорошо? Всем – плохо, а вам – хорошо? Нет, голубчики, будете как все!» Катка с детства знала эту особенность русской толпы – там всегда злорадствовали при виде новичков, которым еще только предстояло хлебать полной ложкой все, чем их до сих пор мазали по губам. Каждого, кто присоединялся к очереди, радостно информировали, что перед ним еще пять человек, которые отошли. Собственно, и рождение ребенка полагалось бы здесь встречать так же – вот, милый, теперь и тебе достанется! И не сказать, чтобы общая тяжесть убывала, поделившись на большее число страдальцев, – она непонятным образом прибывала с появлением каждого нового пассажира, покупателя, гражданина; просто остальным нравилось, когда новички повторяли их скорбный путь.

Катка с Игорем отошли в сторону.

– Ну и чего они ждут?

– А ничего, – сказал Игорь. – Ехать не хотят, и все. Чрезвычайное же положение. Какой водитель захочет ехать, когда можно не ехать? К

вечеру, глядишь, смилуется один, и то вряд ли.

– Но ведь война же. Почему нет этой... как ее... всенародной солидарности?

– А где ты ее видела, всенародную солидарность?

– Все говорят.

– Катя, ты же умная девочка, честное слово! Задним числом всегда говорят... А как евреев немцам сдавали – это еврейские выдумки всё, да? А как друг на друга стучали? Ты знаешь, какое объявление на парижском гестапо висело?

– Не знаю, – сказала Катя. – Меня там не было.

– «Доносы русских друг на друга не принимаются», – было там написано. Ну чего, будем ждать?

– Не знаю.

– А я знаю, – зло сказал Игорь. – Пошли к трассе, будем ловить.

По дороге к трассе им попался мент, пинками гнавший куда-то пьяного мужика абсолютно русского вида; то ли он намеревался загнать его в участок и там засадить в обезьянник по всей форме, то ли просто запинать в кусты и там обобрать без свидетелей или уж отмузуть до потери пульса; в рамках борьбы с терроризмом сходило все. Другой мент долго проверял у них документы на унылом перекрестке; Катю он заставил вытряхнуть сумочку, подробно осмотрел жалкую косметику, вывернул бумажник Игоря и вернул его с крайней неохотой – Катя больше всего боялась, что он найдет карточку с голограммой, с таким документом нельзя было теперь передвигаться по Подмосковию, но карточки не было ни в карманах, ни в бумажнике. Видимо, эвакуатор предусмотрительно оставил дома опасный документ. Прикопаться было не к чему, но мент еще долго, придирчиво выяснял, что они делают в Столбовой. Чувствовалось, что он любил свой маленький уютный город и с удовольствием уничтожил бы всякого, кто приехал нарушать его гомеостазис. Особенно приятно было бы разобраться с двумя москвичами, которые жировали в своей Москве, пока было можно, а теперь вот бегут спасаться в ограбленное ими Подмосковье, в котором милиции платят три тысячи рублей в месяц. Катя отлично знала, что задерживать их не за что, но уже с первых секунд досмотра чувствовала себя непоправимо виноватой и знала, что в случае чего оправдаться нечем; что за «случай чего», она понятия не имела. Одна манера обращаться к собеседнику в первом

лице, множественном числе – «Почему нарушаем?» – отдавала детсадом: «Что это мы делаем? Почему это мы не какаем?!» Для самой Катьки, сданной в детсад в четырехлетнем возрасте, когда мать устроилась на работу, – какать публично, на горшке, по расписанию, перед прогулкой, было с самого начала мучительно, она так и не научилась этому.

– А мы не нарушаем, – дружелюбно сказал Игорь.

– Как не нарушаем? – спросил мент и всмотрелся в Игоря снизу вверх. – Что значит не нарушаем?

Он чего-то хотел – денег или другого их унижения, расплаты за слушание, но, поскольку Катька не понимала, что они сделали, неясно было, какие компенсации предлагать.

– А что мы нарушаем? – спросил Игорь.

– А что это мы вопросы задаем? – спросил мент.

– Не знаю, – сказал Игорь. – Не знаю, чего это вы вопросы задаете.

– А вот мы сейчас в отделение пойдем и там по-другому поговорим, – весело сказал мент. Чувствовалось, что ему необыкновенно приятно даже упоминать об этой перспективе.

– А почему это мы туда пойдем?

– А потому, что комендантское положение! – объявил он. – Комендантское положение – что такое? Знаем, что такое?

– Знаем, – миролюбиво кивнул Игорь.

– И что там сказано? Там сказано, пункт девятый, подпункт «а». Что мы имеем право. Задерживать до трех суток для выяснения.

Трое суток, подумала Катька. Сережа с Подушей с ума сойдут. Им же ничего не сообщат. Я ничего не успею. Господи, если он действительно инопланетянин, неужели у них нет чего-нибудь на этот случай? Бластера или как это называется. Почему он взглядом не испепелит эту круглорожую тварь?!

– Ну, – сказал Игорь. – Так ведь это если нарушаем.

– А мы не нарушаем? – спросил мент. – Прописка московская, а что мы здесь делаем?

– На дачу едем.

– И где у нас дача?

– В Тарасовке.

– А что это мы при комендантском положении на дачу едем?

– Так ведь там ничего не сказано про дачу!

Откуда он знает, подумала Катька, он что, читал это чертово комендантское положение, о котором я вообще впервые слышу?

– Там сказано, – радостно сообщил мент. – Там все сказано. Там сказано в пункте семь, подпункт «б»: не нарушать границ населенного пункта проживания, при отъезде получать открепительный талон для немедленной регистрации в новом пункте проживания, при отъезде более чем на трое суток получать справку с места работы.

– У нас меньше трех суток, – примирительно сказал Игорь.

– А это подпункт «в», при отъезде менее трех суток иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и открепительное разрешение из районного отделения милиции...

– Там же подпункт «г», – мягко сказал Игорь. – При отсутствии разрешения штраф на месте в размере ста рублей.

Он быстро достал сторублевку.

Мент удовлетворенно кивнул.

– Когда возвращаемся в Москву?

– Вы – не знаю, – не сдержалась Катька, – а мы сегодня вечером.

Мент откозырял и отошел.

– Он что, всю эту комедию затеял ради ста рублей? – спросила Катька, когда они отошли. Ее все еще колотило.

– Почему, – Игорь пожал плечами. – Он свою работу делает.

– Какую, в задницу, работу?! Дачников ловить – его работа?

– Да нет. Передал мне все, что нужно.

– По-моему, это ты ему передал.

– Ну, думай как знаешь.

– Стоп. – Катька остановилась и дернула его за руку. – Ты хочешь сказать, что в этом... был какой-то смысл?

– Какой-то был. Кать, пошли, а?

– Нет, ты мне объясни, пожалуйста. Что он тебе передал?

– Девять «а», семь «б», семь «в», – терпеливо сказал Игорь.

– Эти подпункты идиотские? Из комендантского положения?

– Кать, нет никакого комендантского положения.

– Он что... – Катька задохнулась. – Ваш связной?

– Господи, ну какой связной? Он обычный мент, за сто рублей выполнил простое поручение.

– А кто ему поручил?

- Наши поручили, которые меня ведут.
- Он что, не мог по-человечески сказать?
- А что он мог сказать? Ему поручили передать мне такие-то и такие-то пункты, он передал, спасибо. Что мы, должны каждому менту объяснять их смысл? Звонят из центра, говорят: вот комендантское положение. Задержите такого-то и ознакомьте с пунктами. Получив отзыв, оставьте его в покое.
- И какой отзыв?
- Сто рублей. Ты думала, это взятка? За такую взятку он жопу не поднимет.
- Пстой, пстой, – Катька никак не могла проассоциировать мента с инопланетными наблюдателями. – То есть он вообще не знает, кто ты такой?
- Понятия не имеет. Сидит наш человек в областном УВД и ему звонит, и все.
- Позвонить тебе на мобильный они не могут?
- Сейчас? Когда все разговоры пишутся? Ты вообще, что ли?!
- Ну, шифром...
- Кать, ты заметила, что я сегодня без мобильного?
- Нет. А почему?
- На хрена мне светить Тарасовку? По мобильнику же они пеленгуют в момент. Это база, про которую ни один человек не должен знать. Я бог знает на какое нарушение иду, что тебя туда беру. Спаси Кракатук, чтобы пронесло.
- А по Сети они не могли с тобой связаться?
- Где у меня сейчас Сеть, скажи, пожалуйста?
- А откуда они знают, что ты в Столбовой?
- Господи! Тебе вообще все рассказать, да? Тебе русским вашим языком сказано: меня ведут! Чип во мне, понимаешь?
- Где?
- На бороде! Откуда я знаю где. Может, я захочу выковырять и сбежать.
- А ты не хочешь?
- Нет, не хочу. Что я здесь делать буду без чипа?
- Да. Логично. И что значат эти пункты?
- Ничего не значат. Идем.
- Нет, ты ответь, пожалуйста.

– Они значат! – взорвался Игорь. – Что если мы через пять дней не стартуем, то всем капец! А пункт «в» – это вообще куругач, полный, немедленный, третьей степени.

– Куругач?

– Куругач. Уругус куругач, если угодно.

– И могу я узнать, что это значит?

– Узнаешь, если дальше будешь так же тормозить. Обязательно. Всё, пошли.

Катька безвольно поплелась за ним. За сквером с маленьким серебряным Лениным уже видна была симферопольская трасса. Почему-то теперь было не так страшно. Ниоткуда взявшийся мент с комендантским положением был страшней, чем куругач, хотя бы даже и уругус. Все-таки их ведут, следят. Ничему не верю, ни единому слову. Но все равно так лучше.

Трасса, против ожиданий, была пустынна – никаких многокилометровых пробок, ехали все больше грузовики, и массовым бегством из Москвы не пахло. Скоро на обочине тормознул грязный уазик – за рулем сидел необыкновенно хилый и бледный солдат.

– Подбрось до Тарасовки, командир, – попросил Игорь.

– Садитесь. Я как раз туда.

Они влезли в холодную дребезжащую машину, похожую на консервную банку: солдатская аскеза, никакой обивки на дверях, сплошное зеленое железо.

– Вэ чэ тридцать пять шестьсот сорок, – утвердительно сказал Игорь.

– Так точно, – кивнул солдат.

– Я просто сам из Тарасовки. Вы у меня там рядом стоите.

– А. Понятно.

– И какие перспективы?

– Стоим пока, – пожал плечами солдат.

– Не перебрасывают?

– Откуда я знаю. Я с прокуратуры. Дознавателя отвозил.

– Чего он у вас дознавался-то? – Игорь достал пачку сигарет, предложил солдату, тот благодарно кивнул и вытянул «Мальборо»; Катька удивилась – она никогда не видела Игоря курящим. Видимо, держал для подобных случаев.

– Да шестеро наших в Комитет матерей ушло. Пермские. Тупые, блин. Говорят, били их. Кто их трогал, тормозов? Ротного снимать хотели. А он нормальный мужик, один из всех. Теперь дознавателя вожу.

– Ну, хоть в Москву едешь.

– А радости? Раньше хоть в кино сходить, а теперь кино по восемьсот. И со вчера закрыли. Чтоб не было массового скопления людей. Во дают, да?

– Не говори, – сказал Игорь. – И эти ваши дела, с ротным... Тут война вообще, а они дознавателя гоняют.

– А им делать не х..., – словоохотливо пояснил солдат. – Бардак, мля... Война... Какая война, сами всё рвут.

– То есть как?

– А что, чечены, что ли? Всех чеченов столько нет... В августе на сороковом километре склад рванул – что, чечены?

– А кто?

– Хер его знает кто. Сам и рванул. Откуда там чечены? Там что, гексоген был? Там же лакокраска была, обычная. Курнул кто-то, спичку бросил. И рванул. Самого там, конечно, даже ключев не нашли... Война. Тоже война, мля. С кем воевать-то? Война – когда хоть врага видно. А тут лупят в белый свет. Ну, закрыли они кино. Что, чечены в Москву ездили кино смотреть? Увалы отменили. А чего делать? Держат в части, а делать нечего. С утра приборка, днем приборка, вечером чистка оружия. Информация. Химзащита. Ну, я все понимаю, но химзащита-то к чему?

– А вдруг газы?

– Газы, мля, – улыбнулся солдат и потрянул головой.

Защитник, мля. Кого они такие защитят? И что, собственно, я здесь делаю? Катька посмотрела на часы: было уже без четверти четыре, до Тарасовки они доберутся дай бог к пяти, а обратно... хорошо, если к ночи будут в городе. И зачем я еду, и куда? Неужели верю, что он инопланетянин? Хорошо, а во что мне еще верить? И потом, здесь я все-таки с ним. С ним мне не так страшно, бог весть почему.

В Тарасовке они оказались только к пяти, потому что по дороге узик сломался, солдат долго его чинил, матерясь; Игорь чего-то помогал, но внятного совета дать не мог, ибо в земной технике не

разбирался. Быстро темнело. Рядом остановился грузовик, водила добровольно помог солдату, чего-то подкрутил, подвинтил, обозвал салабоном и уехал, солдат всю оставшуюся дорогу оправдывался, что с самого начала хотел сделать именно так, но у него не было нужного ключа, с ключами вообще напряженка; Игорь сочувственно кивал. На развилке под шлагбаум уходила узкая бетонка, солдат высадил их и уехал по ней, а им пришлось тащиться еще полчаса во вполне сталкеровском пейзаже, вдоль брошенной узкоколейки, потом через облетевший перелесок – «Между прочим, я здесь нашел первый в своей жизни гриб. Подосиновик. У нас грибов нет».

– Как же вы без грибов?

– Зачем нам гриб? Паразитарная структура... У нас есть цветы ровно того же вкуса...

– А что, поближе тебе не могли дачу купить?

– Тут от станции ближе гораздо. Мы бы уже дома были. Поближе... зачем поближе? Чего светиться лишний раз? Чем дальше от Москвы, тем, знаешь, меньше головной боли. А тут участки сравнительно дешевые, две воинские части рядом, танкисты и ракетчики. Полигон, грохот. Хоть и далеко, а слышно. В общем, не самая элитная местность.

– А ракетчики по нам не жахнут, когда стартуем?

– Вряд ли. – Он усмехнулся. – Навестись не успеют. У нас старт быстрый. Меня другое волнует. Почему куругач?

– Да что такое куругач, объясни на милость! – озлилась Катька.

– То-то и оно, что я не знаю.

– Ты просто придумать не успел. Это был самый обычный мент.

– Да, да. Так и думай, пожалуйста.

– Но это опасно?

– Обычный мент? О да, он очень опасен.

– Ну не заводись, я серьезно. Куругач – это что-то страшное у нас?

– Это что-то серьезное у нас, – резко ответил он. – Проколотся, наверное, кто-то... Будут они просто так отзывать...

– А что, отзывают? То есть ты можешь улететь без меня?

– Нет пока. Но пункт «в»... черт. Надо бы мне по-хорошему домой быстро, может, прислали разъяснение... Вообще, черт его знает. И связаться мне не с кем, понимаешь ты или нет?

– А этот ваш в УВД?

– Да он-то что знает? Передаточная инстанция в чистом виде... У нас сто лет не было никакой экстремалки. Это они, наверное, страхуются. Когда Японию бомбили, тоже был куругач. Думали, двумя бомбами не ограничится, готовили к срочному отзыву всех. Обошлось. Но только, видишь ли... – Он быстро шел вперед, не оборачиваясь, и говорил словно сам с собой, Катька не все разбирала. – Все-таки уругус...

– Игорь! Ты можешь объяснить по-человечески, что такое уругус?

– Не могу, извини. Прилетим – объясню.

– Понятно, – сказала Катька. – Дело закодировано голубой розой, а что такое голубая роза, агент Купер сам не в курсе.

– Знает, – обернулся Игорь. Голос у него был очень серьезный, и впервые за все время этой безумной поездки она поверила ему по-настоящему. – Очень знает. Я тебе все объяснять не буду, Кать. Но для сравнения... Одно дело, если тебе, не дай бог, звонит сейчас наш муж и говорит: срочно домой, я за тебя беспокоюсь. Это простой куругач, куругач «б». А если, опять-таки не дай бог, он говорит: немедленно домой, дочка плохо себя чувствует... это уругус куругач. Поняла?

– Примерно поняла, – медленно сказала Катька. – Что-то у вас неладно, да?

– Ну, не так чтобы неладно... Если бы неладно, они бы нашли способ. Но вообще, по-хорошему надо бы мне в Свиблово. Посмотреть в Сети, что и как.

– Да не психуй, – сказала Катька. – В крайнем случае я быстро соберусь.

– Ты полетишь, правда? – спросил он так, что Катьке стало невыносимо его жалко.

– Ну, если там у вас уругус – как же ты без меня?

– Солнышко мое, солнышко, – сказал он. – Удивительная ты девочка, Катя. Тебя только на жалость можно взять.

– А ты пользуешься...

В дачный поселок они вступили в густо-синих сумерках, когда уже едва виднелась асфальтовая дорога с ямами и выбоинами. Дачники давно разъехались, только в двух домах светились окна. «Эти тут постоянно. Вон там – сторож местный, он по вечерам обходит все. Толку от него чуть».

– Далеко еще?

– Седьмая улица. Сейчас, метров двести. У меня там все нормально – отдохнуть можно, поесть, вполне себе перевалочная база.

– Игорь! Какое там отдохнуть! Я домой должна успеть к ночи хотя бы!

– Успеешь. В крайнем случае заночуем, позвонишь...

На заборе сто двадцатого участка висела табличка – «Н.И. Медников».

– Кто такой Медников?

– Откуда я знаю? Дед какой-то. Мне ключи выдали, адрес сказали, и все.

– Подожди... А зачем было покупать участок, если можно снять? Дешевле же!

– Снять? – Игорь усмехнулся. – Тут после старта знаешь что будет? Ни сарая, ни дома, ни вот этого забора. Хорошо еще, если соседское устоит...

– Да тебе-то какая разница? Улетел, пусть разбираются...

Он посмотрел на нее с недоверием:

– Мать, это на тебя не похоже. Как это – снять, все пожечь и смыться? Это у вас так делается, а у нас это анкурлык.

– Ну прости, пожалуйста. Я просто подумала, что раз уж все рушится... кому какое дело еще и до дачи?

– Вот это серьезная ошибка. – Он полез в карман, достал тяжелую связку почти одинаковых ключей и долго выбирал нужный. – Это ваше большое заблуждение, кстати говоря. У вас думают – если всему конец, можно вести себя как угодно. Как раз наоборот. Когда всему конец, куругач, хотя бы и уругус, – надо вести себя очень прилично. Может, вся предшествующая история была только ради него. Это главное событие. Надо лицо сохранять. Надо как на «Титанике» – чтобы оркестр играл до последней минуты, чтобы джентльмены прощались вежливо: «Простите, ввиду непредвиденных обстоятельств я вряд ли смогу завтра составить вам партию в триктрак на верхней палубе»... У нас и пословица есть: «Бурлун тырыгык, бырлын туругук».

– Красиво. А что это значит?

– Это значит «Живи как хочешь, а умирай как человек».

– Да, логично. Я уже почти понимаю ваш язык. Чтобы сделать антоним, надо «ы» поменять на «у», и все. Да?

– Ымница...

На соседнем участке стоял большой кирпичный дом, самый основательный на всей улице: два этажа, пристроенный стеклянный парник, большой гараж. В доме горел свет.

– Сосед... зимует, куркуль.

– А добрый, щедрый человек будет кыркыль, – догадалась Катька.

Игорь тщетно возился с ржавым замком, висящим на калитке. Из соседней калитки вышел толстый усатый мужик, действительно очень куркулистого вида. На нем были серые брезентовые штаны, короткие резиновые сапоги и старый, болотного цвета плащ – дачная униформа, все древнее, но теплое и прочное.

– А я гляжу – кто возится? – сказал он, усмехаясь. – А это вон кто приехал. Что-то ты поздно.

– Пока доберешься, дядь Коль, – буркнул Игорь.

– Чего, заело? Дай я.

– Нет, нет, все в порядке. Не надо. – Игорю, видимо, очень не хотелось, чтобы дядь Коль лазил в его замок. Он суетливо подергал ключом, что-то щелкнуло, и ржавая дужка наконец отскочила.

– А я гляжу, – повторил сосед. – Что, думаю, не едет никто? Все лето не ездит и сейчас не ездит...

– Работаю, дядь Коль.

– Работать надо, надо... – Он стоял у калитки, мялся, и из-за этого внезапного препятствия они не могли войти на участок. Сосед хотел о чем-то заговорить, но не решался.

– Жена, что ль?

– Вроде того.

– А. У Юльки тоже вроде того. У всех вас вроде. Я что хотел, Игорь. Ты же все равно... ну это. Не занимаешься домом-то. Участок, вон смотри, как зарос. Трава по плечо.

В самом деле, участок был по-настоящему запущен – бурьян, дурман, даже пара борщевиков у забора; теперь торчали одни сухие бодылья, но летом, видно, тут бушевал густой травяной лес. Сейчас, когда трава вымерзла и пожухла, можно было различить и дорожку из потрескавшихся бетонных плит, и маленький дом в глубине участка, и сарай возле самого забора, – в июле, видимо, все тонуло в разросшейся сирени, в зонтиках дудника, в облепиховых кустах и зарослях

черноплодки. Если Игорь хотел замаскироваться, лучшего места было не найти.

– Я займусь, дядь Коль.

– Да я не к тому. Я что, не понимаю? Работа, что ж. Но ты, может, продать хочешь?

– А что, – Игорь насторожился, – есть покупатель?

– Ну... есть.

– А кто?

– Да хоть бы я. Юльке свой дом надо...

– Я подумаю, дядь Коль. Через недельку приеду и скажу.

– Ага. Ты подумай, да. Я много не дам, это... но ты сам понимаешь: дом у вас еле стоит, его разобрать проще, чем ремонтировать. Потом, кухня тоже никакая. Тут все надо с нуля, буквально. Тут одной земли сколько надо завезти. Ты все равно не занимаешься, я разве что? У кого какой талант. У тебя такой талант, у меня такой.

– Я решу, дядь Коль.

– Ты реши, – не уходил сосед. – Потому что сам понимаешь, мне тоже надо. Я сейчас в Москву и не езжу почти. У меня все здесь. Чего там в Москве-то, слушай? Я по телевизору не пойму ничего.

Да плевать тебе, что в Москве, подумала Катька. Было б не плевать – ты бы сразу спросил. Тебе участок надо ухапать по дешевке. Куркуль ей активно не нравился.

– Ничего. Чрезвычайное положение.

– А. Ну ладно. Давно пора. У нас-то тихо. Только ночью грохотало у них чего-то, может, стрельбы...

– Может. Вроде все в готовности.

– А чего готовность? Выжечь там все, и не надо никакой готовности.

– Да выжгли уже, дядь Коль. Не помогло.

– Я знаю, как там выжгли. Там выжгли, где не надо. А кто бабки платит, тех не выжгли. Ну ладно. Вы небось отдохнуть хотите. Отдыхайте, отдыхайте. Я только чего говорю, Игорь, – прибавил он, все не решаясь уйти. – Я и Николай Игоричу говорил, когда он еще ездил... Чего ты, говорю, маешься тут, отдай участок! Отдай, Николай Игорич, нет же у тебя к этому делу таланта. Не отдавал. Теперь ты вот. Сам же видишь. Тут, если руки приложить, такое можно сделать! Ты

посмотри, какие яблоки у меня в том году были. И в этом сколько. Слива какая. Картошку я вообще забыл, когда покупал. Давай, думай. Ты это, – он понизил голос, – ты не думай, я тысяч десять дам. Тебе больше никто не даст. Ты когда решишь-то?

– Через неделю, – терпеливо повторил Игорь.

– Ну давай. – Дядь Коль явно хотел сказать еще что-то, но не знал как; когда такие люди хотят привести последний и безоговорочный аргумент в свою пользу, они приписывают к заявлению «Прошу в моей просьбе не отказать». Природная деликатность не позволяет им внятно предложить: «Отдай мне твое, у меня на него больше прав, я лучше тебя умею обращаться с землей и стройматериалами, и все это мое, а твое только случайно. В принципе ты бы мне должен отдать это бесплатно, я сам могу взять, если захочу. Но я предлагаю тебе десять тысяч, хотя таких цен за участок с домом давно не бывает. Отдай, хуже будет».

Игорь кивнул соседу и шагнул на бетонную дорожку.

– Заходи, Кать. Приехали.

Сосед пошел к себе, только когда Игорь закрыл калитку и защелкнул шпингалет.

– Ну что, – спросила Катька, – ты продашь?

– Через неделю-то? Даром отдам. Через неделю я отсюда – фью!

– И где она у тебя?

– Вон, в сарайчике. По домам лезят все-таки, а в сарай кто полезет. Там же один инвентарь. Погоди, сейчас я дом открою.

Он долго возился еще и с этим замком, тоже ржавым. Наконец дверь открылась, в доме пахло старым сырым деревом и затхлостью.

– Входи. Я сейчас пробки вкручу.

– Слушай. Может, мы сразу посмотрим... и домой?

– Нет, мать. Вы, земные женщины, выносливы, а я не потяну. Мне надо чаю попить и в себя прийти. Часа через два поедем.

– Через два часа тут будет полный мрак.

– Ну, дорогу-то я знаю! На станцию пойдем, может, ходит что...

Катька опустилась на плетеный диван и только тут почувствовала, как у нее гудят ноги. Вообразить, что в сарае, в пяти метрах от нее, стоит и ждет своего часа летающая тарелка, она не могла, но Игорь вел себя с подозрительной уверенностью. Достигнув наконец цели путешествия, он резко повеселел. Зажегся свет, в доме стало уютней,

Катька рассмотрела обстановку – сплошь убогую, годов шестидесятых: занавесочки в веселых треугольничках, такой дизайн был в моде как раз тогда. Тахта, шкаф, битком набитый старыми журналами, открытый ящик со сломанными игрушками, электроплитка, радиола «Серенада» рижского производства.

– Тут старикан жил, – сказал Игорь. – У него с годами прогрессировала тяга к одиночеству, и родня продала дачу. Он сейчас все больше в Москве по больницам. Сюда, говорят, просятся, но его уже не пускают. Он тут жил, ничего не делал на участке, заросло все, как я не знаю. А занимался только тем, что чинил радиолу и читал «Технику – молодежи». Вон, весь шкаф забит. Я знаешь что думаю? Что у него тут живет домовой, тоже старикан. Что он в его отсутствие вылезает и чинит радиолу, а когда починит, тоже уедет в Москву. Докладывать хозяину. Я думаю, это будет очень усовершенствованная радиола. Она, возможно, даже взлетит.

– А игрушки чьи?

– Откуда я знаю. Может, его собственные. Играл тут. Погоди, я за водой схожу. Водопровода нет, прошлой зимой трубы разорвало.

Он вышел куда-то и вернулся с полным цинковым ведром, потом включил электроплитку, поставил на нее мятый алюминиевый чайник – все это спокойно и буднично. Катька сидела в странном оцепенении, понимая, что от нее теперь ничего не зависит. В доме было холодно, изо рта шел пар.

– Погоди, я натоплю сейчас. У него тут электрокамин, а в комнате печка. Полчаса не пройдет – разогреется до тридцати.

– Вы что, не могли каких-нибудь специальных устройств понаставить? Чтобы постоянную температуру поддерживать?

– А зачем?

– Ну... не знаю... Чтобы тарелка не замерзла.

– Она и так не замерзнет. У меня же тосол залит.

– А... Она что, тоже на тосоле?

– Она на фотонных двигателях, но тосол все равно нужен. Именно чтобы не замерзала.

– Да. Интересно. Ну а в доме? Какое-нибудь простое фотонное устройство, чтобы за три минуты разогреть все?

– Мать, да какая же древесина выдержит такой разогрев? В деревянном доме оптимальный вариант – печка. Ты хочешь, чтобы у

меня рассохлось все?

– Да, точно. Ну ладно. А почему я не вижу никаких атрибутов роскошной инопланетной жизни? Сувенир там или портрет дорогой мамы?

– Портрет дорогой мамы у меня в компьютере.

– Просто, понимаешь... должна же я подготовиться. Ты ведь нас познакомишь?

– А как же.

– А что-нибудь на память об Альфе Козерога?

– Ну Кать. Что ты как ребенок. Это все равно что Штирлица спрашивать: скажите, Отто, почему у вас портрета Сталина нет на стеночке? Или фото Шурочки?

– Я думаю, фото Шурочки у него где-нибудь висело, в старом немецком костюме, чтобы в случае чего выдать за прабабушку. А его правда звали Отто? Мне всегда казалось, что Макс.

– Макс его звали в России. – Он заварил мятный чай в фарфоровом, очень старом чайничке, достал две кружки и банку сгущенки.

– Это я еще летом запас. Сейчас открою.

– А когда мы пойдем смотреть?

– Попьем чаю и пойдем. Мне еще с ней, между прочим, возиться не меньше получаса. Смазать все узлы и вообще. Так что сперва чай.

– Мне прямо, знаешь, не терпится.

– Да мне самому не терпится, Кать. Она же мне и надежда, и единственная связь, и главный сувенир с Альфы Козерога. Да, кстати, – он порылся в ящике с игрушками и вытащил небольшого плюшевого зверька, совершенно круглого, с рожками, короткими лапками, бобровым хвостом и выкаченными испуганными глазами. – Если тебя интересует, какие у нас деньги, то вот. Я его всегда с собой вожу.

Катка бережно взяла зверька.

– Как он называется?

– Тыгын. Есть более крупный, дылын. По-вашему тысяча.

– А на этого много можно купить?

– Когда живой, то много. Таких домиков штуки три – запросто. Он если разрастется, раскормится как следует, то может стать дылын, а это уже десять домиков. Но надо ухаживать очень. Он просто так есть

не хочет, аппетита нет. Видишь, и так уже какой круглый. И надо при этом соблюсти диету, чтобы зверек не страдать, не болеть живот, не получить ожирение. Это ж не гусь, чтобы фуагру делать. Он должен просто разрастись. Когда разрастается, он проявляет новые способности, мочь немного прыгать высоко, издавать другой звук. Когда он пищать «пи-пи», он тыгын, но когда делать «ой-ой», то уже практически дылын. Хороший хозяин знает, как кормить зверек. Плохой раскармливать искусственно, и зверек быть нитратный. В любом магазине его проверять, объявлять фальшивый, изымать и отправлять похудание. Правильно раскормленный зверек иметь большие печальные глазки, а неправильно – узенькие щелочки. А с этот тыгын я играть еще глубокое детство, золотая пора. Он мой сувенир, талисман, лежать самое дно. Обратить внимание, Москва, Россия такой зверек нет.

– Он немного похож бобер, такой быть губитель здешние леса, грызец деревьев, строитель маленьких хаток. Но бобер не иметь рожки и такой пузо.

После чаю стало теплей. Катьку разморило. Кроме мяты, в заварке был странный привкус – что-то вроде душицы, пахучей и горькой.

– Чем завариваешь?

– Это наша травка, крын-тыкыс. Очень помогает, снимает усталость и вообще вкусная. Только мало осталось. В принципе, транспортник мог прийти в конце декабря. Но если все так срочно, никакого транспорта уже не будет, конечно.

– Игорь! А вот представь себе, что я на секунду поверила. И как мне тогда объяснить самой себе, что вы, могущественная цивилизация, которая может и чипы вшивать, и мента вербовать, и траву доставлять разведчику, не отправите сюда гигантский десант, чтобы спасти по крайней мере всех детей?!

– Кать, у нас нет разницы между взрослым человеком и это... так сказать, детским. У вас если старик или ребенок – всё, любые грехи списываются. А у нас не так, у нас ребенок наравне с родителями отвечает за все. И почему ребенок – если он, допустим, дурак и хулиган – более достоин спасения, чем, я не знаю, писатель? Профессор?

– Потому что дети лучше, – упрямо сказала Катька. – У тебя нет своих, а объяснить это нельзя.

– Чего объяснить нельзя, того не существует. У вас имманентные признаки в основе всего: чеченец, еврей, старый, больной... Надо же не по этим признакам оценивать.

– А по каким? Типа полезность для общества?

– И про полезность у вас неправильно. Кто полезный для общества? Стивен Хокинг? У нас таких полно, я тебе говорил. В любой матшколе. Бугай какой-нибудь, чтобы работать? У нас роботы работают. У нас кто хороший, тот и полезный, это же такая элементарщина.

– Ну ладно. Но ты же понимаешь, что если кто хороший... он не может просто так улететь и отобрать шестерых? Он же никогда себе не простит, всю жизнь будет думать, что взял не тех...

– Будет, конечно, – согласился Игорь. – Любой эвакуатор это знает. Ходит в храм, молится Аделаиде и Тылынгуну, грехи замаливает. А как иначе? Один Кракатук без греха, и то Аделаида его пилит все время. Когда она его пилит, гремит гром и сверкает молния. Потом Тылынгун плачет, наплачет миллиметров тридцать осадков, и родители мирятся.

После волшебной травы к Катьке в самом деле вернулись силы, она поднялась и заходила по веранде – маленькая, решительная, руки в карманах старой красной куртки.

– Знаешь, у нас апокриф есть. Изведение из ада. Богородица выводит каждого пятого. Еще стих такой был, не помню у кого.

– Я тоже не помню, – сказал он. – И смотря, как кричит, как колотится оголтелое это зверье, – ты права, я кричу, Богородица, да прославится имя твое! Сошествие во ад, сюжет очень распространенный. И как видишь, не совсем выдуманный.

– Ты прилично знаешь наш фольклор, – хмуро сказала Катька.

– Ну, я же готовился все-таки...

– Плохо ты подготовился. Надо было знать, что приличный грешник никогда не согласится на такой выбор.

– Наоборот. – Он поднял на нее глаза и улыбнулся; такой улыбки она у него еще не видела. Дело в том, что он улыбался презрительно. В этом человеке, если он человек, в самом деле было намешано столько, что она постоянно путешествовала по всей амплитуде – от восторга к

ужасу и обратно. – Человек есть человек, и такова его природа. Даже самый приличный грешник в решительный момент хватается пять-шесть ближайших к нему людей и говорит: заведи меня отсюда.

– А если человек просто не желает играть в эту дурацкую игру! В это спасение избранных!

– Это его выбор, – спокойно сказал Игорь. – Если ему своя белоснежность дороже пяти спасенных жизней, он поистине великий грешник и достоин бедствовать вместе с этой планетой.

Катя замолчала.

– Катя, – он встал, подошел к ней и прижал ее к себе. Она вырвалась и отвернулась. – Пойдем смотреть тарелку, – сказал он мягко. – Сейчас, только фонарик возьму.

Сарай стоял в дальнем углу восьмисоточного участка. Из окон веранды лился теплый желтый свет, горело окно у соседа, и видно было, до чего кругом неприятно. Если мобильник тут берет, она немедленно позвонит мужу и скажет, что остается. Нечего и думать возвращаться в такую пору. На этих дорогах они никого не поймают. Тарасовка выглядела сущим краем земли – неясные силуэты убогих домиков, сухие прутья с лохмотьями последней листвы, чавкающая грязь под ногами, да еще и накрапывать принялось.

На двери старого, еле держащегося сарая блестели пять новеньких, блестящих цифровых замков.

– Зачем столько? – спросила Катя.

– Серьезная вещь, запереть надо.

– Да его проще разломать, ты не находишь?

– Разломать его не так просто, – гордо сказал Игорь. – Тут защита все-таки. Попробуй ударить в дверь, можно несильно.

– И что будет?

– Психическая программа дубль пятнадцать будет, вот что, – пробурчал он, набирая коды. – Она у меня стоит за себя – знаешь как? Ты попробуй, правда. Не топориком, не ломиком – просто рукой тресни. Сразу ужас, тоска, желание убежать подальше...

Катя и так чувствовала ужас, тоску и желание убежать подальше. Она робко подошла к стене сарая и хотела ударить по ней, но не смогла. Вместо этого, удивившись себе, она погладила сырые некрашенные доски.

– Убедилась? – спросил Игорь. – Мощная штука. Я даже когда сам дверь открываю, чувствую некоторое сопротивление... Все, можно. Смотри.

Он распахнул дверь. Катька осторожно подошла и заглянула. Пахло мышами и каким-то рассыпанным удобрением, смутно белевшим на полу.

– погоди, я фонарик включу.

Он достал «вечный» фонарик с синеватым мертвенным светом и направил его в глубь сарая. Катька на всякий случай ущипнула себя за руку. Она не знала, что ожидала увидеть, да и вообще ничего уже не понимала.

Среди рулонов рубероида, белых пустоватых мешков неясного назначения и грязных лопат с потрескавшимися черенками стояла большая садовая лейка.

– Ну? – гордо спросил Игорь. – Форма, по-моему, идеальная. А ваши всё – тарелка, тарелка... Я ж тебе говорил – аппарат должен быть обтекаемой формы. Вертикально ориентированный.

Тут она поняла, на что был похож летательный аппарат на его карточке с голограммой: длинный цилиндр с косо отведенной от него трубкой и чем-то вроде ручки сбоку. Да, конечно. Конечно, это она.

Некоторое время они молчали: Игорь – гордо, любуясь главным сувениром с Альфы Козерога, а Катька – устало. Все было понятно. Все-таки надо как-нибудь уехать домой. Господи, как глупо. Когда я уже стану взрослым человеком.

– Нравится? – спросил он.

– Очень удобно, – сказала она. – Отличная штука. Поливать, а особенно заливать – просто незаменима.

– Ну правильно, а ты чего ждала? Что тут стоит инопланетное чудо, лампочками мигает? Нет, Кать. Все предусмотрено. Система консервации, последнее слово. Форму сохраняет, а все остальное... У нас же серьезно, Кать. Не по-детски.

Катька еще некоторое время посмотрела на лейку, потом повернулась к нему и крепко его поцеловала.

– Я очень тебя люблю все-таки, – сказала она. – Ты себе не представляешь, что я сейчас чувствую.

– Мне бы хотелось, чтобы некую гордость за Альфу, – сказал он самодовольно.

– Нет. Нет, Игорь. Ужасное облегчение, просто колоссальное. Понимаешь... если бы тут действительно стояла тарелка, если бы я хоть вот на столечко допускала... это значило бы, что в мою жизнь вторглось нечто невероятное. Ведь это ты перевалил на меня такой груз, а в случае отказа шантажировал собственной гибелью. А теперь ничего этого опять нет, и нет никакой тарелки. Я даже не сержусь, что ты так заигрался. Я давно хотела выехать из Москвы на воздух. Ну вот, выехала. Теперь можно жить. Отличная вещь, правда. Можно, я ее подержу?

– Ты что! – заорал он. – Ни в коем случае!

Но Катька его уже не слушала. Она подскочила к лейке и, не ощущая ни малейшего психологического барьера по системе дубль пятнадцать, схватилась за ручку. Поднять тарелку, однако, было нельзя. Катька старалась и так и сяк, – лейка была необычайно тяжелой, она не могла сдвинуть ее даже волоком.

Это было ни на что не похоже. Она в последний раз дернула ее за ручку и отступила.

– Тяжелая, – сказала Катька жалобным голосом.

– Нет, ты еще попробуй, – сухо предложил Игорь. – Давай, давай. Мультизатор оторви к чертям... не жалко! Стабилизатор отломай... трансвольтаж... А может, еще пнем ее как следует? А? Вещь крепкая, выдержит!

Он с маху пнул лейку. Раздался гулкий пустой звук, в ту же секунду на соседнем участке вспыхнули красные искры над крышей дома, и в дядь Колиных окнах погас свет. Погас он и у них – электричество отрубилось по всей улице. Горел только голубоватый Игорев фонарик.

Катька втянула голову в плечи и зажмурилась. Из оцепенения ее вывел тихий, захлебывающийся смех Игоря.

– Это она наделала, да? – робко спросила Катька.

– Нет, – с трудом отвечал он, – это Коля наделал... куркуль херов... Очень любит технику, идиот...

– Что такое?

– Успокойся, это он срать пошел. – Игорь зашелся в новом приступе хохота.

– А это... у него всегда сопровождается такими эффектами?

– В общем, да. Он установил у себя немецкий аппарат... ну, знаешь, у вас же тут все соревнуются, кто лучше обставит процесс калоотделения. Я как в гости зайду – сразу вижу: люди с особенной любовью обустривают сортир. Серьезное такое отношение к процессу. А на дачах это обычно решается, как ты понимаешь, с помощью ямы или ведра. Ну, биотуалет, если кто побогаче... Но Коля не прост! Он очень не прост!

С соседнего участка донеслись глухие ругательства.

– Коля, – полушепотом продолжал Игорь, – установил у себя немецкое устройство. Приглашал меня монтировать, я как раз тут был. Он же в электрике не петрит ни хрена, ему удается только копание и кладка кирпича. В общем, принцип там грандиозный: когда все сделаешь, надо передернуть два рычага – слева и справа. Вот так, как лыжные палки. Тогда через продукт проходит сильнейший электрический разряд, и фекалия практически уничтожается. То есть она обращается в ничто. Я назвал бы это...

– Электрический стул! – триумфально перебила его Катька.

– Точно. Но парадокс заключается в том, что на сырой почве прибор периодически замыкается, и току ему требуется больше, чем может выдержать местная система. Так что, когда Коля идет срать, из его трубы вылетают искры и весь поселок знает, что желудок у него... о господи, не могу... сработал!

Катька согнулась от смеха.

– Ну, и свет вырубается по всей линии. Его тут все умоляют, чтобы он хоть во время сериалов не гадил... А он как раз во время рекламной паузы норовит облегчиться – и весь поселок до завтра не узнает, выйдет донья Селестина из комы или так в ней и зачнет близнецов! Погоди, он сейчас к нам сунется.

– Игорь! – робко донеслось с соседнего участка. – Я вижу, вы тут... в сарае...

– Мы тут, дядь Коль! – радостно отозвался эвакуатор.

– Ты не посмотришь? Так уже зае... это... не могу чинить каждый раз! Погляди, может, там пробки или что...

– Я же говорил вам, дядь Коль. Напряжение большое.

– А отрегулировать нельзя?

– Нельзя отрегулировать. Эта вещь так рассчитана, если меньше – не сработает.

– Ёкарный бабай, – печально сказал дядь Коль. – Это ж мне опять со светом ковыряться.

– Да с утра сделаете. Нам света много не надо. Лампа есть керосиновая.

– Давай, давай при керосиновой лампе! – прошептала Катька. – Ужасно люблю!

– Ну а я как буду? – жалобно спросил куркуль. – Мне телевизор посмотреть, у меня отопление опять же...

– Ладно, я сейчас зайду.

– Я с тобой, – проскулила Катька. – Я боюсь.

– Хорошо. Дядь Коль! Я с девушкой к вам иду!

– Конечно, конечно! Я чайку поставлю! – засуетился сосед.

– Да мы только что пили.

У соседа все было богато, прочно и надежно. Чувствовался, так сказать, предприниматель средней руки. У Катьки не было к этой породе людей ни малейшей зависти, напротив – в них была даже трогательная готовность помочь ради лишней демонстрации своего могущества. Прочие-то просто готовы глотку перегрызть за то, что мы не такие; надо уметь ценить даже и снисходительность. Сосед охотно показывал свои нехитрые достижения: тут парник, тут лестница на второй этаж, тут вот, прошу любить и жаловать, роковое приспособление, из-за которого все... Он с фонариком провел Катьку по всему первому этажу, порезал колбасы, сыру, налил по стаканчику за знакомство, – Игорь как раз закончил возиться с проводкой, или с чем электрическим он там возился; зажегся свет, и сосед расцвел.

– Слушай, я бы там еще полчаса как минимум трахался бы с этой...

– Ладно, ладно. Кать, пошли.

– Да посиди ты, что ты, как я не знаю... Николай Игорич всегда заходил, когда попросить чего...

– Ну, то Николай Игорич. Спасибо, дядь Коль. Вы бы заземление поставили. Чес-слово, гораздо лучше будет.

– Да посидите, ладно! Я тут по неделям людей не вижу. Расскажите хоть, что и как.

– Да никак, дядь Коль. Бардак и есть бардак. Сматываться надо, если по-хорошему.

– А куда сматываться?

- Да куда хотите.
- Нет, я тут пересажу. С утра в Чехов затовариваться поеду, тебе не надо ничего?
- Да мы в Москву завтра.
- А. Ну, помни – если правда надумаешь продавать участок, то я всегда. И оформим быстро. – Он подмигнул. – Торг уместен.
- Да, если поедем – тогда без вариантов. Ну, спокойной ночи.

В доме он затопил печь, открыл ненадолго окно – сухая бабочка упала на пол, сырая ночь вползла в комнату, – дым быстро вытянуло, и ровное тепло медленно пошло заполнять дом. Дров было порядочно, хотя и сырые; у входа стоял целый бумажный мешок.

Катька набрала домашний – мобильник почти не брал, пришлось долго искать на участке место, ничем не лучше и не открытее прочих, на котором ловился хоть самый прерывистый сигнал.

– Сережа! – кричала она. – Я заночую, электричек нет! Да, у наших! Из «Офиса»! Уложи Подушу, почитай ей!

Реплик мужа почти не было слышно. Кажется, он соглашался.

– Сереж, я еле слышу тут! Я буду завтра с утра! Первой электричкой поеду!

Сквозь шум донеслось что-то про ГУМ.

– Что там? – орала Катька.

– Раз-ми-ни-ровали, – проскандировал Сережа.

– О господи... Нашли кого-нибудь?

– Никого. Кавказцев высылают, – это было слышно отчетливо.

– Ну и черт с ними, они давно нарывались. Ладно, я с утра буду!

– Хорошо, – вяло сказал муж.

Катька вернулась в теплый дом. Улей и сад, повторяла она про себя, улей и сад. Вот он, сад, запущенный, но милый, усадебный. Вот я в освещенном деревянном доме среди черного нежилого пространства. Вот мужчина, которого я люблю, половина моей души. Все для счастья, даже катастрофа, без которой я счастья не мыслю. И если бы не выбирать пятерых счастливых, которых мне надлежит спасти, я не ждала бы для себя ничего лучшего.

– Ну ладно, – сказал Игорь. – Ты почитай, я пойду там смажу кое-что. «Техники» полный шкаф, там фантастику печатали. Я через полчаса приду.

– Игорь, что там можно смазывать?

– То, что ты чуть не оторвала. Она же только с виду монолитная.

– А как ты в темноте?

– Милая, – сказал Игорь, высокомерно оборачиваясь в дверях, – я ее с завязанными глазами собрать-разобрать могу, как у вас в армии – автомат Калашникова. Ты имеешь дело со спецом третьей категории.

– А почему третьей?

– Потому что четвертая только у спасателей, – бросил он небрежно, взял фонарик и удалился в сарай, оставив Катьку в комнате.

Обстановки было мало – платяной шкаф, кровать, старая тумба с деревянной шкатулкой. Шкатулка вся потемнела, но на ней еще была различима инкрустация – виньетки, гибкие лилии, ранний модерн. Катька очень любила вещи этого времени, да и само время любила, хотя несколько стыдилась собственного дурновкусия: Тулуз-Лотрек, Бёрдслей... Для художника пристрастие к этому стилю было чем-то вроде дилетантской любви полуинтеллигентных девушек к Серебряному веку, о котором они понятия не имели. Серебряный век был прежде всего эпохой махровой пошлятины, и Бёрдслей был пошлятина, но тут уж Катька ничего не могла с собой поделать. В конце концов, куда большим моветоном было превозносить Филонова или утверждать, что нет никого выше Ван Гога, вот там живопись, а все остальное литература. На их курсе в Полиграфе были такие гении, пускатели пыли в глаза, – рисовали они, как правило, очень посредственно, но трудоустроились исправно, ибо умели себя подать. Катька понимала, что лазить в шкатулку нехорошо, – но ведь это, в конце концов, не Игоревы вещи и не его дача; будь тут что-то секретное, он бы вряд ли оставил ее наедине с ними. Она бережно сняла тяжелую шкатулку с тумбы, поставила ее на пол около печки, уселась рядом и открыла.

Там могло быть что угодно – пожелтевшие лайковые перчатки, засушенный цветок, рукописная, в красном кожаном переплете книга, дающая полную власть над миром, – но шкатулка вековой давности была битком набита письмами позднесоветских времен. Это были хорошо сохранившиеся, не слишком затрепанные – их явно перечитывали нечасто – письма семидесятых и восьмидесятых годов, с советскими марками, не наклеенными, а так прямо и напечатанными на конвертах: спутники, рабочий и колхозница, День космонавтики,

почта СССР. Некоторые конверты были без марок, со штампами, – письма из армии. Много писали из республик – у Николая Медникова и его родни было страшное количество друзей, и было даже одно письмо из Венгрии – его получил старший сын Медникова, учась в шестом классе, от девочки из Будапешта, из школы номер семь, девятнадцатой по списку в своем классном журнале: она писала в Москву, в седьмую школу, в шестой класс, девятнадцатому по списку, которым и оказался Медников. Ничего о своей жизни она сообщить не могла, кроме того, что хочет иметь друга по переписке. Удивительное дело, все социалистические люди хотели иметь друга по переписке. Они писали очень много писем, подробных и совершенно бессодержательных. Нынешние люди тоже все время обменивались информацией – посылали ничуть не более осмысленные эсэмэски, главным месседжем которых была сама способность послать эсэмэску, некая причастность к племени современных, мобильных людей, всегда достигаемых друг для друга, – но тут было нечто иное, и Катька не могла пока разобраться, в чем разница. Преобладали поздравления – люди семидесятых годов беспрерывно поздравляли друг друга, у них была для этого масса поводов – и Первое мая, и первое сентября; один родственник был инвалид – кажется, полиомиелитный, в письмах он не сообщал о своем уродстве, но писать ему было трудно, и он чертил линеечки. Эти поздравления, с линеечками, ничем по тексту не отличались: он всегда сообщал, что у него всё в норме (слово «нормально», чересчур длинное, было для него, наверное, трудным). Дружный хор Медниковых поздравлял друг друга, и в этом хоре пищал одинокий инвалид: поздравляю, желаю вам здоровье, счастье и чтобы все было, как вы себе сами желаете. Всё в норме! Еще один родственник, из Курска, все новогодние поздравления заканчивал фразой «А годы проходят – все лучшие годы!!», всегда с двумя восклицательными знаками; это был у него, должно быть, ритуал – написать эту фразу и пережить следующий год, – колдовство действовало до восьмидесят второго, и горько было видеть, как в каждой следующей открытке все больше дрожат буквы и все пышнее становятся росчерки, словно крича: худо, худо, все хуже! Катьке представился улыбающийся старик, его дрожащее лицо и дрожащий голос. Друзья из Киева Чурилины, у которых Медниковы ежегодно гостили на Седьмое ноября, излагали новости из жизни вовсе уже

неведомых Люды, Оли, Гриши, Николая и Оксаны, – понять, в каких отношениях они находятся, было невозможно; правда, потом Оля с Николаем развелась и выпала из поля зрения киевских друзей, а Николай, погоревав, привел Клаву, хорошую женщину, хотя уже и с ребенком. Этот ребенок Саша пошел потом в армию и почему-то тоже прислал одну открытку из Томска, куда теплолюбивого украинца послали во времена пресловутой экстратерриториальности – нельзя ведь было служить ближе чем за шестьсот километров от дома, не то сбежишь, да и вообще мысли будут не о службе. Странно, что Саша, едва знакомый с Медниковыми, решил им вдруг в восемьдесят шестом году написать. Вероятно, ему совсем не с кем было переписываться, а может, очень одиноко было в Томске, так что он цеплялся за любую связь с прошлой жизнью; письмо было датировано пятнадцатым апреля, почти за неделю до того, как катастрофа опять и надолго стала постоянным фоном жизни. Чернобыль Катька уже немного помнила, – мать объяснила ей, что в Киеве и вокруг него воздух отравлен и что это как бомба; помнится, Катька даже обустроила подкроватное убежище – на случай, если и в Брянске случится подобное. Брянск потом считался частью чернобыльской зоны, но трехголовые одуванчики не выросли, только отец с матерью накупили красного вина – говорят, необходимо, – но передумали и пить не стали, отложили до Нового года.

После Чернобыля Чурилины некоторое время не писали, опасаясь, видимо, доверять бумаге подробности бедствия; один раз только упомянули мельком про те самые мутанты-одуванчики, выросшие на киевских газонах. Переписка слабела, три года спустя затухала, и этому не было рационального объяснения: Медниковы еще не состарились, киевские Чурилины тоже, все были полны сил, дружило уже следующее поколение, но из страны словно выкачали воздух, и связи упразднились. Станным образом пропала среда, разносившая звук, – как будто существовать она могла, только настаиваясь до железной вязкости в наглухо замкнутом пространстве. Медниковы, Чурилины, Шалтаи, Горяниновы, Сомоновы, Бухтины больше не были нужны друг другу, у них не было необходимости посылать друг другу сигналы – жив, здоров, поздравляю с Первым мая! И дело было не в том, что жизнь стала чудесной и безопасной, а стало быть, отпала и необходимость сигнализировать о своей живости-

здоровости; она как раз стала непредсказуемой, холодной, опасной, и в ней Бухтиным уже не было дела до того, благополучны ли Шалтаи. Судя по переписке, тогда все время ездили друг к другу и ходили в гости; была тьма общих воспоминаний и ритуалов – именно тьма, Катька ясно видела эту уютную тьму с посверкивающими в ней маячками: вот Киев подмигнул, вот Красноярск откликнулся... Переписка была одним из бесчисленных сложных обычаев этой затхлой, устоявшейся и насквозь ритуализованной жизни: гостей полагалось принимать так-то и так-то, иметь то-то и то-то, на дачу выезжать в определенное время и в определенное же возвращаться в город, – ритуалами была пронизана жизнь в любой угасающей стране, соблюдение их становилось важнее смысла, и вместо связи, долженствовавшей соединять в монолит всех граждан небывалого общества, остались письма. Революция, как всегда, первым делом отменяла ритуалы, – новые до сих пор не выросли, и потому-то Катька всегда чувствовала свою жизнь немного безвоздушной, а себя саму – ходящей по очень тонкой пленке, под которой воет бездна.

Медниковы писали друг другу отовсюду – кроме, слава богу, тюрьмы, куда никто из них не попадал. С курорта от жены Медникова, выехавшей в Мисхор с сыном, следовали подробнейшие отчеты о погоде, температуре воды, ценах на фрукты (все было лучше, чем в прошлом году в Туапсе). Потом прибавились письма из Мисхора от квартирной хозяйки, с которой Медниковы подружились за время съема квартиры: тут ворвалась свежая струя, призрак духовного аристократизма, у мисхорской учительницы и почерк был прелестный, с наклоном, сдержанный, она была потомственной крымской преподавательницей, никуда с Южного берега не выезжала и пережила тут многое, многое – от заложников и расстрелов (которые смутно помнила, родившись в пятнадцатом году) до бессмысленного и пьяного хрущевского дарения. В ее письмах попадались сообщения о новой повести в «Октябре» или новом спектакле, показанном гастролерами в концертном исполнении. Теоретически, кстати, учительница может быть жива. Я взяла бы ее с собой, вероятно. О, как я хотела бы поговорить с такой учительницей, рассказать ей все, спросить у нее совета, – у меня не было таких учителей, наши учителя отбывали скучную повинность, ненавидели нас и все с нами связанное, и ни о ком из них я не храню благодарной памяти. Разве что

англичанка, с нездешним запахом кисленьких свежих духов, широким английским румянцем на бледной английской коже, москвичка, приехавшая по распределению в нашу спецшколу за год до того, как отменили распределение, – но она была с нами недолго, и доброта ее была от равнодушия, а истинная ее жизнь заключалась в сложных и насыщенных отношениях с загадочным молодым человеком, встречавшим ее после уроков; она уехала, а он остался. Вот кто была действительно инопланетянка.

Как у поселянина есть бог весть откуда взявшийся неизбежный зачин «Во первых строках своего письма», так и у советского среднего класса были строго определенные формулы для курортной, праздничной, армейской и семейной переписки. «Доехали благополучно, устроились отлично». «Погоды стоят хорошие». «Надеемся, что то же и у вас». «Очень много работы». «Сам знаешь, годы здоровья не прибавляют, но потихонечку ползаем». Повторение их, видимо, в самом деле как-то гарантировало неизменность этой жизни, которая, в сущности, тоже происходила на довольно тонкой пленке; все уже столько раз отбиралось, перетасовывалось, менялось, перевозилось на север и на восток, что надо было держаться хоть за какое-то постоянство. К началу восьмидесятых оно narosло: у всех были дачи и дачные заботы, институтские хлопоты за детей, почти у всех – машины, Медниковы до восемьдесят пятого ездили на старой «победе». Поразительна была их привязанность к старым вещам, вот и письма они хранили – не для того же, чтобы перечитывать, но для того, вероятно, чтобы скопить как можно больше свидетельств быстро проходящей жизни. В сущности, и дача с каторжными и не особенно прибыльными трудами по прополке, вскапыванию и отводу вешних вод на участки соседей была нужна для того же. В жизни Чурилиных, Сомоновых и Шалтаев совсем не было метафизического измерения – точнее, оно подразумевалось; все их религиозные способности уходили на поддержание хрупкого уюта, заплетание бездны, и письма были частью культа. Вскоре бездну прорвало. Последние выкрики из хаоса касались дефицитов и подорожаний: Сомоновы лихорадочно выплывали в своем Ленинграде, и черные волны накрывали их; ветер доносил что-то о выборах.

У всех были хобби. Сомоновы путешествовали по стране, ходили в дальние походы – в нынешние времена они, конечно, весь год копили

бы на экстремальный заграничный тур, облазили бы Тибет, проехали на джипе Сахару, но в семидесятые им приходилось ограничиваться собственной страной. Страна была, по счастью, большая, в ней было намешано всего, и у Катки мелькнула кошунственная мысль, что железный занавес, в сущности, не так уж многого лишал аборигенов: не случайно они, выбравшись наконец в Италию, замечали, что Крым лучше. Тут была своя Западная Европа в виде Прибалтики (и русских там не любили точно так же, а то и больше, чем на подлинном Западе); было свое черноморское Средиземноморье, своя иркутская Скандинавия с вечными льдами, непроходящей депрессией и людоедскими героическими эпосами, герои которых, не имея под рукой полноценной природы и полновластно распоряжаясь только собственными телами, глухо зацикливались на физиологии и устраивали над собою разнообразные глумления; были пустыни, горы, субтропики, бешено плодящаяся Средняя Азия, неукротимые усатые племена Кавказа, похожие беспрестанной показухой и фальшиво-двойственным отношением к женственности на столь же неукротимые и фальшивые племена латиносов с их ежегодными военными переворотами, острой кухней и монотонной посредственной прозой. Советский Союз потому и выдерживал столь долгую изоляцию, немислимую для маленькой страны, что вполне мог заменить собою весь мир и для большинства заменял; выехав единственный раз в Болгарию, Сомоновы были, правду сказать, разочарованы. Советский человек за границей потому и бегал в основном по шопам и базарам, что практически любой пейзаж и так был к его услугам. Николай Игорич Медников-старший охотился – от отца, военного летчика, он унаследовал страсть к оружию и мужественным, brutальным развлечениям, хотя бы и в выродившемся их варианте; военному летчику конца тридцатых в этом смысле дозволялось большее – инженер конца семидесятых довольствовался октябрьскими выездами на Оку, в специально отведенные места, в небольшой и небогатой компании. Специализировался он в основном на утках, и его любимая собака Гейда – сибирская лайка – замечательно «работала по ним», о чем он сообщал со скромной гордостью, всегда сопровождающей употребление профессионального жаргона (который, в сущности, только для того и придумывается). Наконец, Шалтаи увлекались комнатным цветоводством и со всей страной обменивались семенами –

присылали и Медниковым то какую-то морозоустойчивую, специально выведенную ипомею, то бесконечный кабачок, от которого сколько ни отрезай, а он себе растет (при правильной, разумеется, подкормке – три части навоза, две торфа, одна суперфосфата).

Все высокие сообщающиеся стороны очень много болели. Здоровье было дополнительным метафизическим измерением, а забота о нем – еще одним способом подоткнуть одеяло, спасти хрупкий уют: жизнь вривалась-таки в существование, навязывала другие точки отсчета, кроме поездки в Болгарию, дачи и ремонта. Болезнь напоминала о чем-то, чего не должно быть. Лечились кто чем мог: Шалтаи от маточного кровотечения рекомендовали отвар растения, сухие листья которого вкладывали в письмо (отпечаток остался поверх строчек, манускрипт Войнич, широкие зубчатые листья и розовый оттиск цветка). Сомоновы пользовали мумиё. Бухтиных увлекала уринотерапия. Все письма были грамотные, со странными и тоже общими особенностями пунктуации: обязательные и ненужные обособления «однако», «тем не менее» и «тем временем» – вообще запятых было больше, чем надо, частая советская ошибка, свидетельство избыточности; лучше перекланяться, чем недокланяться.

Периодически у всех рождались дети и внуки. Иногда это сопровождалось нешуточными трагедиями – в семидесятые годы беременность незамужней дочери воспринималась как позор, об этом сообщали неохотно, хотя в письме Медниковых Шалтаям (сохранился черновик) сквозила гордость и чуть ли не вызов: Марина родила, так называемый отец тут же исчез, ничего, вырастим, тем более что аборт делать было нельзя по медицинским показаниям и сама она уперлась очень твердо, хотя всегда была девочка послушная. С другой стороны, ей все-таки двадцать семь. Мы не стали ей ничего объяснять, хватает ей теперь и собственной головной боли, мальчик крепкий, здоровенький, опасались врожденного порока сердца, но оказалось, просто небольшой шум. Как назвать – еще не решили, она почему-то хочет Сашей, но мы склоняемся к тому, чтобы в честь дедушки, Колиного папы. Этот дедушка как раз и был военный летчик и погиб еще до войны во время парада. Сам Коля Медников, владелец участка, повел себя благородно и на дочь Марину не серчал – в конце концов, не такой у нее возраст, чтобы быть очень уж разборчивой. Как назвали

крепенького мальчика, Катька узнала из следующего письма: победил, понятное дело, дед Коля.

Всего ужасней было то, что иногда прорывалось в этой переписке и нечто живое – «Очень скучаю, особенно ближе к вечеру» в армейском письме Медникова-сына (только в казарме, в больнице да, может быть, в тюрьме может быть такая невыносимая, стонущая, одинокая тоска); или «Часто думаем про вас, дорогие мои, как вы там» в письме Медникова и его матери к его жене и сыну, уехавшим на курорт (в этом трогательном семействе сохраняли все письма – и те, что уходили в Мисхор, потом торжественно привозили домой, дабы объединить в общей хронике; наверняка ведь и фотоальбом вели!). Преобладало же ощущение невыносимой тщеты всего: жили Медниковы, болтались Шалтаи, ходили в Эрмитаж и на Дворцовую площадь Сомоновы, и от всей их жизни осталось только – вот. Предъявить было, в сущности, нечего. Как камешки, с трудом добытые с глубины, письма, вынутые из времени, ни о чем больше не сообщали, кроме того случайного, никому не интересного, что было в них написано. Стоило ли? Ничто ничего не стоило. Нынешний человек не писал и таких писем, разве что отправлял е-мелю по сугубо конкретному поводу, сопровождая ею попутно посылаемый финансовый документ или договариваясь о флешмобе. В семейственной переписке, которую просматривала Катька, лежа на быстро нагретом линолеуме перед печкой, информация играла десятую роль, все главное было за строчками, а теперь не было никакой возможности его оттуда извлечь.

У современного человека не возникало потребности поддержать хрупкий уют – уют треснул навеки, ничем надежным не сменившись; последние обитатели бывшей страны доживали, закутавшись на ледяном ветру в обрывки тогдашних лохмотьев, цепляясь за слова и воспоминания. Истина – то, о чем договорились, а теперь никто и ни о чем не мог договориться. Не было ни правды, ни основы, ни будущего, для которого тоже нужна какая-никакая общность; Катька сама не знала, хочет ли она в то время, но в нынешнем ей не оставалось ничего, кроме ожидания последней гибели. Впрочем, если все равно вставать по будильнику, что толку греться последние минуты под одеялом? Это она ненавидела сильнее всего.

Интересно, читал ли эвакуатор доставшийся ему эпистолярный? Странно, кстати, что хозяева не забрали шкатулку... а впрочем, это как раз естественно. Старик еле жив, а потомков этот хлам не интересует. Письма Сомоновых, Шалтаев и Бухтиных с неопровержимой ясностью свидетельствовали о том, что никто никого не спасет, что спасать, в сущности, незачем – а потому эвакуатору и не нужно особенно напрягаться; ужасно, наверное, знать, что все вокруг тебя обречены, – и единственным утешением остается ничтожество всякой жизни. При таких раскладах нечего особенно заморачиваться с выбором – спаси методом тыка того, кого сможешь.

Что-то его долго не было. Неохотно расставаясь с теплом, Катька вышла на веранду, но за окном была сплошная темнота. Сбежал, оставил ее тут... что за шутки?! Тут же она с облегчением услышала шаги на крыльце. Игорь вошел улыбаясь, неся какую-то длинную палку в брезентовом чехле; поставил ее рядом с дровяным мешком, долго запирали за собой дверь, стараясь ничего не запачкать: руки у него были в крови.

– Что с тобой?!

– Только без кудахтанья. Кудахтанье неуместно.

– Ты поранился?

– Кать, нормальные дела. Там одна штука залипла, еле отодрал.

– Какая штука?

– Слушай, полей на руки, а? Ковшик вон... Если я скажу «копулятор», это тебе что-нибудь объяснит?

Катька постепенно успокаивалась. Кажется, он был веселый и все у него получилось.

Он смыл кровь, и стали видны глубокие порезы на пальцах.

– Смотри ты, – уважительно сказала Катька. – Опасная штука?

– Да господи, его ребенок починит. Там только с ионизатором проблема, он неудобно стоит в этой модели. Заварил, и ладно.

– А что это ты принес?

– Наблюдательной Варваре нос оторвали.

– А серьезно?

Они вошли в теплую комнату. Игорь шагнул к печке и сразу увидел открытую шкатулку.

– О. Я гляжу, мы тут знакомимся с обстановкой...

– А нельзя? Ну извини, пожалуйста...

– Почему нельзя, у меня от тебя тайн нету. К тому же это все не мое.

– Ну объясни все-таки, что ты такое принес в дом?

– Ничего особенного. Стартер принес.

– А зачем?

– Я его хочу с утра немножко посмотреть, при свете. Деталь простая, но от него в конечном итоге все зависит. Надо почистить, топливо залить...

– А куда он вставляется?

– Спрашивающий подставляется. Лучше расскажи, как тебе все эти документы.

– Очень грустно, – честно сказала Катька.

– Да почему грустно? Счастливые были люди, студень варили, в гости ездили. Я прямо завидую.

– И кого бы из них ты взял?

– Никого. Чего их брать, у них все шоколадно.

– А Чернобыль?

– Оттуда и так всех сразу эвакуировали. Кстати, зря. По моим расчетам, все улетело в атмосферу в первые же часы и пролилось над Тихим океаном. Вокруг АЭС был фон, конечно, но не фатальный.

Он подбросил еще дров, выгреб золу и долго смотрел в огонь. Потом неожиданно сгреб в кучу все письма, скомкал их и зашвырнул в печку через верхнюю дверцу.

– Игорь! – ахнула Катька. – Ты что! Зачем?

– Да ну, дрянь всякую... Я считаю, ничего не должно оставаться.

– Это же не твое!

– Были бы нужны – забрали бы.

Две дюжины чужих жизней скорчились и вылетели в трубу.

– Нет, я все-таки не понимаю...

– Ну и зря. Все надо жечь. У нас никогда никаких документов не хранят.

– Почему?!

– А зачем? Что они тут создают иллюзию жизни? Жизнь в другом. Берегут друг друга, сохраняют письма, перевязывают ленточкой... Надо уметь прощаться, уметь все рвать. А жизнь всех этих Медниковых-Болтаев мне вообще отвратительна. Какое-то ползанье. Ничего не жалко. Здравствуйте, дорогие мои, пишу вам из Мисхора,

погоды стоят хорошие. Вчера записался на процедуры, просил контрастный душ, но большая очередь, в результате согласился на стрельбы и подъем переворотом, но не сумел выполнить норматив и теперь буду с сержантом тренироваться по утрам. В последнее время спина болит меньше, но плохо двигается левая рука и трудно дышать по ночам, советовали растираться желтком яйца с сахаром, потом добавить три капли коньяка, стакан муки и щепоть корицы и запекать до появления хрустящей корочки. У меня все хорошо, помидоры стоят рубль кило, в прошлом году были восемьдесят коп., но говорят, что теперь просто нет урожая, потому что Люда вышла замуж за своего институтского товарища Петю, приводила к нам, очень милый мальчик, хотя немного заносчивый и, кажется, увлекается очень музыкой. Больше мне не пишите, потому что в живых все равно не застанете, а те бусы, которые ты, Маша, взяла у меня, когда в прошлый раз гостила, а сказала на домработницу, пожалуйста, носи, если они тебе нравятся. Ваш муж и отец. Ненавижу родственные связи. Вечно быть обязанным чужому, в сущности, человеку, с которым тебя связывает только кровь... Если это жизнь, то я землянин.

– Значит, ты землянин, – сказала Катька. – Я всегда догадывалась.

– С кем поведешься, мать, с кем поведешься... Я до сих пор боюсь, что это заразно.

Помолчали.

– Игорь! А не может так быть, что вы отбираете... ну, типичных представителей? Для научных нужд?

– Типичных представителей не бывает, – назидательно сказал он, глядя в огонь. – Никаких нет средних значений, и все, что в вас есть типичного, – наносное. Там сразу слетает, так что изучать надо здесь. В среде. Вот эти письма – среды нет, и кто поймет, про что там написано? А ведь они друг друга любили или не любили. Одни другим старались показать, как надо правильно жить. Другие осторожно спорили насчет советской власти. Это все как-то там рассыпано, но сейчас не читается.

– Да, я заметила.

– Ну и с вами так же. Это же все адаптивные вещи – все, что здесь определяет среднего человека. То, как он устроен, то, что он ест... Там все слетает, и вылезает настоящее. Все ваши подразделения очень условны, почему у вас и нет нормального развития. У вас нет никакого

критерия для хорошего или плохого человека. От убеждений это не зависит. От положения тоже. Скажу тебе страшную вещь, но ведь злых и добрых тоже не бывает. Совершенно дутое разделение.

– Как – не бывает?

– Обыкновенно как... В одних условиях делаешь добро, в других зло. Одному человеку сделаешь все, а другому ничего. Добро – вообще выдуманное слово, у нас его нет в языке.

– А какое есть?

– Ну, много. У нас богатый словарь. Некоторые даже пишут, слишком богатый. Говорят, что избыточность – признак упадка. Но я не думаю. Мне кажется, чем сложнее, тем богаче.

– И как у вас называется добро?

– Мы не говорим «добро», мы говорим «благо». Ыгын. Очень четкий язык, математически простроенный. Некоторые даже говорят, что его мог дать только Бог – сам он не мог в такой четкости сложиться.

– А зло?

– И зла нет. Что такое зло, скажи на милость? Есть грех последовательного и сознательного мучительства ближних, вызов Богу – урджун, свойство очень редких персонажей, которых я вижу за торгон, то есть за версту по-вашему. Есть трусость, которая, в сущности, ограниченность ума.

– Почему? Бывает физическая трусость. Страх, допустим, грозы.

– А-а, – он махнул рукой. – Это все физиология. Слушай, ты есть не хочешь? У меня бутерброды.

– Нет, почему-то нет. Это все твоя трава. Как ее?

– Крын-тыкыс, по-вашему покой-трава. Давай спать, наверное. Завтра рано вставать.

– Нет, давай целоваться. Мы никогда не целовались в усадьбе, вот так, совсем без никого. Давай ты будешь граф, а я буду простушка.

– Нет уж, – сказал он устало. – Игры кончились. Давай ты будешь Катька, я буду Игорь, и у нас есть неделя. Плюс вся остальная жизнь.

– Ну давай, ну пожалуйста! Все остальное потом, а сейчас целоваться. Я так тобой горжусь, ты такой у меня умница. Ионизатор починил. Копулятор. Сделал ему ыгын.

О, как она любила его, как увивалась, оплеталась вокруг него, как умоляла всю троицу – Кракатука, Аделаиду и Тылынгуну, чтобы он

сказал ей: да ладно, на этот раз обойдется, давай останемся здесь все вместе. Но он был уже не с ней, не только с ней. Он уже чинил свою лейку, прикидывал вес, соображал, как и кого забрать. Только среди ночи она кое-как его растопила, он стал отзываться на все, как обычно, и был уже только с ней; скоро она заснула – и проснулась, как от толчка, в самое поганое ночное время, к пяти утра.

Игорь спал, повернувшись к Катьке спиной; он любил спиной чувствовать ее тепло. Печь прогорела, он успел ее закрыть перед тем, как лечь. Уже ползал вдоль стен, где-то снаружи, первый призрак утреннего заморозка. За хрупкими стенами медниковского дома шла почти ощутимая, страшная работа по превращению реальности в нежилую. Здесь это чувствовалось острее, чем в Москве.

Было ясно, что на дом опустился морок, чтобы никто не почувствовал перемены. Катька случайно подглядела происходящее, и теперь ей не было спасения – ее заметили. Игорь дышал чуть слышно, непонятно было, спит он или без сознания. Могли с ним сделать что угодно.

– Игорь, – она толкнула его локтем. – Проснись, пожалуйста. Мне страшно.

– Пришли и сказали – дитя, мне страшно! – пришли и сказали, что он уходит, – отозвался Игорь неожиданно бодрым голосом, словно и не спал. – Взяла я лампу – дитя, мне страшно! – взяла я лампу и пошла к нему. У первой двери – дитя, мне страшно! – у первой двери пламя замигало. У второй двери – дитя, мне страшно! – у второй двери пламя заговорило. У третьей двери – дитя, мне страшно! – у третьей двери пламя умерло. А если он возвратится, что мне ему сказать? Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать.

– Ой. Ну вот, теперь мне совсем страшно. Что это такое?

– Это наша песня, в моем вольном переводе. Старая, народная.

– Господи! А о чем пламя заговорило?

– Никто не знает. Ну, там рыцарская такая сказка, страшная. Из нашего фольклора. Про мертвого жениха. Он к ней приезжал, а потом всегда уходил, и она никогда не могла его уговорить, чтобы он остался на день. Всегда исчезал на рассвете. А она засыпала и пропускала момент, когда он уходит. Тогда она подговорила служанку разбудить ее, когда он будет седлать коня. Ее разбудили, пришли и сказали, что он уходит. Дитя, мне страшно. Однако взяла она лампу и пошла к нему.

Дальше пламя проделало все эти штуки, а он все равно вскочил на огромного черного коня и ускакал. И она поняла, что он мертвый.

– И он больше не вернулся?

– Не-а, никогда.

– А ты живой?

– Дитя, мне стра-ашно! – сказал Игорь загробным голосом.

– Тьфу! Не шути так. – Катька прижалась к нему.

– Ты чего не спишь? Завтра встать рано.

– Уже сегодня. Не могу спать. Я вообще в чужих местах плохо сплю.

– Оно не чужое. Оно мое.

– Знаешь, вот это тоже твое, – она погладила и слегка сжала кое-что, – но относительно меня все-таки чужое. Понял разницу?

– Понял. И что, Альфа никогда не станет тебе домом?

– Посмотрим. Я никогда не была на Альфе. Москва же мне стала домом в конце концов, хотя я и любила Брянск, а здесь мне было ужас как противно первое время... Если ты будешь очень крепко меня любить, все мне объяснять и показывать, я приживусь и на Альфе. Почитай мне еще какие-нибудь местные стихи.

– Сейчас, – сказал Игорь. – Это можно. У нас, знаешь, даже курс был специальный – стихи для запоминания, чтобы меньше тосковать по родине. Ну вот, например. Среди пыли, в разохшемся доме, одинокий хозяин живет. Раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Гром ударит ли с темного неба, или юркая мышь прошмыгнет – раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Но когда молодую подругу нес в руках через самую тьму – он прошел по одной половице, и весь путь она пела ему.

– Слушай, как волшебно. У вас очень странные стихи. Это ты сам?

– Нет, я только перевел.

– Ой, а прочти в оригинале!

– Вот еще. У нас стихи без музыки не исполняют. Там столько тонов, интонаций... Очень трудно переводить.

– Ну, давай хоть по-русски.

– Спи, Мария, спи. Воздух над тобой до высот небесных полон тишиной. Дерево в ночи – изваянье дыма. Спи, Мария, спи.

Пробуждения нет. А когда потом мы с тобой проснемся – разбегутся листья по тугой воде.

– Господи, как странно. И какая тоска. Она умерла, да?

– Почему, не обязательно. Я думаю, она впала в какой-то особенный сон, а потом очнется. Только это будет не там, а где-то в другом мире.

– А как по-вашему Мария?

– Так и будет. Это наше имя. Очень древнее. Большинство ваших имен, собственно, наши, только потом на разных континентах появились разные произношения.

– Погоди. А ссыльные из вашего рая – это только русские или все вообще?

– Да конечно все. Просто их заселили в одно место, а потом они расплодились постепенно.

– И где это место? В Африке?

– Типа того. У нас разные источники по-разному говорят.

– Ну, еще почитай.

Он перевернулся на другой бок, лицом к ней.

– Над родиной качаются весенние звезды, реки взрываются, любимая моя. Грачи ремонтируют черные гнезда, и мы еще живы, любимая моя. И мы еще живы, и мы еще молоды, берут меня в солдаты, любимая моя, и если ты не сдохнешь от голода и холода, мы еще увидимся, любимая моя. К далекой границе меня посылают, но мы еще посмотрим, любимая моя, и если полковник меня не расстреляет – мы еще увидимся, любимая моя.

– Ну нет, это явно земное.

– Вот и нет, – сказал он. – У нас тоже воевали, только давно. Эта песня – очень древняя, одна из самых. Записана в Черных Горах, это у нас воинственное место. Там такое племя жило – вроде ваших чеченцев. Замирилось последним, до сих пор воинственные традиции целы. Я тебя свожу.

– А на чем у вас передвигаются?

– Да на чем хочешь. На выртылетах по большей части. У них очень красивые песни, в горах. Удивительно даже – воют все время, находят в этом радость, а песни ужасно тоскливые. Я иногда думаю – надо будет работу об этом написать, когда вернусь, – что они специально и воют, ради песен. Потому что иначе не о чем будет

писать такое грустное. Воевать не хочется, а без этого невозможно так тягуче грустить. Ну это как мафия – она ужасно любит вдов и сирот и поэтому все время увеличивает их количество, чтобы было кого облагодетельствовать.

– Точно. И что они поют?

– «Мать уронит свой кувшин, свой кувшин, свой кувшин. И промолвит – ах, мой сын, ах, мой сын, ах, мой сын». Это когда ей скажут, что его убили.

– Да, да, я поняла. Но скажи: давно вы сюда летаете?

– Почти с самого начала. Как стало ясно, что от каторжников могут рождаться приличные люди, так сразу и начали.

– Почему же вы их всех не забираете?

– Потому, – терпеливо объяснил он, – что эвакуаторы забирают людей только во время больших катаклизмов. Если просто из повседневной жизни забирать всех хороших, тут жить станет невозможно, правда же? Мы даже не всех хороших забираем. Только тех, для кого катаклизм стопроцентно смертелен.

– То есть для меня он... да?

– Ну нет, – смутился он, – с тобой иначе. С тобой личный выбор.

– Чей? Твой?

– Ага. Но вообще-то... – Он почесал нос. – Вообще, если честно, ты действительно не выдержишь, по всей вероятности.

– Чего не выдержи?

– Всего. Если и выживешь, это уже будешь не совсем ты. Так что эвакуатор зря не влюбится. С такой чуткостью здесь обычно не рождаются, а в самые дурные времена просто не выживают. Человек настолько все понимает, что простодохнет сам, и все.

– И откуда я такая? Может, вы кого-то по ошибке сослали?

– Может быть, – вздохнул он. – Всякое правосудие несовершенно. Хотя, вообще-то, это редко, почти никогда. Преступники знаешь какие чуткие бывают? Карманники в особенности...

– Да, упустила я свое счастье. Не та карьера.

– Из меня бы тоже получился бандит, – заверил он. – Если меня так тянуло на Землю, это неспроста же, верно?

– А когда мы поселимся у вас, ты будешь часто улетать?

– Никогда в жизни. Я же тебе сказал, женатый эвакуатор – потеря квалификации.

– Мне кажется, ты все равно будешь куда-то деваться. Не тот ты человек, чтобы оседло жить. А я буду скучать одна, без профессии.

– Почему без профессии? Рисовать будешь. Ты очень прилично рисуешь, кстати. У нас графические редакторы немножко другие, но освоишься.

– А что, журнал «Офис» у вас тоже есть?

– Нет, Кракатук миловал. А ты не мыслишь жизни без журнала «Офис»?

– Что ты, что ты. Нам, татарам, совершенно без разницы. Лишь бы не даром барласкун есть.

– Это можешь быть уверена. У нас лишних нет. Может, мы еще немножко поспим, а?

– Ну погоди, Игорь, – заныла она. – Мне уже почти спокойно. Поговори еще, что ли. Я уже почти поверила, что мне там будет хорошо.

– Обязательно, – сказал он. – Тебя и учить нечему, ты со мной два месяца, привыкла, наверное.

– Что да, то да. Я только боюсь, что ты там будешь другой.

– Самую малость. Для тебя всегда буду, какой захочешь. Какой скажешь, такой и буду. У нас же там это запросто. Люди любую форму принимают, нас учат специально. Почти все умеют, и ты научишься.

– Ой! Прими, пожалуйста, какую-нибудь форму!

– Шиш. Я и так сейчас в форме землянина. Знаешь, сколько мне потом обратно превращаться? – Он взглянул на свои светящиеся часы, которые с вечера положил на мраморную полку желтого торшера. – Месяц, не меньше, пока совсем трансформируюсь. В земных условиях очень трудно. Ничего, я тебе там покажу. Я столько трансформаций умею – ты удивишься! Вплоть до страуса. Только у нас называется иначе.

– Стрыус?

– Ырфлан, – надменно пояснил Игорь. – Все, все тебе там покажу. А теперь давай спать, пожалуйста, а?

– Давай, давай. Я пока сказку придумаю, а утром тебе расскажу.

– Да, – сказал он сквозь зевок, – это чудесно, ужасно чудесно. Только помни, что это уже не сказка.

– Я помню, – сказала Катька.

VI

Катька сидела напротив мужа и с чувством горькой вины жевала сосиски. Он их добыл с боем, продежурив у магазина с пяти утра. Всякий бодрствует по-своему. Любовь несправедлива. Никто и не обещал, что будет справедливо. Если бы Игорь порезал палец, Катька рванулась бы к нему через всю Москву, а если бы наш муж, не дай бог, чем-нибудь серьезно заболел – ну, тоже бы рванулась, вероятно, но в полной уверенности, что он симулирует и что бежать никуда не надо.

Сереженька с тоскливым умилением наблюдал, как она ест. Видно было, что на этот раз в качестве наказания за долгую отлучку приготовлена пытка кротостью.

– Сергей, – сказала Катька. – А если бы у тебя была возможность взять отсюда пять человек, ты кого бы взял?

– Куда?

– Неважно куда. Считай, в Штаты, или на Землю Санникова. В хорошее место.

– Нет, это серьезная разница. Если в Штаты – одних, на Землю Санникова – других. Тем более что ее нету.

– Но если бы была! – Наш муж был ужасен именно неумением прямо отвечать на вопрос.

– Тебя взял бы, – сказал он с нежностью.

– Спасибо. А еще?

– Еще... – Он поскреб бороду. Катька глядела на него невинными круглыми глазами и ждала. – Мать, само собой. Хотя она бы не поехала никуда. Столько раз можно было, а она не хочет. Говорит, мануальщики там не нужны.

– А еще? Может, Витю Серова? – Витя Серов был наш друг, в точности соответствующий своей фамилии; наш муж не любил окружать себя яркими людьми, предпочитая тех, кто ни в чем не состоялся. Витя много пил и увлекался астрологией, составлял гороскопы всем желающим, из гороскопов никогда ничего нельзя было понять.

– Зачем Витя? – Сереженька кисло улыбнулся. – Он и в Штатах будет говорить, что это не его место.

– Что ж ты с ним никак расстаться не можешь, если все про него понимаешь?

– Да у него и так никого нет...

Ну разумеется: Сереженьке необходимо было ощущать себя благодетелем. Это не ему нужен был Витя Серов – чтобы уважать себя от нуля и даже от минуса, а Витя Серов, значит, нуждался в единственном друге.

– А больше бы никого, пожалуй. А, вру. Щербакова взял бы.

– Типа национальное достояние?

– Ага. Больше тут брать некого.

– Щербаков в случае чего раньше тебя уедет.

Почему наш муж любил Щербакова, было вовсе уж непонятно; наверное, он не отличался в этом смысле от основной массы его противноватых поклонников, находивших в Щербакове источник умилительного самодовольства. Через него они приобщались к чему-то необыкновенно умному, хотя чего там было умного? – перекисший советский романтизм с множеством заморских слов...

– А! Веллера бы взял, пусть байки рассказывает.

Да, Веллер ему нравился, Веллером была заставлена целая полка – идеальный писатель для альпинистов, алкоголиков, компьютерщиков и прочих неудачников; ведь и их разговоры состояли либо из монотонных баек про то, как лейтенант утопил в очке документ и полдня доставал его, либо из невыносимой банальщины на тему «смысл жизни». Веллер попадал в эту таргет-категорию с меткостью самонаводящейся ракеты. Катька представила Веллера в ракете: он с первой секунды начал бы учить Игоря правильно ею управлять. К чертям Веллера, ему и тут ничего не сделается. Придут оккупанты – научит их оккупировать.

Голова ее со вчерашнего утра работала лихорадочно, упорно, маниакально, – она понимала теперь, что такое сознание сумасшедшего. В нем не остается места ни для чего, кроме сверхидеи, все заиклено на ней: в сущности, норма – это и есть разнообразие, способность переключаться с одного на другое. С ума сходит всякий, кто ждет опоздавшего ребенка, всякий, кто прислушивается к боли, оскорбленный, приговоренный, реже влюбленный – нет более противоестественного и гнусного состояния, чем сосредоточенность на единственной, раскаленной болевой точке. Она перебирала самые

абсурдные варианты – спасти первых попавшихся, выкрасть младенцев, пойти в детский дом, расположенный поблизости, и забрать оттуда самых несчастных (кто отдаст?!). Отчаявшись определить критерий несчастья, она додумалась до страшного – несчастные и здесь-то были никому не нужны, стоило тащить их на Альфу Козерога! Хуже всего тут было самым ненужным, словно местный Кракатук – в которого Катька не верила по-настоящему только потому, что не могла его себе представить, – заранее все предусмотрел: для всех полезных людей были варианты спасения, а дураков и слабаков безжалостно отбраковывали. Больше всего болели и хуже всего устраивались те, кому нечем было жить; исключения оказывались единичны. Жить с этой мыслью было нельзя, Катька гнала ее – но всякий раз у нее выходило, что и вся жизнь – одна огромная эвакуация, при которой в будущее попадают только маломальски достойные, а больные и неуклюжие гниют на обочинах. Оставалось понять критерий отбора – не талант же, в конце концов! Выходило, что местному Кракатуку для каких-то его тайных целей нужны только те, кто сознает свою значимость, служители бессмысленных идей, жрецы жестоких культов, – спасались заикливающиеся на своем деле, оголтелые карьеристы, отчаявшиеся одиночки, а любой, кто оглядывался на отставших или протягивал им руку, сам безнадежно отставал, пополняя собою их ряды. Оставалось утешаться, что на земле действует обратный критерий отбора, что отставших отсеивают лишь для того, чтобы быстрее эвакуировать в рай, а выжившие так и будут тупо, упорно, неостановимо брести к выдуманной цели, напрямик в объятия дьявола, – но было слишком очевидно, что эту сказку придумали отставшие, нуждающиеся хоть в каком-то обосновании участи. Катька всегда догадывалась, что главный, Верховный Кракатук, в подчинении у которого находился и ее собственный, маленький, слабый бог – другого она не могла любить, а без любви какая же вера, – преследует одну цель: отобрать сильных, решительных и равных ему по части пренебрежения милосердием. Ее же собственное божество, подчиненный, зажатый бесчисленными проверками и идиотскими уставами эвакуатор, только и мог упрятать в безопасное место нескольких самых слабых, и тут критерий был ясен – Катька отлично знала, по какому принципу он их отбирал. Дело было не в несчастье, болезни или иной ущербности,

а в том, с какой кроткой бодростью, с каким безыскусным весельем они всё переносили, даже, кажется, и не допуская самой мысли об иной участи; этот верховный эвакуатор оберегал и припрятывал только тех, кто, даже будучи выгнан отовсюду, заклепан во узы, сослан в адские области, умудрялся смеяться немудрящей шутке, подбадривать соседа и выдумывать утешительные истории для испуганного ребенка. Мир для таких людей был тем же, чем для Серой Шейки неуклонно сужающаяся полынья. Такой человек в ее биографии был один, и только его хотела она забрать: брянская бабушка, которая ее, по сути, и воспитывала.

Бабушкин дом стоял на окраине города, он был деревянный, двухэтажный и чрезвычайно загадочный. Загадочен был его чердак, хранивший множество тайн, загадочен погреб с его неисчерпаемыми запасами, не менее таинственны были ночные шорохи, поскрипывания, попискивания мебели и половиц; Катька в жизни не видела более одушевленного жилища. Все вещи были с историей, все соседи – с секретом, каждого хотелось расспросить, за каждым проследить, ибо казалось, что стоит им выйти за порог – они вернутся в свой истинный облик, превратятся в доброжелательных и смешных языческих божеств, в мелкую лесную нечисть. Бабушка ими командовала. Сосед справа был явно леший, соседка слева – несомненная кикимора или, быть может, шишига (Катька их путала). Вечерами они сходились к бабушке смотреть телевизор или играть в лото. Лото было древнее, с потемневшими круглыми бочонками, с желтыми карточками, похожими на старинные кредитные билеты, которые Катька видела на витрине краеведческого музея. Смысла игры Катька не понимала, ей казалось, что это только внешнее, маскировочное – на самом же деле в том, чтобы закрывать цифры на карточках медными монетами, был особенный смысл, чуть ли не поддержание порядка в здешних лесах и болотах, которыми владели собравшиеся. Одну карточку закрыли – и в безопасности березняк, другую – и ничего не делается с рекой Десной.

Бабушка, в общем, ее и растила – если понимать под этим словом не повседневную заботу, принудительное кормление и нудное проверяние уроков, а то единственное, без чего все остальное теряет смысл: влияние. Несмотря на все несходства (бабушка была рослая и светловолосая, до сих пор не совсем поседевшая, а Катька маленькая и

черная), характером и вкусами Катька пошла в нее. Обе предпочитали крыжовенное варенье всякому другому, любили картошку с маслом, редиску, суп из тушенки с лапшой – баранину же и копченую рыбу терпеть не могли. Была и другая бабушка, по материнской линии, но ее Катька видела только однажды и родственницей не считала. Она жила в Сибири и даже писала редко. После родительского отъезда (бабушку даже не уговаривали, зная ее упрямство и привязанность к дому) у Катьки в России почти не осталось родни. Все представление о родине свелось к дому на брянской окраине, и больше, по сути, жалеть тут было не о ком. Мысль о бабушке всегда успокаивала Катьку – успокоила и сейчас; конечно, она откажется ехать, конечно, до Брянска паника еще не докатилась, – но теперь уже от Катьки зависело найти слова, чтобы уговорить бабушку. Правда, не совсем понятно было, что случится с Брянском, но, судя по тому, что уже после их с Игорем поездки в Тарасовку вдруг ни с того ни с сего взорвались три дома на окраине Воронежа, враг не собирался ограничиваться Москвой.

А куда я ее везу, в лейке, с новым для нее и непонятным ей человеком? Где гарантия, что мы вообще долетим? Никакой гарантии, одна радость, что мы будем вместе. А как мы до этого жили врозь, обмениваясь редкими звонками и письмами? Последний раз я ездила к бабушке прошлым летом, и то ненадолго. Никаким эвакуатором еще и не пахло, да и никаким концом света тоже. Впрочем, пахло, только в Брянске этот запах, преследовавший меня в Москве, никогда не чувствовался. Его забивал запах антоновки в погребе, левкоев, маков и табака во дворе, сухих трав на кухне. Мой дом был тут с самого начала. Когда сюда приходили родители, они, казалось, были чужими, рушили то, что было между мной и бабушкой. Они вносили сюда веянье мира, в котором мне никогда не было хорошо. Меня у бабушки любили все – кот, дом, соседи, и не за то, что я внучка: прав эвакуатор, никакое родство ни к кому не располагает само по себе. Не в нем дело. Просто я была отсюда, из этого древнего полуязыческого мира, в котором все договаривались с кадкой, землей, забором, погодой – жили в непрерывном дружественном сговоре, а как этот сговор разрушился, так и появилось предчувствие беды. У бабушки мне всегда было спокойно, больше чем спокойно – с ее миром я могла договориться. Пошепчешь – и пройдет. Попросишь – и дастся. У русских была какая-то своя вера, но они ее предали, и брошенный ими маленький бог, не

державший на них зла, теперь страшно ограничен в возможностях: он может помочь только от сих до сих. Мы отдали себя во власть иных, чуждых божеств, с которыми договариваться бесполезно. Теперь они нас уничтожают, а тихие, малые боги наших лесов и болот следят за этим с беспомощным ужасом. Но по крайней мере бабушку, богиню брянской окраины, я отсюда вытащу.

Оставалось четыре дня. Мужа она решила предупредить в последний момент – свекровь, естественно, упрется, но тут уж как-нибудь. Оставалось два места, но о них Катька предпочитала не думать. Подруга Лида? – я здесь-то через два часа не знаю, о чем с ней говорить. Посмотрим. В крайнем случае схватим первых попавшихся. Она до такой степени была поглощена этим противоестественным отбором, что уже почти не думала о том, врет Игорь или нет, взлетит или не взлетит его лейка, – последний шанс есть последний шанс, и о нем лучше не задумываться. Недвижимость в Москве стремительно упала в цене, билеты за границу раскупили на полгода вперед, поезда брали штурмом, срок ультиматума истекал, а Шамиль ежедневно слал письма, нигде не публиковавшиеся, но вполне доступные в Сети: до гибели вавилонской блудницы осталось шесть... пять... четыре дня, и воинам великого джихада смешна самонадеянность беглецов: клеймо свое они уносят на себе.

Надо было ехать в Брянск. У Катьки не было надежды взять билет на поезд – с Киевского вокзала непрерывно отходили автобусы: рейсовые отправляли междугородными маршрутами. Единственным городским транспортом остался троллейбус: метро закрылось во избежание массовой гибели пассажиров в час пик. Доехать до Брянска в автобусе киевского направления стоило порядка полутора тысяч – цена фантастическая, но и она росла с каждым днем. Мужу Катька ничего не объясняла.

– Переждите как-нибудь с Подушей. Я послезавтра вернусь совершенно точно. Бабушке надо помочь.

– Никуда ты не поедешь, – вяло сказал Сереженька.

– Сережа, я поеду. Я не знаю, как она там.

– Кать, сейчас не то время. Ты не можешь... ну что это такое, в конце концов! Мы должны думать, куда из города бежать...

– Сережа, – сказала Катька абсолютно спокойно. Она умела с ним быть спокойной, всегда чувствуя свою силу на фоне его слабости. – Я

тебе говорю совершенно точно: через пять дней мы все уедем отсюда.

– Кто нас увезет?

– Работа моя увезет. «Офис» принадлежит «Дельте», она увозит всех сотрудников с семьями. Здесь у меня твердая гарантия, можешь не сомневаться.

– А мать мою кто возьмет?

– И мать я возьму.

– И куда?

– Понятия не имею. Нам ничего не говорят. Я знаю только, что мы уедем. Пойми, я не могу бросить бабушку просто так. Она меня вырастила, я ее, может, не увижу больше никогда...

– И что мне думать, если тебя не будет послезавтра?

– Я в любом случае буду все время звонить.

Надо было увидеться с Игорем – без этого она уже не могла, он один вселял в нее уверенность и надежду, да и надо же было рассказать ему насчет бабушки, чтобы хоть не сходил с ума, когда она уедет в Брянск. Мобильная связь работает все хуже, вдруг я оттуда не сумею с ним связаться... Игорь ждал ее возле ВДНХ. Выглядел он неважно, бледно, а главное – она никогда еще не видела его таким неуверенным.

– У тебя чего-нибудь не так?

– Нет, все так. Связи только давно не было, – сказал он, глядя Катьку по голове.

– Ну и что это может значить?

– Да все что угодно. Может, уже началась большая эвакуация, наши берут ваших, хлопоты, размещение... В Штатах – слыхала? Ждут, что воду отравят. В Чикаго вон отравили уже.

– Ваших там много?

– Да как везде. Я же всю сеть не знаю. Но что связи нет – это погано. Я все боюсь, что уругус...

– А с чего он вообще может быть, этот уругус? Что там у вас, в благополучном месте, могло случиться?

– Нет, у нас точно ничего не могло. Это как-то связано с нашей службой, с эвакуаторской... Ну не знаю я, Кать, честное слово. Меня просто тревожит, что почты давно нет. Я в некотором смысле вслепую работаю.

– И что ты сейчас должен делать?

– Ничего, обстановку изучать. Я донесения отправляю, а мне робот автоматически отписывает: ваше донесение принято, аккыртын.

– Что такое аккыртын?

– Форма служебной благодарности, типа спасибо за службу. Обычно хоть писали – обратите внимание на то и это. А теперь аккыртын, и будь здоров.

– Но мы летим? – тревожно спросила Катька. – Потому что иначе, сам понимаешь, мне и в Брянск незачем...

– А что ты собираешься делать в Брянске?

– Бабушку забирать.

– Ты уверена, что это нужно? Сколько ей лет?

– Семьдесят восемь, но она крепкая. Она выдержит, я тебя уверяю.

– Да нет, чего там не выдержать... Полет-то вполне комфортный. Просто – срываться с места...

– Что, лучше здесь погибнуть?

– Нет, конечно. Все ты правильно решила. Как ты ее довезешь?

– Доберемся. Триста километров, чего там. Ты меня не теряй, если я не буду звонить – значит, мобила не берет. Сейчас с этим проблемы, сам знаешь.

– Катька, Катька, – повторял он и все гладил ее по голове.

Катька испугалась: вышло, что не она в нем, а он в ней искал теперь опоры.

– Игорь, ты боишься чего-то?

– Конечно, боюсь. Боюсь, как ты поедешь. А мне с тобой нельзя – я должен быть на связи, мне за два дня до старта в Тарасовку надо. Расконсервация занимает семьдесят часов – без меня некому процесс начать. Я бы обязательно поехал с тобой, ты же знаешь. Но надо тут.

– Ой, хоть ты не будь такой кислый!

– Только, Катя, – сказал он уже обычным своим голосом, деловито и твердо. – Если вдруг, мало ли, сейчас всякое бывает... Задержалась ты там, паче чаяния, провела больше двух дней, не успеваешь... На день вполне можно опоздать, просто когда расконсервация начнется – процесс уже станет необратим. Стартовать мы должны седьмого ноября, в одиннадцать вечера ровно. Одиннадцать – оптимальное время, я проверял.

– Почему?

– Ракетчики отбиваются.

– Игорь! Я серьезно!

– А если серьезно, я все главные дела стараюсь делать в одиннадцать. Биоритм у меня такой, еще дома подсчитали. Одиннадцать у меня – пик интеллектуальной активности, стартовать очень трудно, мне вся воля понадобится. Я не летал давно, и так целыми днями тренируюсь сижу. Взлет должен сорок пять секунд занимать, а я за сорок пять едва успеваю двигатель разогреть.

– У вас что, программа тренировочная? – уважительно спросила Катька. – Типа авторалли?

– Да, только круче. Значит, самое позднее в половине двенадцатого, в красный день календаря, ты должна быть на месте – с мужем, бабушкой и кем тебе там еще хочется. Все поняла?

– Все, – кивнула Катька.

– Участок в Тарасовке найдешь?

– Игорь! Мы же вместе туда поедem!

– Вместе или не вместе, а ты учти: последние сутки я должен быть при лейке неотлучно. Там главные процессы в расконсервации пойдут. Так что из Москвы я уеду шестого. Если до шестого сюда не вернешься, сразу езжай в Тарасовку. Со всеми. Я там буду ждать. На всякий случай, если ты вдруг окажешься в Москве, а меня нет, я в своем газетном ящике, внизу, оставлю записку, как и что. Вот ключ, я тебе дубликат сделал. Мне мать всегда так оставляет, если я вернулся откуда-то, а ее дома нет.

– Где?

– Там, на Альфе.

– Хорошо. Но клянусь тебе, я послезавтра буду.

– Ладно. Только осторожней.

Он прижал ее к себе и зашептал в ухо:

– У второй двери, дитя, мне страшно, у второй двери пламя заговорило... У третьей двери, дитя, мне страшно...

– Слушай, – сказала Катька, высвобождаясь из его объятий. – Чего-то мне не нравится твое настроение.

– Оно мне самому не нравится.

– Может, ты чего-то недоговариваешь? Вдруг у тебя этот стартер не сработает, который был в чехле?

– Этот стартер всегда срабатывает, – грустно улыбнулся Игорь. – Он стопроцентный.

– Система защиты дубль пятнадцать?

– Система защиты пять и четыре. Не бери в голову, это я от любви грустный. Ведь несчастная любовь – это что? Это первый, в сущности, класс. Страдания для дураков. Настоящие страдания – это когда счастливая. Вот тогда все уже очень серьезно. Это как раз наш с тобой случай. Сразу начинаешь понимать, как все устроено...

– Купи мне мороженого, ладно?

– Сейчас. – То, что продавалось мороженое, было чудом: это, кажется, последнее, что осталось в Москве прежнего, мирного. – Фисташковых два дайте, пожалуйста...

– И чего ж будет? – испуганно спросила их добрая, широкая мороженщица. (Вот бы кого взять, но наверняка муж, дети, невестки, собаки...)

– Обойдется все, – сказал Игорь, и они, обнявшись, пошли в сторону троллейбусной остановки.

Подошел троллейбус, Игорь с трудом впихнул Катьку в средние двери – задние не открывались, машина была набита битком.

– Позвони! – крикнул он.

– Я скоро! – ответила она.

– Все мы тут скоро, – прокряхтел злобный старикан рядом.

Катька подмигнула и улыбнулась ему.

VII

– И-и, милая моя, – сказала бабушка, прихлебывая с блюдца липовый чай, пахнувший ровно так же, как и двадцать лет назад. – И в сорок первом никуда не поехала, и сейчас никуда не поеду.

Она ни на секунду не усомнилась в том, что все серьезно, и в том, что Катька действительно может ее забрать (версия была – к Катькиным родителям, в Германию); не последовало ни единого вопроса о том, чего, собственно, бояться и что вообще надвигается. Это было у них с внучкой общее – абсолютное доверие к своим: если бы Игорь сказал, что Земля сядет на Луну, Катька поверила бы безоговорочно и стала выстраивать свою стратегию, исходя из этого. Бабушка тоже отреагировала сразу, очень спокойно, и это была именно та реакция, которой следовало ожидать и бояться. Катька успела себе внушить: не упорствуй, отступи, потом начнешь сначала.

– Ладно, – легко согласилась она. – А почему?

– А потому что некуда. У меня знаешь как двоюродный брат говорил? С Колымы не убежишь.

– Ты тоже думаешь, что везде Колыма?

– А что такого особенного на Колыме? Холод только, а так – везде люди.

Катька осмотрелась, словно в поисках аргумента, – они сидели в кухне, у запотевших осенних окон, возле которых валялись сухие осы; с бельевой веревки, натянутой под самым потолком, свисали пучки трав. Бежать отсюда в самом деле было некуда и незачем. Тут царил полный, нерушимый уютный покой. Невозможно было подумать, что бабушка когда-нибудь умрет. Она не менялась, морщин не прибавлялось, речь не портилась, зубы не выпадали, она все так же легко управлялась с домом, находясь с ним в тайном союзе, и дом поддерживал ее, давал силы. Увези ее из дома – и он рухнет, и она зачахнет. Моросил дождичек, сад поник, дорожки в нем развезло. Народу на улице почти не было. Сразу за домом начинался лес – бурый, голый.

– А ты езжай, – сказала бабушка. – Хотя, если б ты меня послушала, я бы тут и мужа твоего приняла, и Польке было бы

неплохо, – дом стоит, люди кругом свои, школа есть... Прижилась бы, ничего. Жила ты в Брянске, не жаловалась.

– Ты сама подумай, что будет. Если Москва погибнет, все остальное недолго протянет.

– А как это она погибнет? В сорок первом не погибла, а теперь погибнет?

– Господи, – вздохнула Катька. – Что ж такое было в сорок первом году, что вы до сих пор все им меряете? Неужели с тех пор не было ничего пострашней?

– Не было, моя сладкая, и не будет.

– Будет.

– Ну, а будет – так и нечего мне, без году восемьдесят, бегать куда-то.

– Без двух.

– Ох разница, ох разница! А чего мне сделается? Дом есть, картошка есть, яблок в этом году стока было, что и жарили, и парили, и до сих пор не съели. Новая власть будет – а какая власть? Что они с меня возьмут? Тут какая власть ни начнись – они через три года все то же самое делать будут. Мне мать рассказывала: отец все говорил – новый мир, новый мир! Трех лет не прошло, как все опять завернуло. Посади американца – он через год запьет, через два проворуется, а через три все сделает как было.

– Эти не американцы, бабушка. Эти просто всех под корень вырежут.

– Да что им старуху-то резать?

– А что им детей взрывать?

– Так ведь то еще, может, не они. То еще, может, само взрывается. Я слыхала, «Маяк» говорил: у нас к две тыщи третьему году все износится и само рушиться начнет. Ну, а оно покрепче оказалось, еще два годика поскрипело.

– И что ты будешь делать, когда все взорвется?

– А ничего не буду. Чай буду пить. Что ты приехала – это очень хорошо, спасибо тебе большое, я последнее время все скучаю, не знаю, как ты там. А ехать куда – это нет. Лучше ты давай сюда, вместе перезимуем, и не заметишь. И Сережу своего вези, он мне как раз забор подправит, а то из Михалыча теперь какой плотник? – Михалыч был сосед, завсегдатай вечерних посиделок.

– Сережа тебе так его поправит, что три Михалыча потом не разберутся.

– Мужика не ругай, – строго сказала бабушка. – Ты сама не ахти какая хозяйка, тоже мне нашлась мастерица. Я помню, как ты у меня яблоки на плите сушила.

– Бабушка! Мне было восемь лет!

– И что? Если руки не оттуда растут, то они на всю жизнь так. Твой отец в пять лет первую скамейку сколотил, она до сих пор у меня целая. И брат твой в отца, а ты не в отца. Я б тебе не то что дитя пеленать, я б тебе щи варить не дала.

– А я пеленала, и очень успешно, – обиделась Катька. – Мне и в поликлинике все говорили: какая умелая мамаша, идеально ухоженный ребенок.

– Ну, не знаю. Когда ты ее прошлый год привозила, она бледненькая была и кушала плохо.

– Мы все кушали плохо, я тоже в детстве не ела ничего. Вспомни, какой спирохетой Мишка был.

– Мишка был вылитый дед, а никакая не спирохета.

– Ну и у меня вполне сытый ребенок...

– Сытый, не сытый, а руки у тебя крюки, это я тебе точно говорю. Как ты ими рисуешь, не могу понять. Шить, вязать – все из рук валилось.

– Ну что ты хочешь, я не люблю шить.

– Люби не люби, а уметь надо.

Так они трепались за липовым чаем с пряниками, купленными в ближайшем магазине, и Катьку все сильнее и глубже засасывала родная брянская жизнь, из которой, в общем, совсем необязательно было уезжать. А что, приехать сюда, захватить Игоря. Бабушка поймет. Нет Москвы – и хорошо, Москва, в конце концов, не всегда была столицей. Перенесут. Стране-то все равно ничего не делается, Россию же нельзя захватить. Она слишком большая, ею всякий поперхнет. Но под всем этим билась мысль, что тут не захват, что тут сама Россия перестала себя выдерживать и принялась разваливаться, – поезд бегал-бегал по кругу и стал наконец терять вагоны, болты, гайки, а вот уже и топка отвалилась, и скоро на рельсах будет лежать бесформенная куча покореженного металла; нас никто не захватывает, мы сами исчерпали свой лимит, да и брянский дом скрипит, шуршит, колышется от любого

ветра... Наши старики больше не спасут нас, никто и ничто не спасет; вся надежда на лейку.

– Бабушка, – сказала Катька. – Пожалуйста, поедem со мной.

– Сказала тебе, не поеду. Тебя приму, всех твоих приму, а сама никуда не поеду. У нас знаешь как: где родился, там пригодился. Деду скока раз предлагали после войны: в Выборг езжай, в Таллин езжай... Никуда не поехал, из армии уволился – майор! – и обратно в Брянск учительствовать. Что ж я теперь? Я уеду – ему и оградку никто не покрасит.

Катька отчаивалась: бабушку было не уговорить. Тут спокойно и тяжело стояла твердыня, с которой ничего не сделаешь – именно потому, что рациональных аргументов у бабушки не было. Дом, да возраст, да кот, да соседи... и наравне с домом дедова могила, которую тоже нельзя бросать, потому что и она такая же естественная часть этого дома, как кухня, чердак, погреб; чердак и погреб вместе... А если конец – то конец всему, старому человеку грех бояться конца; и Катька понимала, что здесь предел ее сил.

– Мы тут все погибнем.

– Ничего, не погибнем. В Ленинграде вон в блокаду жили, кошек ели, не погибли.

– Да пойми ты, что сейчас не то! Сейчас никто тебя не будет голодом морить, взорвут к чертовой матери – и поминай как звали!

– Ты не ругайся, не ругайся.

– Бабушка, я тебе серьезно говорю.

– Ну и я тебе серьезно говорю. Хватит, отъездила. Мне на базар дойти трудно, а ты говоришь – за границу.

– Да от тебя ничего не потребуется! Сядем сейчас в автобус, и всех дел...

– Нет, и не говори. Что ты, Катька, как банный лист к одному месту? Ты и всегда такая была: тебе скажешь раз, скажешь два – нельзя! Нет, она канючит... Помнишь, как ты кролика просила? Каждые пять минут пищит: «Кролик! Кролик!» Мать не выдержала, купила кролика – ты через пять минут смотреть на него забыла.

– Ничего не забыла, я его кормила.

– Ты сыром его кормила, дура пустоголовая! – Бабушка засмеялась басом; голос у нее вообще был низкий, внушительный, сейчас еще и хрипловатый от недавней простуды. – Ой, прости,

Господи! Сыром кролика кормила! И это еще... морковь из земли вырыла и тычет ему! На, кролик, морковь! Грязную, только с гряды, в нос прямо! Ой, Катька, не девка была, а тридцать три несчастья. А чайник на себя как вывернула?

– Я отпрыгнула, – хмуро сказала Катька.

– Отпрыгнула, а руку всю обварила! Дед скок в машину – не заводится, он пешком побежал с тобой на руках в больницу! Сколько повязок меняли, сколько потом к хирургу водили! Всё боялись, шрам будет у девочки во всю ручку, никто замуж не возьмет! Выскочила как милая. Ты зайди хоть потом к Милице Сергеевне, спасибо, скажи, Милица Сергеевна, и замужем, и удачно все! – Милицей Сергеевной звали врачиху, которая тогда в самом деле спасла Катьке руку – а впрочем, Катька ничего этого не помнила, ей было три года.

– Ну ладно, – сказала Катька. – Я пойду пройдуся.

– Чего пройдуся, гляди, дождь какой сыплет! Ложись поспи, ты же всю ночь в этом автобусе тряслась!

– Нет, нет. Погуляю, потом, может, лягу. Я в парк схожу.

– Ну иди, – бабушка встала из-за стола и принялась наводить порядок в кухне. – Дождевик надень.

Как все русские провинциальные города, Брянск отчетливо делился на две части. В центре, где жила Катька с родителями до переезда в Москву, все было похоже на московский спальный район конца шестидесятых: хрущобы, скверы, одинаковые пятиэтажные школы. Ближе к окраинам начинались старинные, деревянные купеческие улицы с двухэтажными домами, оставшимися еще от позапрошлого века, и длинными строениями времен индустриализации в стиле баракко. Катька дошла до улицы Генерала Трубникова, до пятиэтажки, в которой прожила первые семнадцать лет жизни, и не почувствовала почти ничего. Ей казалось, что она тут непременно разревется, но слез не было, и никаких чувств к этому дому тоже не было. В их квартире на втором этаже давно жили другие люди. На балконе висело и мокло под дождем чужое белье, и никто его не убирал – в Брянске царил дух кроткого упадка: трескались дороги, осыпались дома, и сопротивляться было бессмысленно. Около дома толстая некрасивая женщина в очках кричала на маленькую старуху, тоже очкастую; старуха яростно и мелко стучала палкой об асфальт, а

рядом исходила визгом старая, облысевшая собака: это были соседи сверху, здравствуйте, соседи сверху. Так и выгуливаете своего пса, несмотря на дождик. Взять вас отсюда? Может быть, в дивном новом мире, на другой планете, вы полюбите друг друга наконец, мои несчастные, мои жалкие, мои прежде всего противные? Как я брезгую миром, Господи! Не моя ли брезгливость, дойдя до критической массы, погубила его наконец?!

Здесь я ходила одна, много читала, много рисовала, мучилась в школе и мечтала о большой любви, которая настигла меня наконец и теперь увозит на Альфу Козерога, как и положено большой любви. Прощайте все, мне никогда тут толком не нравилось. Я определенно родилась для того, чтобы улететь на Альфу Козерога. Прощайте, потомки каторжников, племена, приговоренные к бессрочной ссылке, — я выхожу по амнистии, мне встретился добрый эвакуатор. Я забрала бы вас всех, если бы не была столь безнадежно уверена, что вы и там себе устроите ад.

Школы Катька не любила и ничего ей не простила — потому, вероятно, что ни одна из ее школьных проблем до сих пор не исчезла, и поди теперь пойми: это в школьные годы чудесные ее научили ненавидеть себя, ждать от людей только худшего, прятать свое лучшее — или сама она с детства, а то и с рождения была такой. Во всяком случае, школа испортила положение до полной неисправимости. Катьке сильно не повезло с классом — не во всякой роте так изобретательно и неотступно мучают человека, как мучили у них; и если взрослому коллективу довольно быстро надоедает изводить кого-то — мало ли других дел, всевозможных отвлечений, ребенок еще не в силах противиться главному соблазну: затравливанию живого существа. Если существо реагирует разнообразно — пытается хорохориться, или гордо не замечает, или отчаянно бросается на обидчика, или, наконец, жалобно рыдает, осознав свое полное бессилие, — игра приобретает дополнительную привлекательность. Приобретенный опыт оказывается бесценен для обеих сторон: мучитель безмерно изощряет чутье на потенциальную жертву и в любом коллективе немедленно выделяет ее, повышая тем самым собственный рейтинг, а страдалец понимает что-то главное про жизнь. Катьке невыносимо было слушать советские песни про школьные годы чудесные, про журавлика, кружащего над нашей

школой, или про девчонку со второго этажа, или про то, из чего же сделаны наши мальчишки: песни эти напоминали ей цветы, растущие в концлагере.

Погода была самая осенняя, морозящая, в школьных окнах желтели лампы дневного света, и чухла на подоконниках та же самая герань, что и десять лет назад. Пахло мокрыми листьями, ранними невыносимыми подъемами, нервной дрожью по дороге. Катька пошла обратно. Около стадиона, на который их водили бегать во время физры, и Катька никогда не укладывалась в норматив, ей встретился человек, которого она менее всего хотела увидеть и вместе с тем именно ради этой встречи, может быть, проделала весь путь до центра. Что-то без нее было бы неполным в Катькиной решимости покинуть Землю. Под дождем выгуливала своего ребенка в коляске Катькина бывшая одноклассница Таня Колпашева.

Таня Колпашева была существом уникальным, опрокидывающим все представления о детстве и зрелости, добре и зле, уме и глупости. Непроходимая тупица по части математических и иных абстракций, перетаскиваемая из класса в класс только благодаря пробивной силе, истерикам и взяткам ее матери, красной и совершенно квадратной анестезиологини пятой горбольницы, Таня отличалась поразительной прозорливостью во всем, что касалось человеческой природы, а точнее – самых омерзительных ее сторон. Катька никогда, даже и среди взрослых, в институтские и послеинститутские годы, не встречала такого цинизма. Таня была самым взрослым человеком в школе – ее ничто не могло удивить, обо всех она знала худшее, только худшего и ждала, и Катьку это странным образом с ней роднило. Чувствуя это подспудное родство, Колпашева мучила Катьку особенно изобретательно – «сделай как себе», говорит официанту опытный клиент, и Колпашева «делала как себе», то есть с полным учетом всех страхов, слабостей и надежд. Колпашева обожала говорить гадости о чужих родителях. Она издевалась над болезнями. Высшим наслаждением для нее было наблюдать чужое поражение и добавлять проигравшему. Кажется, меру своей мерзости Колпашева понимала отлично – проверяя, как долго ее, такую, будут терпеть одноклассники, учителя и небеса. Все три категории наблюдателей, видимо, ее побаивались.

Теперь Колпашева переменялась – постройнела, стала прилично одеваться и умело краситься; злоба, жрущая ее изнутри, не дала ей разбабеть и стать похожей на миллионы провинциальных теток. Теточного в ней была только вязаная шапка, из-под которой выбивались жесткие рыжие пряди. Колпашева была бы даже красива, если бы не выражение усталой брезгливости, с которым она взирала на мир, понимая, что столкновения с ней он может и не выдержать: в нем давно уже нет никакой твердыни, ткни – и развалится.

– А, – сказала Колпашева, сразу узнав Катьку. – Здорово.

Голос у нее был ленивый, сытый, почти благодушный – если бы слова «благо» и «душа» не звучали применительно к ней таким диссонансом. Так кошка говорила бы с мышкой, с которой когда-то не без удовольствия играла и которую никогда не поздно доест. Неприятнее всего выглядела уверенность кошки, что удовольствие было обоюдным.

– Здорово, – сказала Катька по возможности ровно.

– Чего приехала-то? – лениво спросила Колпашева. – Мало мы тебя воспитывали, что ль?

Естественно было бы ждать от бывшей одноклассницы – нет, не раскаяния, конечно, слово «раскаяние» по давню не сочеталось с Колпашевой, но хоть запоздалого дружелюбия, типа как ты там, что за жизнь, ведь мы так славно веселились в давние годы... Катьку тут до сих пор не простили за что-то. Она не знала, что отвечать.

– Ну, чего молчим-то? – спросила Колпашева с неожиданной яростью. – Москвачка. Приперлась тут. То все туда бежали, а как там прижало, так они обратно. Ну ничего, ничего. Приедете вы все, паразиты, мы вам тут покажем провинцию. Будете, бляди, говно жрать.

– Ты-то, я вижу, нажралась, – сказала Катька.

– Поговори, поговори, – сказала Колпашева. – Всех наших соберу, всё тебе вспомним. Мы недавно собирались тут с нашими, тебя вспоминали. Ни одной, говорят, больше не видели такой чаморы. Ни одной буквально. А где она? А в Москве она. Вот ты объясни мне, Денисова: почему как чамора, так обязательно в Москве? Город, что ли, такой чаморский? Вот у меня тетка есть, тетка Майя. Портниха она. Тоже в Москве, прикинь, Денисова. Это не тетка, а не знаю что. Вот я баба злая, это я тебе и так скажу. А нечего тут доброй быть, сама видишь, жизнь какая. – Катька слушала и не уходила, сама не зная

почему; вероятно, потому, что инстинкт художника сильнее страха и отвращения. Когда встречаешь такой клинический, стопроцентно законченный тип – а прекрасное и есть цельность, – уйти нельзя, надо рассмотреть до конца, как рассматриваешь насекомое, хотя бы оно тебя в этот момент и кусало. – Я баба злая, но я своим не насру. Я за своих кому хошь глотку перерву, а на тебя, Денисова, и не плюну, как тебе глотку перервать. Я на тебя, Денисова, нассу и насру вместе с твоей Москвой, но своему не насру. А она всем срет, и матери моей всю жизнь срала, и мужу своему срала, пока в гроб не вогнала, и вот она теперь москвачка. Она теперь портниха, а моя мать в Турцию за дубленками ездит. А она открытки присылает, с новым годом, с новым счастьем. Москвачка ёбаная. Хорош, пожировали. У меня муж ты знаешь кто? У меня муж всему тридцать пятому отделению начальник. Он тебя возьмет на семьдесят два часа, теперь без обвинения можно. Он для паспортной проверки тебя возьмет, по чрезвычайному положению. Он тебя возьмет на семьдесят два часа, – она говорила: «семест», – и я над тобой натешусь. Ох, Денисова, я над тобой натешусь. Я изведусь вся, а над тобой я, Денисова, натешусь. Ногти себе обломаю, а над тобой натешусь. И всех позову, и все над тобой натешимся. А потом под все отделение тебя пустим, и над тобой натешатся.

Она заводилась, как все истерики, от самоповторов, и все сильнее качала коляску, и ребенок в недрах коляски проснулся и заорал.

– Что ж ты мне ребенка разбудила, Денисова? – спросила Колпашева тихим, сладким, угрозным голосом. – Это ребенка ты мне разбудила? Ты разбудила ребенка моего? Ты сглазить мне ребенка хочешь, Денисова, гадские твои глаза? Я тебе, Денисова, выцарапаю глаза твои гадские! Граждане! Милиция! На помощь! Ребенка моего хотела украсть! Хотела непрописанная украсть моего ребенка! Помогите, граждане! Ох ты моя цыпонька, ластонька, рыбонька! Граждане! Украсть хотели ребенка! Ох ты моя лапонька, моя кисонька, моя детонька родная! Родная моя, украсть хотели ребенка! Сука рваная, цыпонька, хотели украсть! Ребенка рваная цыпонька родная сука хотела украсть ласонька семест два по чрезвычайному! Граждане!

Катька не стала дослушивать этот концерт. Она позорно бежала, слыша за собой топот погони, которой, разумеется, не было – весь

район знал Колпашеву, и никто не стал бы сбегаться на ее крики. Колпашева хохотала Катьке вслед, а Катька бежала и бежала, пока не вскочила в первый попавшийся троллейбус. Ей было все равно, куда ехать. Ад был везде – в Москве, в Брянске, в Тарасовке. Всюду ждал куркуль Коля с ментом за плечами, с ребенком наперевес, с Колпашевой в обнимку. Игорь, увози меня куда хочешь. Черт меня дернул ехать сюда. Куда меня везут? Троллейбус заворачивал к вокзалу. Катька выскочила на остановке, поймала таксиста, сунула ему сотню при красной цене полтинник и через пять минут ввалилась в бабушкин дом.

– Что с тобой, сумасшедшая? Лица на тебе нету!

– Отстань, – сказала Катька, пошла в комнату, рухнула на тахту и до ночи пролежала, не шевелясь и не отвечая на расспросы. Ей все казалось, что за ней сейчас придут и возьмут на семест два часа, а там и на всю оставшуюся жизнь – за попытку украсть ребенка, за недостаточную почтительность к Колпашевой, за то, что в девятом классе Катька не могла выполнить норматив по бегу на 500 метров. Самое страшное, что Колпашева называла ее Денисовой. Это была ее фамилия по мужу, а значит, Колпашева за всем следила, читала «Офис», готовилась. Все было не просто так.

– *Ой, извини, пожалуйста. Я правда не знал.*

А какая у тебя девичья? Ты ведь говорила, я забыл.

– *Неважно. Так даже лучше, страшней.*

Между тем никакого дела до нее Колпашевой, конечно, не было. Она получила лишнее подтверждение своей власти над москвичкой и еще восемь лет могла жить в родном Брянске в полное свое удовольствие.

Но ужасней всего была догадка о том, что полная власть Колпашевой над Катькой и беспомощное Катькино изгойство были как-то связаны с эвакуатором, с изменой и незаконной любовью – с той непобедимой внутренней неправотой, которая и делала Катьку такой уязвимой. Если б не Игорь, она, мужняя жена, конечно, нашлась бы что ответить. Теперь у нее не было никакой опоры и никаких прав, и всякий мог с ней сделать что угодно.

VIII

В шесть утра их с бабушкой разбудил стук в дверь.

– Кто? – сипло со сна крикнула бабушка.

– Милиция!

– Участкового черт принес, – пробормотала бабушка, шаркая к двери. – Ну чего тебе еще? – крикнула она, не спеша отпирать.

– Это за мной, – прошептала Катька. Ее колотила неудержимая дрожь, и остро болел живот.

– Да ладно.

– Открой, Кира Борисовна, – твердо сказал участковый.

Господи, господи, думала Катька, и чего меня сюда понесло?! Бабушка все равно не уедет...

– Измена, Борисовна, – сказал участковый, входя. На улице шел дождь, на менте был серый форменный плащ, и на пол с него натекала лужа. – Спасаться надо.

Боже мой, подумала Катька, какая еще измена? Когда я успела изменить не только мужу, но и Отечеству?

– Спасай, Борисовна, – повторил участковый. Он был совсем молодой, наглый, но в душе явно испуганный. – Пробило на такую измену, что жить не могу. А спиртное, сама знаешь, теперь с трех. И ночные все закрыли.

– Что ты все пьешь, Бакулин, ты мне скажи? Твой отец у моего мужа учился, приличный был человек.

– Борисовна! – повысил голос участковый. – Я власть, Борисовна! Я такого могу наделать... Мне если сейчас померещится, я ведь стрелять начну!

– Ну так ведь сам же видишь, что нельзя тебе. Что ж ты хлещешь?

– А от измены и хлещу, – словно удивляясь самому себе, ответил участковый. – Везде измена, и у меня измена. Я стрезва подумаю – как служить? И за голову хватаюсь. А потом примешь – и до утра ничего. А утром измена.

– И нету у меня ничего, и шел бы ты, Бакулин, улицы обходить...

– Я и обхожу. Злоченцев не обнаружено.

– Кого не обнаружено? – спросила Катька, до самого подбородка натянув одеяло.

– Злочеченцев, – повторил участковый и пошатнулся. – Борисовна, я за себя не отвечаю. Я кого пристрелю – ты виновата будешь.

Кряхтя и шепотом ругая Бакулина скотиной, бабушка достала из-под стола белый бидон, осторожно налила полстакана золотистой жидкости и протянула участковому.

– Яблочный? – спросил Бакулин. – Люблю. Конфетка есть?

– Занюхаешь, – огрызнулась бабушка, но достала из буфета пряник.

– Благодарю за службу, Борисовна! – рявкнул Бакулин. – Ты Отечество спасла!

– Дуй давай отседова, девку мне разбудил, – проворчала бабушка.

– Что за девка? Почему не знаю? – заинтересовался участковый. – Почему не регистрировалась?!

– Слушай, Бакулин! – рассвирепела бабушка. – Если ты еще и куражиться тут будешь надо мной, я сегодня же к начальству твоему пойду! Это внучка моя, дубина ты стоеросовая!

– Борисовна! – вовсе уже наглым голосом воскликнул участковый. – Ты на представителя власти... Как ты можешь, когда я жизнью рискую!

Спиртное действовало на него мгновенно.

– Между прочим, – решила Катька срочно выручить бабушку любой ценой, – моя подруга – Таня Колпашева. У нее муж в тридцать пятом отделении работает, в центре. И он может вам такое устроить за ночное нарушение неприкосновенности жилища...

– Чево? – в крайнем удивлении переспросил мент. – Колпашева? Не смейся людей. Колпашеву весь город знает. Эта подстилка никому с двенадцати лет не отказывает. Муж! Откуда у нее муж? У нее мужа сроду не было, она из вытрезвилочки не вылезает! Ее уж зашивали два раза! Чего-то вы врете, девушка. Вы, наверное, Черная Фатима... А вот мы сейчас посмотрим...

– Ты! – низким голосом крикнула бабушка. – Я тебя смотреть живо отучу! Ну-ка, кругом! Во внуки мне годишься, пьянь подзаборная! Думаешь, управы на тебя нет? Ни к кому не пойду, сама кочергой башку проломлю!

Надо сказать, когда бабушка злилась, она выглядела внушительно.

– Пошутить нельзя, что ль, – буркнул Бакулин, оказавшийся при ближайшем рассмотрении рыжим и веснушчатым. – Иду, иду. Спасибо, Борисовна, прости, что разбудил.

– Бог простит.

– А внучку ты все-таки пришли зарегистрироваться. Сама знаешь, чрезвычайное положение.

– Пришлю, пришлю. Иди.

Он тяжело спрыгнул с крыльца и зашлепал по мокрой садовой дорожке.

– Говорила я тебе, поехали со мной, – сказала Катька. Она снова легла и теперь пыталась согреться, но дрожь не проходила. Грех признаться, Катька чувствовала огромное облегчение. Она в самом деле была убеждена, что теперь ее возьмут. Ей нетрудно было себя в этом убедить, особенно когда она чувствовала себя затравленной, бездомной и кругом неправой. Игоря рядом не было, а без Игоря она теперь ничего не могла – из прежней жизни выпала, в новую еще не улетела.

– Как я поеду, Катерина? Без своего дома на старости лет как жить? Что я буду делать, кому там буду нужна? Я в Москве больше дня не выдерживаю, а тут Германия!

– Не Германия, – сказала Катька. – Бабушка, я тебе могу теперь сказать. Там другая планета.

Кажется, вывести бабушку из прострации уже не смогло бы ничто, но при этих словах она встрепенулась и уставилась на Катьку в крайнем изумлении.

– Инопланетяне, что ль? – спросила она.

– Ну.

– Ты спи, спи, – засуетилась бабушка. – Это пройдет у тебя. Разбудил, черт драный. Совсем девка рехнулась, спи давай. Может, и не будет еще ничего.

– Бабушка! – Катька села на кровати. – Если бы все не было так серьезно, я бы за тобой не поехала, понимаешь? Но деваться некуда. Он меня предупредил.

– Кто?

– Инопланетянин мой. Я люблю его. Ты тоже полюбишь. Он нас и спасет.

– Катька, девонька, – сказала бабушка тревожно и ласково, как всегда говорила, когда всерьез боялась за Катьку. – Ты подумай, чего ты говоришь-то. Ладно бы я, старуха, в такую ерунду ударилась, а ведь ты с высшим образованием.

– Я поэтому и знаю, бабушка. Клянусь тебе чем хочешь. Богом тебе клянусь, – Катька перекрестилась на бумажную икону Николая Угодника.

– Не клянись! – строго сказала бабушка.

– Да если ты иначе не веришь?!

– Да чему верить-то, дура ты пустоголовая! Как еще ты с такими мыслями завиральными одна ездешь! Ведь тебе скоро черти мерещиться начнут!

– Господи! – заревела Катька. – Ну как мне еще тебе объяснить?! Почему ты не можешь мне поверить ни в чем? Я ведь за тобой приехала, у меня в Москве дочь, между прочим.

– Вот видишь, сама говоришь: дочь! Нарожают, а потом с ума сходят. Ты держи себя в руках-то! Мало у нас чего взрывалось, ничего, жили...

– Ага, – сказала Катька. – В сорок первом вон...

– И в сорок первом! – обозлилась бабушка. – И потом всякое было, ты не знаешь, а люди рассказывали! Что ты распускаешься так, жизнь – это тебе не игрушки! В руках надо себя держать, вот что!

– Я лучше тебя держу! – огрызнулась Катька. – Я правду тебе говорю! Он же предупредил меня, он все знает. Они давно наблюдают. Он меня любит и хочет забрать отсюда.

– А мужа ты куда денешь? – Это был хороший знак, бабушка уже допускала возможность инопланетянина.

– И мужа с собой возьму.

– Да как вас выпустят? Он же небось давно рассекреченный, за ним небось в двадцать глаз наблюдают! Инопланетянин!

– Как раз нет, он очень засекреченный. И мы улетим благополучно.

Некоторое время бабушка молчала.

– Ну ладно, – сказала она наконец. – В Москву я тебя отвезу, потому что одна ты теперь ездить не будешь. Это я тебе ручаюсь. А там посмотрим, что у тебя за инопланетянин.

Кире Борисовне теперь все было ясно. Она понимала, что внучка стала жертвой зомбирующей секты, отсюда и все ее странности: внезапный приезд, одержимость бегством, странное возвращение после прогулки, резкость, непредсказуемые истерики, озноб, слезы по любому поводу и страх перед представителем власти. Все это был чистый результат зомбирования, и в принципе от этого лечили. Вариант был еще не худший – некоторые своих детей обливали водой на морозе в видах закаливания. Но отпускать ее одну, да еще в такое время, было, конечно, невыносимо. Оно и понятно, что ребенок сошел с ума: родители далеко, одна в чужом городе, с мужем там тоже, видимо, не все ладно... Наверняка гуляет, теперь все гуляют. А они, сектанты, пятидесятники, и еще баптисты, и теперь еще, говорят, какие-то иеговисты, всегда забивают клин именно в такие трещины. Они таких и отбирают – одиноких и никому не нужных, вроде как потерявших себя. Потом они из нее выманят квартиру, а может, и ребенка. Ребенка пустят на органы. Эти всё могут, особенно сейчас, в такое время. Катька всегда была шаткая в этом смысле, хотя умом очень крепкая. Разные бывали закидоны, то из дома сбежит, говорит, что будет здесь жить и нипочем не вернется, то мечтает вслух, что хорошо бы школу сжечь. Надо поехать, посмотреть. А то еще хуже – смят ее этой тарелкой, она возьмет мужа, возьмет ребенка, их повезут в лес и там зарежут, а квартиру отберут. Это так всегда и делается, вон и в «Аргументах» писали. Ничего не поделаешь, придется на пару дней оставить дом, если больше некому присмотреть за дитем. Нельзя было Нине с Валерой уезжать, говорила я – Катька одна в Москве пропадет. В Брянске бы я присмотрела, а так – что же я могу? И Кира Борисовна с тоской смотрела на Катьку, которая, конечно, отлично поняла ход ее мыслей и спокойно заснула. Пусть думает что хочет. Ясно, что бабушка поедет только спасать меня – спасать себя эта категория людей вообще не привыкла. Пусть думает, что я сумасшедшая, – лишь бы добраться до Москвы, а там, в Тарасовке, Игорь все ей объяснит. Да и объяснять уже не понадобится – они улетят, и все.

Ни одна машина не останавливалась. Они стояли и голосовали на шоссе, ведущем в Москву, и машин было все больше, словно из Брянска тоже побежали, но никто не хотел подобрать девушку с бабушкой. Дождь усиливался. Катька проклинала себя, Игоря и всех.

Наконец возле них, вильнув, тормознула пустая маршрутка, ездившая по маршруту «Вокзал – Лесная школа». Лесная школа, расположенная километрах в десяти от Брянска, была тут всегда, сколько Катька себя помнила: сначала это был интернат для иностранных детей, отпрысков секретарей африканских и латиноамериканских компартий, потом братская помощь компартиям прекратилась, и там стали селить беженцев из бывших республик, а когда и беженцев прекратили пускать, там сделали обычную школу для трудных и запущенных детей, по большей части умственно отсталых. Лечить их уже не было денег, и в лесную школу набивали всех подряд – гиперактивных, имбецильных, испорченных наследственностью, не умеющих читать, считать, говорить, думать... Из элитного интернат стремительно превратился в отстойный – на самом деле именно такое превращение и происходит чаще всего, поскольку обычному до отстойного еще падать и падать, а элитное с ним почти смыкается. Но педколлектив оставался тот же самый, ему некуда было деваться, и преподаватели со знанием португальского, полинезийского и суахили медленно спивались и оскотинивались на руинах своего интерната, который медленно обрушивался и дополнительно разрушался усилиями имбецилов. Одно время Никита Михалков заинтересовался роскошным некогда зданием и попытался устроить там кадетский корпус, но городские власти уперлись: девать имбецилов и педзапущенных было некуда. Маршрутка ходила туда теперь редко: те из родителей, кого еще не лишили прав, должны же были хоть иногда навещать своих отпрысков. Сейчас эта маршрутка шла пустая, и за рулем «газели» сидел румяный толстый мужик лет сорока пяти. Он широко улыбался, потому что мокрые Катька с бабушкой в самом деле представляли собой забавное зрелище, если смотреть на них глазами доброго, милого такого человека. Такого честного, с чистой совестью.

– Садитесь. Куда вам?

– Шеф, – быстро сказала Катька. – Плачу две, до Москвы. На месте еще две. Это все, что есть, серьезно. Но мне надо сегодня в Москву.

– Всем надо, – весело сказал шофер. – Поездов-то нету. А мне в Интердом надо. У меня маршрут.

– Ты же видишь, никто не едет. Зачем тебе в Интердом?

– Маршрут, – повторил водитель. – Вы садитесь пока, там поговорим.

Они забрались в «газель».

– Шеф, поехали, пожалуйста, в Москву, – умоляюще повторила Катька.

– Вот чумовая, – покачал головой шеф. – Все с ума посходили, все вообще! Сейчас в городе говорят, АЭС взорвалась.

– Сухиничская?

– Ну. А другие говорят, не взорвалась, просто захватили. Радио ж молчит, не говорят ничего. Все музыка и музыка. А если АЭС взорвалась, так до нас облако за два часа донесет, правильно? Вот все и бегут, потому что одна баба сказала, – шофер усмехнулся.

– А ты, значит, по маршруту?

– Ну.

– Давай, шеф, доедем до Интердома, а потом ты нас в Москву отвезешь. Я тебе серьезно говорю, у меня там такое дело, что я никак не могу здесь оставаться. Видишь, у меня старуха на руках беспомощная.

– Какая я тебе старуха? – прикрикнула бабушка, отличавшаяся не по годам острым слухом.

– Видишь?! – подмигнул шеф. – Ничего не беспомощная!

– Шеф, – чуть не плакала Катька.

– Да ладно, – сказал шеф. – На месте разберемся.

Они приехали как раз вовремя – Интердом срочно собирался. Видимо, информация о взрыве АЭС подтвердилась. Педагоги, ругаясь и беззастенчиво отвешивая подзатыльники (попробовали бы они так с детьми братских компартий!), запихивали свой неразумный контингент в единственный автобус, который смогли выделить для детской эвакуации городские власти. Мест в автобусе было шестьдесят, запущенных детей в области – девяносто, впихнуть их в один автобус не было никакой возможности, водитель матерился, двери не закрывались. Наконец вроде влезли все, только один мальчик – даун, насколько могла определить Катька, – все выль на одной ноте, размахивая руками, не хотел ехать, боялся, и старшие дети выпихнули его из автобуса: видимо, он успел сильно их достать. Мальчик вылетел из задних дверей, они наконец захлопнулись, и

автобус с тремя воспитателями и девятью десятками педзапущенных имбецилов валко тронулся неизвестно куда.

– Они что же, не подберут его? – ужаснулась Катька.

– Да очень он нужен кому, – сказал шофер. Он вышел из «газели» и направился к маленькому дауну, который сидел под дождем без движения, не понимая, что произошло и куда все делись.

– Ы, – сказал он шоферу. – У, – и ткнул пальцем куда-то в сторону опустевшего Интердома.

– Да вижу я, что ты оттуда, – сказал шофер. – Теперь-то делать что?

– Ы! У! Ы! У! Ы! У!

– Ну ладно, ладно, поехали. В город тебя сдам.

– Ыыы! – заорал даун, уворачиваясь. Он все показывал головой на Интердом.

– Да цацкаться тут еще с тобой, – ругнулся шофер, схватил дауна поперек живота и поволок в машину.

– Чего он говорит? – спросила Катька.

– Ы, говорит. У, – добродушно сказал шофер.

– Чего ты с ним хочешь делать?

– В город повезу, сдам. Мне же все равно в город обратно.

– Не надо в город. Если его здесь воспитатели выпихнут, там его точно никто не возьмет. Ну сам подумай, все из города, а ты обратно! Поехали в Москву. Тебя как зовут, шеф?

– Боря, – благодушно представился шеф.

– Дядя Боря, поехали. Я его в Москву возьму.

– И куда денешь?

– Найду куда. Есть у меня возможность его увезти. Может, его вылечат там. Только мне обязательно надо там завтра быть, дядя Боря! Я завтра вылетаю, ты понимаешь?!

– Да куда ты его возьмешь? – недоверчиво сказал дядя Боря. – На него же документов нету, ничего!

– Я чартером лечу. В Германию. Поехали, дядя Боря, ей-богу! Две сейчас, две на месте.

Дядя Боря задумался.

– Ну, поехали, – сказал он не очень уверенно. – Может, ты его правда увезешь... Здесь-то он точно не жилец.

– Ы! У! – завыл маленький даун.

Дядя Боря завелся и резко взял с места.

– Нам все равно Сухиничи проезжать, – после долгого молчания сказала бабушка. – Вот и узнаем заодно, чего там взорвалось, чего не взорвалось...

До Сухиничей оставалось километров тридцать, не более. Даун перестал выть и смирился со своей судьбой. Он был маленький, курносый, с пуговичными глазами, сопливым носом и поперечными линиями на ладонях, словно намекавшими хироманту, что у этого клиента нет ни любви, ни ума, ни фортуны, а одна только ровная и благостная линия жизни – прямой бессобытийной жизни высшего существа. Катька всегда боялась детей-уродов, а теперь почему-то перестала. В конце концов, этот даун был теперь единственным оправданием ее бегства. Даже если бы она желала выбрать самого несчастного землянина, ей не удалось бы найти ничего более жалкого, чем идиот, отвергнутый идиотами. Это был не совсем обычный даун. Обычно, как известно, они очень доброжелательны, а этот был страшно раздражительный и все еще оглядывался назад, словно оставил в Интердоме что-то чрезвычайно важное. Правда, больше не был.

Кроме АЭС, выстроенной на почтительном расстоянии от города, в Сухиничах осталось одно работающее предприятие. Это была игрушечная фабрика, знаменитая когда-то на весь Союз производством плюшевых зверей. Теперь этими зверями выдавали зарплату, и работники фабрики толпились на перроне, протягивая к окнам меховых медведей, зайцев и лис. Они надеялись по дешевке продать их проезжающим и тем прокормиться. Катька ненавидела проезжать через Сухиничи – зрелище было невыносимое.

Дядя Боря въехал в город. Там было пусто, пусто в самом буквальном смысле, как бывает в страшном сне. В игрушечном городе не осталось ни одного человека – видимо, про АЭС все было правдой, кто бы ее ни взорвал: чеченцы, вредители или закономерности общего распада.

На вокзальной площади под дождем лежали брошенные игрушки – плюшевые лисы, медведи, зайцы. Катьке хотелось выскочить из машины и подбирать этих несчастных, вымокших аляповатых существ, уродливых, плохо сшитых и никому не

способных принести радость. Она с детства верила, что у самой плохой игрушки есть какая-никакая душа, и, когда ей не разрешили взять домой плюшевого щенка, обнаруженного на месте снесенного дома, она сделала этому щенку домик из картонной коробки и ходила с ним играть, чтобы ему не было одиноко без хозяев. Катька хотела даже остановить дядю Борю, чтобы он подождал минут пять – она успела бы собрать хоть кого-то, нельзя же, чтобы они тут просто так лежали и мокли, – но перспектива нахватать радиации была ей совершенно не по нутру, да и бабушку было жалко.

– Да-а, – протянул дядя Боря.

– Ну? – спросила Катька. – Ты понял теперь?

– Да-а, – повторил он. – Ну, поехали. Я только заправлюсь.

Он бесплатно заправился на брошенной бесхозной стоянке, и «газель» бешено рванула в сторону Москвы. Они не отъехали и двухсот метров, как автостоянка взорвалась.

– Ты чего, спичку бросил? – спросила Катька, почти не удивившись.

– Не курю я, – виновато сказал дядя Боря. – Само как-то.

– Прямо по пятам за нами, – непонятно сказала Катька.

Бабушка молчала, но, кажется, поняла.

Катька непрерывно тыкала пальцами в кнопки мобильного. Связи с Москвой не было.

– Я один живу, – рассказывал дядя Боря. – По четным вожу, по нечетным подрабатываю. Бюро ремонта у нас. Мастерские там, машины, швейные, стиральные, обычные, все по мелочи. Я что хошь починить могу, руки, слава богу, из правильного места растут.

– А у меня из неправильного, – сказала Катька. – Я только если чего нарисовать.

– А жена ушла, – сказал дядя Боря. – И вторая ушла. Чего кому дано, с того и спросится. Я чинить могу, а в женской психологии не понимаю чего-то. Я спокойный, а они любят ударенных.

– Это точно, – убежденно сказала Катька.

Даун заснул. Выражение лица у него во сне было взрослое и скорбное, словно, когда отключалось сознание, он шестым чувством понимал свое истинное положение, но, стоило ему проснуться, опять становился озлобленным идиотом.

И всю дорогу, пока они пронеслись мимо серых лесов, мокрых деревень, наспех сооруженных блокпостов, около которых бессмысленно прохаживались ничего не понимающие, оголодавшие солдатики, Катька слышала вой пространства, тот самый, который впервые стал ей внятен еще по дороге в Тарасовку, в электричке. Пространство выло, смыкаясь за ними, и все, мимо чего они проехали, исчезало: деревни, блокпосты, собаки. Очень много было собак, Катька даже думала взять какую-нибудь. Все они бродили так же бездомно и потерянно, как солдатики вокруг блокпостов. Все ждали подачки, и всем подавали гибель.

Связь появилась только километрах в двухстах от Москвы.

– Сережа! – орала Катька в трубку. – Сережа, иди к Любови Сергеевне! Скажи ей, что мы уезжаем! Я нашла возможность, есть чартерный рейс, «Офис» возьмет тебя, меня, ее и Подушу! Да, я сейчас в Шереметьеве! Я заеду домой и все объясню, вы без меня не выберетесь!

– Почему ты решила лететь? – орал в ответ Сережа. – Ты что, тоже веришь в это все?

– Я не верю, Сережа, я знаю! Немедленно иди к матери! Ты слышишь? Готовь ее, она же не сможет собраться быстро! Сережа, раз в жизни сделай, как я говорю!

– Я схожу, – соглашался Сережа. – Но не уверен, что она полетит!

– Сережа, и положи мне, пожалуйста, денег на мобильный! Если еще можно! Как Подуша?

– Все хорошо.

– Ест?

– Да! Когда ты будешь?

– Через три-четыре часа!

– Три-четыре – это чего-то ты, девушка,хватила, – сказал дядя Боря. – Мы если через шесть будем, хорошо. И то всяких кружных путей надо будет поискать.

Он вел машину очень спокойно, без малейшего напряжения, как будто заранее был готов к худшему варианту и успел прикинуть все обходные пути. Катька не могла нарадоваться на этого шофера. Пару раз он умудрился поймать по радио «Эхо Москвы», но на нем сменились все голоса и заставки, и оно передавало почему-то главным образом репортажи о панике на дорогах Германии и Франции да о

падении курса евро. Насчет Москвы молчали, сообщая только, что по всей стране включилась система «Вихрь-антитеррор» и введен режим террористической опасности, категорически запрещающий выгул собак после двадцати ноль-ноль. Очевидно, со всеми физиками-шпионами уже справились, а может, они свалили, и в распоряжении репрессивных органов остались только псовладельцы.

– Дядя Боря, – осторожно начала Катька, – а вы как насчет свалить отсюда?

– А я что ж, – сказал дядя Боря, – я птица вольная. С женой развелся, дети взрослые. Живу холостяком. Если припрет, что б не улететь? Только куда?

– Это моя забота. Я договориться могу.

Он оглянулся на нее с любопытством.

– Ты-то? Да ты ж пигалица. В тебе мяса никакого нет и внушительности.

– Внушительность в этом деле не главное, дядя Боря. Только учтите, полетим далеко.

– Да у меня денег таких нет.

– Я вас бесплатно устрою. Вы же нас почти бесплатно везете.

– Ничего себе бесплатно. Избаловалась девка в Москве.

– Да какое там. Ясно же, что все эти деньги теперь ни к черту не нужны.

Дядя Боря хмыкнул.

– Это как поглядеть. Ты не спеши, не спеши.

– Но если серьезно – полетим? А, дядь Борь?

– А что, полетим, – сказал дядь Борь. – Только у меня вещей с собой никаких нету.

– И не надо.

Катька уже поняла, что дядя Боря – из тех русских людей, которых так любят интеллигентные евреи, ничего не умеющие делать руками. Дядя Боря был очень для них удобен – он все делал быстро, аккуратно, дешево и с удовольствием. Ему доставляла наслаждение собственная власть над материей, будь то пространство, которое аппетитно пожирала его «газель», или любой механизм, который работал от бензина или соляры. При этом дядя Боря не презирал тех, кому помогал. Он был идеальным соседом и надежным приятелем, очень мало пил, давно не курил и вообще являл собою тот идеал русского

человека, о котором всегда мечтали народолюбцы всех разновидностей. Можно было сказать, что так называемые русские интеллигенты с еврейскими спорили именно за дядю Борю – за то, чтобы он только им чинил машины, водопровод и иногда электричество, а вражескому клану, напротив, не чинил ничего. При этом одни предлагали лишить дядю Борю всяких свобод и обязать его строем ходить в церковь, отдавая честь встречным городовым, а другие желали обобрать его до нитки и внушить ему, что его на этой территории терпят из милости, но и те и другие, в сущности, очень его любили. Оставалось понять, какой смысл во всем этом находит сам Боря и почему такое положение вещей представляется ему оптимальным. Вероятно, оно нравилось ему потому, что избавляло его от сложностей исторического выбора, ибо вся история заключалась в борьбе одних Бориных поработителей с другими, в то время как сам Боря не обращал на нее никакого внимания, примерно раз в столетие от души колотя обоих. Для дяди Бори, умеющего все, починка машины или наладка проводки не представляла никаких трудностей, а для русских и инородных интеллигентов, одинаково безрукой публики, была ножом вострым – так что оба клана очень боялись потерять Борю.

Между тем уже темнело, дядя Боря включил свет и поехал медленней. По мере приближения к Москве попадалось все больше встречных машин со слепящими яркими фарами – в основном иномарки. Столица медленно разъезжалась. Провинция ждала гостей с радостным нетерпением.

В Москву они въехали в седьмом часу вечера.

В городе было тихо и как-то грозно. Все затаились. Кто мог уехать – уже уехал, кто не мог – грабил опустевшие квартиры. Когда проезжали площадь Ильича, Катька заметила небольшую толпу, быстро бежавшую по переулку прямо навстречу их машине. Впереди толпы бежала, что-то крича и размахивая руками, невысокая женщина в черном платке.

– Спасите! – орала она.

– Стой, дядя Боря, – сказала Катька.

– Убьют, – сказал дядя Боря, быстро поняв все.

– Ничего. Тормози.

Катька открыла дверь, и смуглая женщина в платке стремглав запрыгнула в машину. Дядя Боря рванул с места. В заднее стекло глухо стукнулась брошенная кем-то палка.

– Спасибо, – пересохшими губами еле выговорила чеченка. В том, что это чеченка, сомневаться не приходилось.

– Уйти не успели? – сочувственно спросила Катька.

Женщина покачала головой.

– Некуда мне уходить. Я беженка, приехала к брату. В фильтрационном лагере была.

Катька не стала расспрашивать. Слова «фильтрационный лагерь» говорили сами за себя.

– Пряталась, – говорила чеченка. – А тут вышла хлеба купить – и сразу.

– А из города уехать? – спросила Катька. – Или вы думаете, свои не тронут?

– Какие свои? – с горечью сказала чеченка. – Ты не поняла еще, что это ваши взрывают? Ваши делают, а на наших валят.

– Как тебя звать?

– Майнат. Я из Ачхой-Мартана. У нас семья большая, была. Один брат сюда уехал, еще после первой войны. Другого на зачистке увели, и пропал. Сестра у меня была, убили. Обстрел был. Я одна осталась, родители старые, помрут скоро. Я в Москву добралась, у брата работала. Овощами торговала. В Грозном училась, школу кончила, образования другого нет, только торговать. Там жить совсем нельзя. Там ваши такое сделали, что и сто лет еще жить будет нельзя. А теперь здесь на нас говорят. А никакого Шамиля нет давно. Аллахом клянусь! – возвысила она голос.

– Да ладно, – сказала Катька. – Кто теперь разберет. Неважно.

– Убьют меня здесь, – тоскливо сказала чеченка.

– Не убьют, – утешила Катька.

– Что ты знаешь? Ваши люди как звери, хуже зверей!

– Ваши-то больно добрые, – неодобрительно произнесла бабушка.

– Ты меня до центра довези, там высади, – по-хозяйски сказала чеченка, адресуясь непосредственно к Боре.

– Я тебя повезу, куда мне вот она скажет, – неодобрительно ответил дядя Боря. – Я их везу, вот им и решать. А ты не командуй давай.

– Мы поедем потом через центр, – примирительно сказала Катька. – Я только домой заеду, и сразу. Скажи, а ты не хочешь вообще уехать отсюда?

– Нечего ее брать, – сказал дядя Боря. – Тоже небось без документов.

– У меня есть документ, на, смотри! – Чеченка достала паспорт и помахала перед Катькой. – Регистрация есть, все есть!

– Да это вам делают, – неопределенно заметил дядя Боря. – А ты, Катерина, ее все-таки не бери. Чую, тут не то что-то.

– Куда брать? – Майнат даже подпрыгнула на сиденье. – Меня нельзя брать! Я никуда из Москвы не поеду!

– Вот и не езд, – сказала бабушка.

– Ой, ну что вы все, честное слово... – сказала Катька и осеклась. Москва горела.

Дождь к вечеру перестал, и в ранней ноябрьской темноте ближе к центру то тут, то там озарялись красными отблесками угрюмые дома. Желтых, уютных окон почти не было, но темные стекла тут и там вспыхивали алым: покидаемый город тлел, как перед нашествием Наполеона. Пронеслась, ревя сиреной, одинокая пожарная машина – и все опять затихло. Вдруг пламя вырвалось из ближайшего дома, словно до поры огонь еще чего-то стеснялся, но вдруг получил тайный знак, что бояться больше нечего и можно резвиться безнаказанно. Дом мгновенно утонул в пламени, со звоном лопнули стекла, послышался грозный гул.

– Быстрее надо, – сказал дядя Боря и поехал быстрее. – А то действительно, прямо как догоняет кто.

На их улице все было пока спокойно и даже светились несколько окон в роскошном доме напротив. Дом состоял из шести башен, соединенных надземными коридорами, и принадлежал Государственной думе, даже теперь о чем-то себе думавшей, наверное.

– Подождите в машине, – сказала Катька. – Майнат, ты же никуда не спешишь?

– А? – спросила Майнат. Она пребывала в угрюмой задумчивости.

– Не спешишь, говорю, никуда?

– А? Нет.

– Ну, я быстро. Сейчас, дядь Борь, только мужа моего захватим. Я тебе и денег вынесу.

– Да на что мне теперь деньги, – спокойно сказал дядя Боря. – Летим так летим. Только у меня загранпаспорта нету.

– Не надо нам загранпаспорта, – в сотый раз повторила Катька. – Подождите, сейчас спущусь.

Лифт не работал. Правильно. Она стремительно взбежала на свой пятый этаж. Слава богу, они были дома, никуда не сбежали и ждали. Подуша смотрела телевизор. Показывали мультфильмы Сутеева, и позднейимперские зайчики и белочки выглядели такими же несчастными и незащищенными, как те, под дождем, в Сухиничах.

– Мать не поедет, – сказал Сереженька тихо и грустно, как человек, переживший сильное нервное потрясение.

– Почему?

– Она уже уехала. С другим человеком.

– Куда?!

– В Штаты. Ее увозит какой-то секретный мужик, с которым у нее, оказывается, роман.

– И ты не знал?!

– Ага. Представляешь, не хотела травмировать.

– Черт-те что. Какой хоть мужик?

– Я не знаю. Она нас не знакомила. Говорит, что военный летчик. Предлагала лететь с ней, но я сказал, что без тебя никуда не поеду.

– Спасибо, – сказала Катька. – Это благородно.

Черт бы драл его благородство. Пусть бы оставил Подушу и летел на все четыре стороны.

– Ты представляешь? – задумчиво произнес Сереженька. – Сказала, что имеет наконец право на свою жизнь, а до этого заедала мою, но теперь избавляет меня от себя. Не могу больше висеть у тебя на шее. Так и сказала. Представляешь? Значит, она все время думала, что она мне в тягость.

– Может, ты сам себя так вел?

– Ну Кать, ну правда! Когда я себя так вел?

– Не знаю. Орал ты на нее все-таки порядочно.

– Господи, ну мало ли на кого я орал! На тебя, на нее... У нее уже год была, оказывается, отдельная личная жизнь, а я ничего не знал. Ну с ума сойти, да?

– Да ничего не сойти. Она нестарая женщина, у нее может быть своя жизнь.

– А меня, значит, она бросает?

– Сереж, ты взрослый мужик. Опомнись, у тебя свой ребенок. Может она наконец отпустить тебя в свободное плавание?

– Ты ее с самого начала ненавидела, – тихо сказал Сереженька.

– Ладно, думай так, если тебе больше нравится. Собирайся, у нас мало времени.

– Подожди. А как мы полетим? Нужны документы на Подушу, полис медицинский, вещи все для нее...

– Ты еще не собрал вещи?!

– Я собрал, но я думал, тебе видней... ты мать все-таки...

– Сережа! – заорала Катька. – Понимаешь ты или нет, через два часа мы должны выехать из Москвы! Ты вообще сделал что-нибудь или нет, черт, дьявол, или сидел тут в прострации, переживая приступ второго рождения?! Где чемодан?!

– Вот, – он показал раскрытый чемодан, из пасти которого в полном беспорядке торчали Подушины колготки и свитерки.

– Ладно, собирай все, что нужно тебе. Много не бери, у нас там мало места.

– Ты можешь мне наконец сказать, куда мы летим?

– Мы летим в Штаты, «Офис» купил чартерный рейс. Сережа, все надо делать очень быстро! – От отчаяния она затопала на него ногами.

Он принялся вяло вытаскивать из шкафа свои вещи и складывать их в гигантский рюкзак, с которым хаживал в свои любимые походы.

– Пиджак тебе там не понадобится! – заорала Катька. – И костюм не понадобится! Бери теплые вещи, сапоги, носки, только для дороги, остальное купим!

Он так же вяло стал вешать пиджак обратно в шкаф, потом туда же костюм, костюм свалился, он подобрал и тщательно стал его цеплять обратно на вешалку... Катька перестала обращать на него внимание, пошвыряла в чемодан все Подушины вещи (Подуша цеплялась за ноги, прижималась, пищала: «Мама! Куда мы едем?» – «К бабушке». – «В Брянск?» – «Да, да. Брянская бабушка внизу, в машине». – «Мама! А мы далеко?» – «Близко, очень близко»).

– Документы взял?

– А какие нужны?

– Все! – рявкнула она. – Загранпаспорта, просто паспорта, медкарта на Польшку! Там проверки на каждом шагу!

– В Штатах?

– У нас на МКАДе! Мой паспорт не ищи, он у меня. Все, только бутылку воды Польке возьми. И пошли быстрее. Да не из-под крана, Сережа! У нас что, кипяченой нет?

– Нет.

– Ну, набирай из-под крана, черт с тобой. Ты сам не мог об этом подумать?

– Я думал, купим...

– Где, что ты сейчас купишь?! Ты в магазины заходил сегодня?!

– Нет... У нее со вчерашнего дня еще остались йогурты, пудинг я вчера достал тоже...

– Клади к себе пудинг... а, черт, раздавится. Ладно. Все, выходи.

– Подожди. Надо же запереть.

– Ну, запирай.

На улице почему-то стало жарко. Это мне жарко, наверное, подумала Катька. Она тащила за собой кое-как одетую Подушу, вцепившуюся в ее правую руку, а левой волокла тяжелый чемодан на колесиках. Чемодан был старый и ехал с трудом – колесики заедали.

– Сюда, в машину.

– Народу-то почти нет никого, – сказал дядя Боря.

– Правильно, уезжают, – сказала Катька. – Давай, Сережа, садись. Бабушку ты знаешь, это дядя Боря, шофер, это Майнат, моя подруга, чеченка, а это мальчик из Брянска, он не говорит, мы его берем с собой по гуманитарному обмену. – Как, с чего она придумала этот гуманитарный обмен и какая гуманитарная организация могла бы в обреченную Москву прислать американского мальчика в обмен на русского дауна, Катька и сама бы не взялась объяснить, но муж проглотил эту информацию не поперхнувшись.

– Здравствуйте, Кира Борисовна, – сказал наш муж.

– Здравсьте пожалуйста, – буркнула бабушка. – И чего я, дура, поехала, сидела бы дома...

– Досиделась уже до немцев, в сорок первом году-то.

– А и что? И под немцами жили, а дом не бросали...

– Ну чего, на Тарасовку? – спросил дядя Боря.

– Погоди, дядя Боря, – сказала Катька. – Сначала на Свиблово.

– Это куда?

– Выезжайте на Ленинский, дальше я покажу.

Были у нее еще кое-какие дела – и кое-какие кандидатуры на освободившееся место, от которого Любовь Сергеевна так внезапно отказалась благодаря неведомому военному летчику. Вообще, военных летчиков развелось как грязи.

IX

«Люблю люблю буду ждать сколько надо если не дождусь не полечу буду Тарасовке приезжай туда с кем хочешь тоскую умираю вскл единственная самая лучшая приезжай скорее тут нечего больше делать готовлю лейку летим вскл жду люблю не могу могу хочу крышу сносит добирайся скорей верю сумеешь зпт эвакуатор 5.11 . P. S. Если поедешь машиной поворот Тарасовку после Шараповой Охоты двести метров будет указатель потом по бетонке направо дальше найдешь».

За что она его любила – так это за способность шутить в любых обстоятельствах. Даже почерк был спокойный, наклонный, острый. Что ж это, ведь я впервые вижу его почерк. Катька поцеловала записку и аккуратно сложила ее. Значит, он уехал пятого, как и собирался, и теперь активизирует лейку. Вовремя успел, но ждал до последнего. Вокруг уже горело, причем как-то странно – очагами, точками; одни дома еще стояли невредимо, другие тлели, из подвалов валил зловонный дым, и огонь, кажется, распространялся под землей – то ли по коммуникациям, то ли просто сама земля уже понемногу воспламенялась, как торф в жару.

Дом Игоря был пуст, жителей не оставалось – мимо Катьки быстро прошел лысый мужчина, которого она часто видела выгуливающим собаку; на руках он нес постанывающую хрупкую старуху, завернутую в одеяло. Он вынес ее из подъезда, пихнул на заднее сиденье последних стоявших около дома «жигулей», прыгнул в машину, резко стартовал и умчался.

Катька чувствовала ступнями стремительно нагревающийся пол – скорей всего, это была иллюзия, а может, земля действительно горела под ногами, чем черт не шутит. Было семь вечера, время, когда безвредный мальчик, ыскытун, обычно начинал свой безумный танец. Она выскочила из подъезда, махнула дяде Боре, чтобы ждал, и бегом понеслась в длинный дом по Снежной. По дороге она миновала их кафе – то, где работали утопленники из Свибловских прудов. Господи, неужели когда-то они сюда заходили с Игорем? Можно было зайти в кафе, была какая-то почти пристойная жизнь... Как быстро все происходит, боже мой, как быстро: сегодня ты верная супруга и

добродетельная мать, а завтра от твоего дома ничего не осталось, и разрушила ты его своими руками. Сегодня ты столица какой-никакой страны, а завтра трещишь по швам, и на улицы твои прорывается подземное пламя. Когда надо, все делается сразу. По этому признаку и узнается то, что надо. На двери кафе висело рукописное объявление: «Закрывается до 8.11».

Непонятно, подумала Катька. Это что же, они рассчитывают открыться после конца света? Когда каждый уже уравнивается с ними, пройдя через главное испытание и обретя свое предназначение? Хорошая публика соберется у них восьмого ноября... Надо будет зайти, если не взлетим по техническим причинам.

Какой же подъезд? Третий, третий... второй этаж... Какая квартира? На лестничной клетке их было восемь, по четыре справа и слева; в пяти были открыты двери и все являло вид внезапного бегства. По полу змеился одинокий шарф – забыли! Катька метнулась к трем закрытым дверям справа от лифта, бешено нажала кнопки звонков – один дилидонил, другой чирикал, а третий зазвонил резко, как будильник, и эта третья дверь открылась. На пороге стоял лысый сутулый мужчина лет пятидесяти, до того придавленный всей своей жизнью, что никакая московская катастрофа не смогла бы испугать его больше.

– Скажите, – задыхаясь, выпалила Катька (удушливый дым полз снизу, пахло паленой резиной), – скажите, у вас не живет мальчик?

Сутулый мужчина молча отступил в сторону и кивком указал ей на обшарпанную дверь меньшей комнаты. Мельком она увидела убогую обстановку большей. У окна стояла испуганная маленькая женщина и смотрела на Катьку в немой невыносимой тревоге.

– Я быстро, – сказала Катька зачем-то и толкнула дверь.

В маленькой комнате, в которой действительно стоял шкаф из ДСП, а кроме него письменный стол с облезлым стулом и аккуратно, по-солдатски застеленная кровать, – кружился высокий стройный мальчик с высокой черной шапкой волос. При виде Катьки он учтиво поклонился, словно давно ее ждал, и продолжил свое кружение от окна к стене, чуть покачивая руками при поворотах. Двигаясь к окну, он кружился по часовой стрелке, а возвращаясь к стене – против: наверное, чтобы не закружилась голова.

– Заходите, пожалуйста, – сказал он очень вежливо. – Простите, что я должен с вами разговаривать вот так, но прерваться мне нельзя.

– Благодарю вас, – в тон ему ответила Катька. Мальчику было на вид лет семнадцать, на нем были узкие джинсы и клетчатая ковбойка.

– Вы, наверное, хотите узнать, зачем я это делаю? – спросил мальчик ломким голосом.

– Нет, я уже поняла. Я только не уверена, что по нынешним временам этого достаточно.

– Иногда мне тоже кажется, что уже ничего не спасешь, – спокойно отвечал мальчик, – но задумываться о таких вещах вредно. Если задумываться об очевидном, можно забыть свои обязанности.

– Как вас зовут? – спросила Катька.

– Меня зовут Валентин, – ответил он с поклоном. – А вас?

– Меня зовут Екатерина. Можно Катька, – сказала она и сделала реверанс. – Валя, я бы хотела, чтобы вы поехали со мной. Если настаиваете, я могу забрать и ваших родителей.

– Благодарю вас, – твердо сказал Валя, подтанцовывая к окну, – но это совершенно невозможно. Меня ведь никто не освободил от моих обязанностей.

– А кто вас мог бы освободить? – спросила Катька, кружась рядом с ним. Получался почти вальс, но поврозь. – Знаете, один мальчик тоже был обязан хранить свое честное слово и стоял на посту три часа, хотя игра в войну давно закончилась. Его мог освободить только военный. Скажите, какого человека привести вам.

– Это не человек, – сказал мальчик, беря ее за талию и осторожно кружа, – и вам вряд ли удастся его привести, Екатерина. Я думаю, что он скоро придет сам.

– Валя, но если все действительно серьезно? Если вы никого этим не спасете?

– Я не должен об этом думать, – виновато сказал Валя. – Может быть, и не спасу. Мне кажется, вся беда именно оттого, что мы все время думаем: а что, если? А надо делать, и все. Каждому ведь сказали, но делают очень немногие.

– Валя, а родителей вам не жалко?

– Очень жалко, – сказал Валя, отвешивая полупоклон окну. – Но если солдата призывают, родителей тоже жалко. А он все равно идет, верно?

– Хотите, я заберу их?

– Не надо. Они все равно не поедут.

– Ну ладно, Валя. Мне пора. Я уезжаю насовсем.

– Екатерина, я желаю, чтобы все у вас было благополучно, – сказал он вежливо. – Благодарю за то, что вы пришли. Вы чудесно танцуете. С тех пор, как я получил приказ, у меня почти никто не бывает.

– Если у вас получится все спасти, я обязательно вернусь, – сказала Катька.

– Буду ждать, – ответил мальчик, продолжая кружиться.

Катька вышла из комнаты.

– Может быть, покушаете? – робко спросила мать мальчика, по-прежнему не отходя от окна. Видимо, здесь действительно редко бывали гости.

– Спасибо, – сказала Катька, густо краснея и чувствуя себя предательницей. – Я еще зайду.

Можно было, конечно, позвать дядю Борю, схватить мальчика в охапку, уговорить родителей... Но что-то ей подсказывало, что это будет неправильно и даже грешно – все равно что снимать часового с поста. Она сбежала по лестнице и увидела, что по стене дома зазмеилась извилистая трещина. Страшный гул нарастал вокруг. Катька подбежала к «газели».

– Поехали, дядь Боря, – выдохнула она.

Дядя Боря невозмутимо завел мотор, и они поехали в красный туман, в сторону кольцевой дороги. Он вел машину спокойно, но очень быстро. В уазике все молчали. Когда выехали из Свиблова, Катька услышала позади грохот и рев – пространство стремительно смыкалось за ними, и вместо Свиблова стояла сплошная стена огня. Мир схлопывался, и прямо за ними неслась волна невыносимого жара, накрывая город, плавя асфальт, валя на своем пути дома, тополя, фонари.

– Не спас, значит, – сказала Катька.

Дядя Боря кивнул, словно понимал, о чем речь.

– Вот и всё, – сказал Сереженька.

– От и сё! – радостно крикнула Подуша.

Катька с трудом нашла нужный поворот. Тьма была кромешная, лил дождь, а на севере, на месте Москвы, тлело зарево. Почему все случилось еще до седьмого, Катька не понимала. Видимо, город успел рассыпаться и сгореть до того, как его взорвали, – как в одном рассказе Грина голова приговоренного оторвалась сама, несмотря на помилование, просто потому, что все время думала о казни. А вообще это было в московских традициях – Наполеон тоже хотел захватить варварскую столицу и насладиться ее разграблением, но она успела устроить самосожжение и обломить ему весь триумф. Получилось остроумно. Вот тебе, Шамиль, чмо одноногое, бритое, исламское. Пришел взрывать, а там уже ни фи́га.

Последние слова она произнесла вслух, и сзади послышался всхлип.

– Ой, Майнат, – сказала Катька. – Прости, пожалуйста.

– Никто нам не верит, даже ты не веришь, – завела чеченка. – Все говорили – Шамиль, Шамиль, а у вас все само сгорело. Давно нет никакого Шамиля, и письма сам Путин писал. Аллахом клянусь, хлебом клянусь.

– Да ладно тебе, – сказала бабушка.

– А дома, вы скажете, тоже Путин взрывал? – не выдержал Сереженька.

– Аллахом клянусь! – крикнула чеченка. – Зачем нашим было дома взрывать? Что, хотели, чтобы совсем нас всех зачистили? Никогда наши не взрывали ваши дома, всё ваши взорвали, чтобы нас зачернить! Бедный народ, гордый народ... Ты знаешь, что они делают с нами в фильтрах? Ты был в фильтрах? У меня кости целой не осталось, почки отбиты, зубы отбиты!

– А головы нашим кто резал?! – заорал Сереженька.

– Да ладно вам, – сказал дядя Боря. – Теперь-то чего. Кать, тут налево?

Начался дачный поселок. Свет фар полз по скользкой темной дороге и подпрыгивал на колдобинах. Катька отсчитывала: пятая, шестая, седьмая линия... Еще издали она узнала каменный дом соседа Коли. В доме горели все окна: очевидно, сосед успел вывезти семью из Москвы. А у Игоря было темно, и Катька в первый момент испугалась, что он не доехал до Тарасовки – допустить, что он улетел без нее, она

не могла, – но тут же с облегчением заметила пляшущее пятно голубого света возле сарая: эвакуатор колдовал над лейкой.

– Вылезаем! – бодро крикнула она. – Мы почти на месте.

Сереженька выскочил первым, помог вылезти бабушке – он никогда не упускал случая демонстративно уважить старость; тяжело вылезла Майнат, словно боялась расплескать драгоценный сосуд. Странно, она так быстро бегала, а из машины вылезала тяжело, да и сидела как-то согнувшись, словно пыталась успокоить сильную боль в животе.

Игорь – весь в какой-то темной смазке, в ватнике и сапогах – шел к калитке по бетонной дорожке.

– Ну, слава богу, – сказал он и обнял Катьку. Все было родное, даже запах ватника.

– Солнце мое, – повторяла Катька. – Господи, как я соскучилась. Я чуть там не сдохла, по дороге. Как мы ехали – я тебе когда-нибудь расскажу. Это за год не расскажешь, честно.

Хотя сейчас, когда цель была достигнута, она уже толком не понимала, о чем там рассказывать. Что особенного-то? Ехали сравнительно благополучно, довезла всех, тут и бабушка, и спасенный ребенок, хотя и не особенно полноценный, и сама она во главе своего маленького отряда. На истерзанную Катькину душу опустился тот ни с чем не сравнимый покой, который она всегда ощущала в присутствии своего эвакуатора. Ей даже не было жалко улетать.

– Ну, пошли. Она через полчаса созреет. Еще час-два я смог бы ее удерживать, а потом надо стартовать.

– И ты бы улетел?

– Нет, конечно. Она бы взорвалась, а я остался. Тебя ждать.

– Я знала, я знала!

Она совершенно не стеснялась ни мужа, ни бабушки.

– Да, Игорь, – сказала она, поняв, что надо бы все-таки пояснить ситуацию. – Я тебя должна познакомить. Вот это бабушка, Кира Борисовна.

– Добрый вечер, – церемонно сказала бабушка.

– Здравсьте, – смущенно поздоровался эвакуатор. – Я Игорь.

– Да уж вижу, что не Ваня, – непонятно ответила бабушка.

– А это мой муж, – сказала Катька. – Его зовут Сережа. Это вот дочка, ее зовут Поля, Подуша.

Подуша спала на руках у Сережи, но при звуке своего имени проснулась и с любопытством уставилась на Игоря. Все-таки она была вылитый наш муж – те же круглые глазки, тот же нос кнопкой; не зря друзья нашего мужа, приходя на нее посмотреть (и начисто игнорируя при этом Катьку – словно она вообще не имела отношения к дочери), спрашивали с преувеличенной радостью: «А где борода?»

– Здравствуй, Сережа, – сказал Игорь и хотел было протянуть руку нашему мужу, но передумал, потому что руки у нашего мужа были заняты, а у нашего любовника сплошь покрыты инопланетным машинным маслом, которое пахло почти как земное, но с легкой примесью апельсина и немного марципана. Видимо, у них действительно была очень хорошая планета.

Наш муж надменно кивнул. Он ни о чем не догадывался и, кажется, до сих пор искренне полагал, что сейчас его тайными тропами, через толщу Земли, поведут в Соединенные Штаты Америки.

– Я тебя сейчас со всеми перезнакомлю, – бодро сказала Катька.

Она оглядела свой отряд доблестных представителей земной цивилизации, которым предстояло от имени всех землян сутки спустя приветствовать высокоразвитую цивилизацию в системе Альфы Козерога. Вот все, что я смогла отобрать на моей нынешней родине в ее нынешнем состоянии. Это мы, Господи. Перед сараем в ряд стояли: восьмидесятилетняя бабушка, в прошлом инженер текстильной фабрики, имеющая также навыки врача, учителя, садовода и огородника; тридцатилетний безработный, по образованию биолог, по роду утраченных занятий менеджер турфирмы; пятидесятилетний одинокий водитель дядя Боря, по совместительству мастер на все руки; примерно двадцатипятилетняя, хотя по ним никогда не скажешь, чеченка Майнат, чудесно спасенная жертва многократных зачисток; и наконец – представитель альтернативной формы жизни, мальчик-даун, которого было неизвестно как звать, потому что выговорить он мог только два слога: что-то похожее на -ын и что-то напоминающее -ун. На этого-то мальчика Игорь смотрел особенно пристально, а потом посветил фонариком прямо ему в лицо.

– Тыкылын улун аум? – быстро спросил он.

– Лыкут сылын, – ответил мальчик-даун неожиданно отчетливо.

– Гырс пат?

– Ытук.

– Дырдык бултых аусганг?

– Быпс, трипс, припипипс.

– Эне бене?

– Квинтер контер.

– Эники?

На это даун ничего не ответил, а только молча кивнул.

– Катька, – потрясенно сказал Игорь, и Катька заметила слезы у него на глазах. – Катька, где ты его взяла?

– В Брянске, он отбился от детдома...

– О господи, – прошептал эвакуатор. – Поистине, вы заслужили всё, что с вами произошло. Прости меня тысячу раз, но это так.

– Он ваш? – не поняла Катька.

– Это Лынгун, чудо-дитя, наш главный вундеркинд. Единственный ребенок-эвакуатор в истории цивилизации. В четыре года он сам собрал свою первую лейку.

– А почему он здесь... в таком странном виде?

– Это его принцип. У него собственная концепция. Он отбирает только тех, кто способен пожалеть его таким. Видишь, ты отобрана дважды.

– Спасибо, – сказала Катька, все еще не веря. – Но почему он не говорит по-русски? Давно бы мне все объяснил...

– Ыкытыгын, – смеясь, перевел Игорь. – Канталуп барам дырдык, трын?

– Сыбылын, – виновато сказал даун.

– Он просит его извинить, – пояснил Игорь. – Видишь ли, он технический гений, и у него в самом деле очень плохо с языками. Он на родном-то заговорил только в пять лет, когда уже свободно читал. Читает запросто, а говорит с трудом. Ему это не нужно.

– Но как же вы отпустили сюда ребенка?

– Его долго не отпускали. В первую командировку он улетел сам, на собственной лейке, в восемь лет. Сейчас ему уже четырнадцать, просто он маленький. Ну, а потом его уже посылали вполне сознательно. У нас, я тебе говорил, нет жестких возрастных ограничений: ребенок, не ребенок – все равно человек. Он работает с детьми, и в этом есть резон: наши не всегда могут разобраться в психике ваших мелких. А он как-то разбирается. Его и раньше иногда травили, иногда мучили... но чтобы бросить вот так, отбраковать (по-

нашему эники) – это впервые. Видно, у вас действительно абсолютный кризис. Его выгнали не только дети, но и воспитатели. Он не очень понял, о чем говорила воспитательница... но знаешь, ему с его психикой необязательно понимать слова. Он почувствовал. Я же тебе говорю, он наше чудо. Его портрет почти у всех эвакуаторов в лейке висит. Вот активируется моя – я тебе покажу.

Лынгун скромно закивал.

– Ты понимаешь? – спросил Игорь. – Они его просто отбраковали. Гения, который перевернул все наши критерии. Он мог спасти всех этих детей, один. Но они бросили его.

– А как бы он их спас?

– Господи, увез бы на своей лейке.

– А где она?

– Я не знаю, где он ее держал. Ыускун лейка? – обратился Игорь к Лынгуну.

– Лейка сырдык. Аус кырт.

– Она была у них в подсобке, в детдоме, – перевел Игорь.

– Игорь! – простонала Катька. – Что же мы ее не взяли! Мы могли бы спасти еще двадцать человек!

– Вряд ли, – сказал Игорь. – Ее же надо активизировать.

– Так он и активизировал бы!

– Ну, теперь поздно. И знаешь, Катя, – сказал он непривычно резко, – я все чаще думаю, что не стоило. Кого спасли, того спасли, а остальным, значит, не надо. Кракатук не фраер.

– Но дети-то чем виноваты?!

– Это они его не пускали в автобус, – сказал Игорь. – И воспитатели, и они. Они очень мучили его, Кать.

– Что же он нам не сказал! Как он мог... нарисовал бы хоть...

– Ладно, – сказал Игорь и посмотрел на часы. – Вообще пора. Отойди, я ее вынесу. Хотя хорошо бы кто-то из мужчин помог. Она уже очень тяжелая и с каждой секундой тяжелеет.

– Ну давай, – просто сказал дядя Боря.

– Это дядя Боря, мастер на все руки, – сказала Катька.

Она все еще не могла прийти в себя. Если бы она не схватила в охапку Лынгуну, он бы нашел способ догнать детдомовских и всех их вывезти на Альфу... Конечно, они сами оттолкнули его, но какой спрос с детей, да еще детдомовских! Кто имеет право их судить! Теперь они

ехали неведомо куда по Брянской области на своем автобусе, а лейка так и сгниет в подсобке под Брянском! Конечно, это тонкий ход – посылать дауна для отбора милосердных... Но что этот даун даже не говорит по-русски... Могли бы дать ему хоть переводчика!

– Да не угрызайся, Катя, – сказал Игорь, как всегда обо всем догадавшись.

– Это очень жестоко, Игорь! Очень жестоко!

– У вас тут все жестоко, Катя. Посмотришь – и того жалко, и этого. Всех надо брать. А они убийцы, понимаешь? Они беспомощного больного ребенка не пустили в автобус.

– Среди них тоже есть больные, Игорь.

– Ну, может, и спасутся, – сказал Игорь. – Повезли же их куда-то...

– Турук, – подал голос Лынгун. – Куругач.

– Что он сказал? – вскинулась Катя.

– Он сказал, что вряд ли спасутся, – объяснил Игорь, потупившись.

– Да, кстати, – вспомнила Катя. – Он-то знает, что у вас там объявлена тревога?

– Ды, – кивнул Лынгун. Он, кажется, действительно немного понимал язык.

– А почему – не знает?

– Ны, – покачал головой вундеркинд.

– Черт возьми, – неожиданно заорал наш муж Сереженька с такой злобой, что Подуша немедленно разревелась. – Что тут вообще происходит?

– Спокойно, Сережа, – тихо ответил Игорь. – Происходит эвакуация.

– Куда?

– На другую планету.

– А меня кто-нибудь спросил?! – взвыл Сереженька. – Меня предупредил кто-нибудь?

– Ты что, не сказала ему? – не понял Игорь.

– Я сказала, что мы просто уезжаем и что все объясню потом.

– Слышь, Сереж, – вступил дядя Боря. – Тут дело такое. Мы на планету летим, хорошую. Здесь просто опасно, мы там пересидим и потом вернемся. Если захотим.

– Да я, может, против! – кричал Сережа. – Что за шарлатанство! Какая еще другая планета, я совершенно не хочу, чтобы мой ребенок рос где ни попадя!

– Ну, захочешь – вернешься, – пообещал дядя Боря. – Я тебе точно говорю. Но пока – не надо, пока надо пересидеть, понял? Мы там перезимуем, а когда здесь все уляжется – сюда.

– Да не хочу я никуда! Катерина, как ты смела мне врать!

– Слушай, – зло и решительно сказала Катька. – Не хочешь – оставайся. Ребенка я тебе не отдам, так и знай. А истерики в другом месте будешь устраивать. Понял?

Он отошел, что-то мрачно бормоча.

– Давай, дядя Боря, – сказала Катька. – Помоги Игорю с ракетой, пора уже.

– Какая система-то? – спросил дядя Боря.

– Да лейка, – пояснил Игорь.

– Как фотоаппарат, что ль?

– Близко к тому.

Они с трудом выволокли лейку вдвоем – два здоровых мужика, профессиональные механики, привычные к любым тяжестиям. От лейки шло тусклое красноватое свечение. Она нагревалась – медленно и уверенно, как рефлектор.

– Ну что, если все в сборе, я активизирую, – сказал Игорь, обращаясь главным образом к дяде Боре.

– Если готово, то давай, – кивнул тот, как равный партнер.

– Отойдите все на три метра, – скомандовал Игорь.

– Игорь! – вспомнила Катька. – А что сосед? Ты дядю Колю не возьмешь?

– Я ему предлагал, – сказал Игорь. – В принципе места нет, но вдруг ты не набрала бы... Говорит, не могу. Тут дом, десять лет строил. Парник, помидорки...

Игорь усмехнулся.

– Ладно, отошли все.

Катька подхватила на руки Подушу и оттащила ее на три метра. Бабушка и Майнат нехотя последовали ее примеру.

– Мама, – сказала Подуша. – Еечка взойдетца?

– Нет, что ты, – успокоила ее Катька. – Она немножко вырастет, мы в нее залезем и полетим.

– В еечке?

– Да. Помнишь, я тебе сказку читала? Гномики отправились в плавание в башмаке. А мы полетим в леечке.

– Гляди ты, все правда, – тихо сказала бабушка. – Вот не думала, что на старости на Марс полечу.

– Не на Марс, бабушка. Гораздо дальше.

Игорь подошел к лейке, нагнулся, подергал за ручку, словно проверяя, крепка ли, отошел на три шага и щелкнул пальцами, высоко подняв руки.

В ту же секунду лейка начала расти. Она росла очень быстро, вширь и ввысь, раскаляясь и приобретая особенный металлический блеск. Катька уже ничему не удивлялась. Она давно поняла, что эвакуатор не врет, но одно дело – видеть летающую лейку воочию, и совсем другое – слушать рассказ эвакуатора в кафе «Дракон» (бедное кафе «Дракон»! Кто-то уцелел из его постоянных посетителей?). Не сказать, чтобы Катьке было страшно. Скорее, ей было странно. Бывает такое чувство, когда вдруг убеждаешься в правоте самых смелых своих догадок, в которые ты и верить не смел: скажем, ты всегда догадывалась, что есть Бог, но одно дело догадываться, а другое дело лично объяснять ему, что и почему ты здесь натворила. Вот такое же чувство, поняла Катька, будет у меня и после смерти. Я же все понимала, а жила и действовала применительно к земной подлости. Надо было жить так, как будто загробная жизнь будет обязательно, да ведь она и не может не быть, – а я столько раз трусила, пасовала, боялась черт-те кого, вроде Дубова... Что за жестокая вещь – это вечное колебание. Надо раз навсегда решить и делать, как кружащийся мальчик. Все, с этого дня живу как надо. Особенно если уж мне дан такой знак.

Знак в самом деле становился все весомей: лейка росла, росла и вот уже доросла до крыши каменного дома дяди Коли. Ее было бы не обхватить уже всемером, и она начала остывать, приобретая свой обычный серо-стальной цвет, но блестела по-прежнему, отражая сырую ночь вокруг и их страшно вытянувшиеся лица. Наш муж в ужасе что-то бормотал, бабушка крестилась, спокойна была только

чеченка Майнат. Вероятно, в фильтрационных лагерях она видела и не такое.

– Ну вот, – со скромной гордостью сказал Игорь. – Модель «Ытылым – шесть дробь пятнадцать».

– Ытылым угус, ыун аус кырык, – поправил Лынгун, стоявший рядом с Катькой и смотревший на ракету с той жаркой любовью, с какой только автомеханик может смотреть на новенький «роллс-ройс».

– Ну, дробь пятнадцать-бэ-два, если быть совсем точным, – кивнул Игорь. – Милости прошу.

В блестящей поверхности появилась узенькая щель, словно раздвигался железный занавес. Обозначился проход. Катька шагнула первой. В лейке было жарко, на панелях мигали разноцветные приборы, а пол был устлан коврами. Положительно, на этой планете все было во имя человека и для блага человека.

– Быстрее, быстрее, – поторапливал Игорь. – Через три минуты люк закроется.

Все быстро вбежали в лейку, не задавая лишних вопросов. Игорь еще раз щелкнул пальцами. Люк закрылся.

«Какая была моя последняя земная мысль? – подумала Катька. – Не помню. Кажется, что-то о Подуше».

Она прижала дочь к себе. Подуша была в восторге.

– Мы поетим, да?

– Уже почти летим.

– Значит, господа, – сказал Игорь торжественно и радостно. – На взлете возможны некоторые перегрузки, но вы не обращайте внимания. Потом я всех приглашу в кают-компанию – немного выпить за встречу и благополучный отлет. После этого желающие смогут лечь спать в верхнем отсеке, у нас анабиоз мгновенного действия и без последствий. А кто хочет, может посмотреть в иллюминатор или послушать музыку. Предусмотрен, кроме того, просмотр видеопрограммы о жизни планеты, на которую вы попадете. Там вам будут очень рады, и вообще, давайте забудем обо всем плохом. Я вас сейчас покину, потому что должен буду находиться в кабине пилота. Один человек может пройти со мной, и я думаю, что это будет Катя.

– Нет, – сказала Катька. – Иди рули, я останусь. Потом всех позовешь.

Игорь понимающе кивнул.

– Ну ладно, – сказал он, – ничего не бойтесь. Тут, в нижнем отсеке, иллюминаторы не предусмотрены, но, когда мы немножко поднимемся, там, из кают-компании, все уже будет видно. Невесомости не бойтесь, это даже приятно. Я сам сколько раз летаю, а все волнуюсь. Ну, до скорого.

Он щелкнул пальцами. В потолке открылся люк.

Не пугайтесь, это глюк.

Неведомая сила втянула Игоря наверх, и он исчез. Из стенок ракеты с легким жужжанием выдвинулись кресла. Их было ровно шесть, и маленькое седьмое креслице для Подуши. Около каждого кресла болтались привязные ремни. Катька крепко пристегнула Подушу, потом уселась, пристегнулась сама и с вызовом обвела глазами окружающих.

– Ну, смелей, – сказала она. – Обратной дороги нет.

Неожиданно за стенками ракеты раздался треск.

– И досюда добрались, – выговорила бабушка.

Майнат напряженно прислушивалась.

– Да не пугайтесь вы, – устало сказала Катька. – Сосед срать пошел. Мы летим, а жизнь продолжается.

А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Вместо того, чтобы медленно отделиться от Земли или стремительно рвануть ввысь, лейка бешено закрутилась на одном месте. Больше всего это было похоже на аттракцион «Музыкальный экспресс» в Парке культуры. Вращение ускорялось, Подуша завизжала, дядя Боря радостно захохотал, как хохочут иногда в полный голос здоровые толстые мужики на аттракционах, а Лынгун что-то крикнул по-лынгунски – и в ту же секунду все звуки прекратились, а вибрация исчезла. Они стартовали мгновенно. Вот откуда ведьмины круги, поняла Катька.

Она хотела уже поделиться с остальными этим открытием, но тут на нее навалилась страшная тяжесть, ее буквально вдавило в кресло, и сил на разговоры уже не осталось. Она едва не потеряла сознание, но, когда, казалось, вовсе уже не стало сил терпеть, наступила блаженная легкость и ее даже слегка приподняло над креслом.

– Стратосфера, – со знанием дела определил дядя Боря. – Быстро мы, а?

И он захохотал, радуясь очередной победе техники.

– Дамы и господа! – раздался голос Игоря из динамиков в потолке. – Мы успешно взлетели и через сутки прибудем на Альфу Козерога. Фотонные двигатели нашего звездолета работают нормально. Прослушайте краткую информацию о нашем полете. Курить нельзя. Температура безвоздушного пространства за бортом не имеет значения, потому что безвоздушное пространство не имеет температуры. Через несколько минут вам будут предложены прохладительные напитки, довольно вкусные. Можете отстегнуть ремни и размять затекшие члены. – Игорь усмехнулся. – Когда откроется люк, подходите по одному.

Он говорил теперь гораздо увереннее, явно чувствуя себя хозяином положения. Впрочем, если все время всех подозревать, лучше вообще не жить.

– Сильно прижало-то меня, – сказала бабушка, с трудом поднимаясь с кресла.

– Да ладно, бабушка, – сказала Катька. – Так ли всех прижало в сорок первом!

Люк, как и было обещано, открылся. Катька взяла на руки Подушу и встала под него первой.

– Катерина! Сначала я! – вспомнив, что он глава семьи, потребовал наш муж.

Катька не ответила, но и не послушалась. В ту же секунду ее словно за волосы втащили наверх.

Это было просторное помещение – в центре круглый стол, по бокам кресла, а на столе – развернутая карта, очень похожая на земную, но с незнакомыми очертаниями материков. Прямо на карте стоял поднос с высокими бокалами, зелеными, красными и голубыми, а между бокалами были еще две тарелочки с сырными шариками, теми самыми, которыми Игорь угощал Катьку в Свиблове после самого первого раза, такого далекого, странного и такого все-таки счастливого. На стене висел портрет Лыnguна – смеющегося, с хитрым выражением лица.

– Ух как! – радостно сказала Подуша и засмеялась. – Мам, мы больше в садик не пойдем?

– Никогда в жизни, – не менее радостно ответила Катька.

Когда человека втягивало в кают-компанию, вид его был довольно забавен. Катька, наверное, и сама очень смешно выглядела со стороны, но на нее-то смотреть было некому. Зато она увидела, как в помещение стремительно втянулся наш муж. Больше всего это было похоже на быстрое прорастание гриба из загадочной стальной почвы; гриб был с глазами и бородой, как елочная игрушка боровик.

– Интересно, – неодобрительно сказал Сереженька. Ему здесь не нравилось, а особенно он раздражался потому, что все было слишком комфортно. Это совершенство только подчеркивало его собственную неустроенность, неприкаянность и общую недоделанность.

Следом втянулась бабушка, приговаривая «Господи, Господи», за ней счастливый Лынгун, потом равнодушная Майнат (до чего из нее все-таки выбили все эмоции в этих фильтрационных лагерях!), а последним – дядя Боря, не перестававший радостно улыбаться чудесам заграничной техники.

– Хорошо у них все сделано, – приговаривал он. – По уму все.

Люк задрался. Сверху, из кабины пилота, расположенной под самой крышкой лейки, спустился Игорь.

– Командир корабля, он же экипаж, приветствует вас на борту!

– Трансглюкатор тыуртын? – деловито спросил Лынгун.

– Курутук багарлык! – назидательно ответил Игорь и потрепал его по волосам.

– Что-нибудь с трансглюкатором? – спросила Катька, все еще боявшаяся, что она тогда, в первый приезд в Тарасовку, повредила лейку.

– Да все отлично, просто он спрашивает, включил я его или нет.

– А ты чего?

– А я говорю, не учи отца трансглюкировать! Значит, посидим немножко, выпьем, а потом желающие просмотрят видеопрограмму, а нежелающие пойдут баиньки до самого прилета. Прошу к столу.

Шарики на этот раз были разного вкуса – и мясного, и копченого, и сырного.

– Это у вас вся еда такая? – неодобрительно спросил Сереженька.

– Почему вся? – удивился Игорь. – Это сухой паек, только для эвакуаторов...

– Крепкое? – спросил дядя Боря, принюхиваясь. – А то мало ли... Невесомость начнется, еще затошнит...

– Невесомость еще только минут через десять, – пояснил Игорь. – Я специально перегрузки уменьшил, чтобы нам до невесомости успеть посидеть на дорожку и выпить понемножку. Примета такая. Это вообще не спиртное, просто расслабляет...

– Куда уж расслабляться-то, – прокряхтела бабушка, однако напиток пригубила.

– Места общего пользования внизу, – предупредительно сказал Игорь. – Если захочется, не стесняйтесь, я объясню. Мальчики налево, девочки направо.

– Ишь как, – сказала бабушка.

– Ну, за благополучную эвакуацию! – воскликнул Игорь.

Все робко чокнулись. Напиток напоминал вишневый сок, только прозрачный и вязкий.

– Это у нас есть фрукт такой, – объяснил эвакуатор. – Он растет на полум черенке, черенок вставляешь в специальное отверстие на фрукте, как соломинку, и можно пить. А можно сок выкачать и взять с собой. Он и без консервантов не скиснет. Оказывает очень благотворное действие, любимый напиток всех космолетчиков. У нас там такие фрукты, вообще! Больше трехсот видов, гораздо шире флора, чем на Земле. Есть соленые, сладкие, кислые, есть со вкусом мяса, есть такие, что прямо как соленые огурцы.

Все с удовольствием потягивали вязкий вишневый сироп.

– Вы пейте, – заботливо приговаривал Игорь, – у меня еще много.

Он, кажется, чувствовал некоторую неловкость перед этими землянами, из которых доброжелателен по-настоящему был только дядя Боря. Ну и Катька, естественно, – но она чего-то боялась. С каждым глотком сока в нее все глубже вползала непонятная тревога.

– Тыун кыун, – строго заметил Лынгун.

– Да, лучше пристегнуться, – кивнул Игорь. – Сейчас начнется невесомость. – Он посмотрел на часы. – Через минуту где-то. Если потом захотите поплавать по кают-компании – пожалуйста. Но с непривычки не очень удобно, надо научиться скорость рассчитывать, и вообще...

Все поспешно пристегнулись.

Внезапно бокал выплыл у Катьки из руки и повис в воздухе. Она потянула его за ножку, но остаток напитка, скатавшись в небольшие шары, выплыл из бокала и блестящей вереницей поплыл по кают-компании. Катька по земной привычке – это она одна такая или все-таки подобные неловкости случаются иногда у всех? – быстро огляделась: почти все упустили свои напитки и теперь в легком недоумении парили над креслами, удерживаемые ремнями. Лица у всех покраснели – то ли от сока, то ли от энергетических сухих шариков, тоже плававших теперь по всей лейке, то ли от невесомости, от которой, говорят, в первый момент сильно поднимается давление.

– Ничего страшного, – сказал Игорь. – Чувствуйте себя как дома. Как чуть-чуть привыкнете, можно будет отстегиваться.

В эту секунду чеченка Майнат нехорошо засмеялась и сверкающими глазами обвела присутствующих.

– Аллах акбар! – воскликнула она.

Все обернулись к ней и от неожиданности, кажется, даже плюхнулись на кресла, невзирая на невесомость. Только Подуша продолжала смеяться хрустальным смехом и все ловила блестящие шарики.

– Ну что, русские свиньи?! – торжествующе говорила Майнат, бешено стиснув подлокотники кресла. – Вы думали, что сбежали? Как бы не так! Вам осталось пять минут ровно!

Катька с мольбой взглянула на Игоря. Он был совершенно спокоен – эвакуаторы вообще отлично владеют собой – и только кусал губы. Господи, подумала Катька, бедный, бедный! Добрый, несчастный! Как же страшно я ему все испортила. Кого я ему привезла. Он тут сок наливал, про вишню рассказывал... Почему-то мучительней всего было думать про то, как он наливал сок. Специально налил, а потом вернулся в кабину, чтобы поэффектней появиться. Эта забота о тысяче милых мелочей была особенно невыносима на фоне нынешнего сюрприза. И ведь я знала, подумала Катька. С самого начала все знала. Неужели он ничего не сможет сделать?!

– Свиньи! – продолжала между тем Майнат. – Знаете, кто я такая? Я сама Черная Фатима! Я ехала в вашу Москву, чтобы привести в действие всю систему! Триста наших лучших девушек, сестры и возлюбленные полевых командиров, готовились уничтожить себя по

моему сигналу! Но русские свиньи сами сожгли свой город, потому что у них и без нас все летело к черту! И тогда я решила, что не дам уйти вам. Слышите? Я не дам уйти вам! Сейчас вы заплатите мне и моему народу за все, что сделали с моей гордой землей! Вы недостойны жить, и вы не будете жить! Аллах покарает неверных! Аллах акбар! Видите вы эти проводки? – Она пошарила у себя на животе; так вот почему она так осторожно двигалась! Вот тебе и отбитые внутренности; когда уже я перестану верить в этот правозащитный бред?! Теперь, видимо, никогда. – Это пояс Черной Фатимы! Сейчас осколки вашей вонючей еврейской лейки разлетятся в безвоздушном пространстве!

– Почему еврейской-то? – спросил Игорь.

Видимо, он решил заговаривать ей зубы; она, конечно, не пойдет на переговоры. В конце концов, что с них сейчас можно взять? Главное – не пустить ее на планету, потому что если она взорвется там – погибнут все встречающие... Все эти мысли проносились в Каткиной голове с небывалой скоростью: она совсем не боялась за себя, ей все казалось, что можно будет как-то прикрыть Подушу, она уже делала ей знаки, – но Игорь перехватил ее взгляд и покачал головой. Это значило, что рыпаться бесполезно.

– Аллах акбар! – крикнула Фатима в третий раз, изобразила на лице неземное блаженство, закатила глаза и соединила проводки.

Ничего не произошло.

Она лихорадочно тыкала одним проводком в другой, проверяла пояс, рычала сквозь зубы, но взрыва не было, а Игорь все продолжал смотреть на нее с живейшим интересом.

– Что ты сделал?! – оскалившись, крикнула она ему наконец, и Катка поняла, почему он кусал губы. Он изо всех сил старался не расхохотаться.

– Ты, еврейский специалист! Что ты такого натворил?

– Да почему еврейский? – снова спросил он, уже сквозь смех. – Ты чего думаешь, мы в Израиль летим? Ой, не могу... Кто вас там готовит-то, на базах ваших? Ведь дура душой...

– Не ругайся, собака! – крикнула она, отстегнулась и попыталась шагнуть к Игорю, но вместо этого стремительно взмыла вверх и мощно зыбнулась головой о потолок.

– Ты мне смотри лейку не пробей, – еле выговорил Игорь сквозь хохот. – Готовили ее... Тебя ж для земных условий готовили! Кто ж тебе там мог объяснить, что в невесомости пояс шахида не срабатывает!

– Как не срабатывает? – заорала Майнат сверху. – Почему не срабатывает?!

– Цепь не замыкается, – объяснил Игорь. – Там же так устроено, что сила тяжести обязательно должна быть. А без силы тяжести капсуль не разбивается, и заряд не взрывается.

– *Что, правда не взрывается?*

– *Откуда я знаю.*

– *Да, красиво.*

– Ооо, – завывла Майнат под потолком. – Мой бедный народ... мой гордый народ...

– Да ладно, – утешил ее Игорь. – Спускайся. Только осторожно, а то еще об пол ударишься. Ты думаешь, я про твой пояс не знал? Мне Лынгун сразу сказал: «Пипс, пипс, припипс». Грамотный эвакуатор всю вашу технику террористическую насквозь видит. Да и датчик у меня срабатывает, я ж двадцать раз взорвался бы в вашей Москве, если бы не знал, в какие поезда можно садиться, а в какие нельзя!

«Со мной тебе ничего не грозит», – вспомнилось Катьке.

– Я разве в претензии? – говорил Игорь. – Нормально все, господи! Борьба за независимость, идейные люди... Я что, не понимаю? Это ваши разборки, нас не касаются... Если тебя Катька привела – значит, ты человек приличный, просто у тебя жизнь была такая. Ты не переживай сильно, приедешь туда – мы тебя взрывником сделаем, у нас для горного дела такой есть дынымыт. Взрывавай сколько хочешь, никто тебе слова не скажет, еще зверька дадут! Прилетим – я тебе кофточку куплю.

– Какую кофточку? – заинтересованно спросила Майнат, медленно снижаясь.

– Розовую кофточку, поясок золотой, здесь пуговики в ряд, здесь другой ряд. Сапоги куплю, каблук высокий, тонкий, будешь как Алла Пугачева ходить, красавчик будешь. Штаны куплю, большой штаны, никогда у тебя не было такой штаны, шарфик куплю газовый, слушай,

браслет золото натуральный, серьги изумруд, пять карат, героин много, много, сколько скажешь героин!

Майнат зависла между полом и потолком, медленно обмякая.

– Вот так, хорошо, – продолжал Игорь. – Ты думал, я гипноз не знаю, я гипноз знаю, все знаю. Если б у тебя настоящий капсюль был, который невесомость взрывается, система плюс тридцать пять по-нашему, я бы тебя так заговорил, ты бы у меня плавал как рыбка, слюшай! А я человек гуманный, я тебе дал подвиг сделать. Усните блаженно, заморские гости, усните. Спи, дитя мое, усни. Шашлык куплю, машлык, башлык, урус мартан, урулус керугач, батыр керогаз, дум-дум цеппелин! Все тебе куплю, красавчик будешь, Аня Политковская будешь...

– Аня Политковская красавчик, – сонно проговорила Майнат и заснула окончательно.

– Так оно лучше, – сказал Игорь и потянулся. – Ладно, господа. Пора и вам баиньки. Лететь долго, а у нас еще дел много.

Но все и так спали в своих креслах, невесомо паря над ними, еле удерживаемые ремнями. Не спала только Катька, и ей было страшно. Как все смелые люди, она по-настоящему боялась только после опасности.

– Насчет смелых людей спасибо, конечно, но это сильное преувеличение. Я так и не поняла, что ты задумал.

– Да ну? А я бы на твоём месте давно догадался.

– Что ты хочешь с нами делать? – робко спросила она.

– Сожру сейчас, – выпучив глаза, сказал Игорь. – Слушай, ты до сих пор думаешь, что я шахид?

– Не знаю, – сказала Катька. – Вдруг ты хуже? Сожрешь всех на моих глазах, чтобы я помучилась совестью, а когда вследствие огорчения печень моя увеличится, сожрешь и меня...

– Дура ты, Кать, – сказал Игорь. – Хуже Черной Фатимы. На какой только базе тебя готовили? Пошли наверх, в кабину. Есть некое намерение.

– Какое именно?

– Я соскучился очень, – сказал Игорь. – Ну правда, соскучился. Не чаял даже, что свидимся. Ты когда-нибудь трахалась в невесомости?

– Знаешь, да. Но очень давно. Курсе на первом, когда на картошку летали.

Оба расхохотались.

– Мы их не разбудим?

– Что ты. Они теперь будут спать до самого приальфения.

– Подожди. А если в невесомости не срабатывает пояс, то, может... это самое... ну... тоже что-нибудь не работает?

– Не знаю, – беспечно сказал Игорь. – В отличие от тебя я никогда не трахался в невесомости. Все как-то не с кем было. Пошли, там очень уютно. Только осторожней, башкой не ударься. Она у тебя не такая крепкая, как у этой...

Игорь отстегнулся первым, слегка отодвинул висящую в пространстве Майнат и плавно подплыл к люку на потолке. Катька отстегнулась и поплыла следом. Голова немного кружилась – то ли от сока, то ли от гипноза.

– А почему я не заснула?

– А это гипноз такой, избирательный. – Игорь ковырялся с люком. – Черт, почему у меня в последнее время все так туго открывается? Все, давай.

Он проскользнул в узкое отверстие и втянул ее за собой.

– *И ты, я гляжу, проскользнул в узкое отверстие.*

– *Смотри ты, заметила!*

Все получилось, невзирая на невесомость, – как же у них могло не получиться, ведь они родились для этого, для того, чтобы быть друг с другом, друг другом, чтобы медленно, нежно вливаться в объятия друг друга, переворачиваться в воздухе, замирать, достигать друг друга снова. В кабине было огромное лобовое стекло, и сквозь него, как на экране компьютера, подмигивали таинственные звезды. Звезды тоже были каким-то образом во все это вовлечены. Что-то подобное было давным-давно, у моря, когда родители вывезли туда пятнадцатилетнюю Катюку и она первый раз в жизни купалась голая ночью. Вода была теплая и почти не чувствовалась – воздух казался холодней. Она лежала на спине среди звезд, вода заливалась в уши, казалось, что это шорох космического пространства. Или тайный сигнал в наушниках.

Иногда, в свободном плавании по кабине, они натыкались на собственные штаны и свитера и небрежно их отбрасывали, отлетая при этом сами.

– Катька, ты очень хороша. Я никогда еще тебе не говорил этого.

– Да ладно тебе. Я и не мылась со вчерашнего дня.

– Тьфу, ерунда какая.

– Послушай... Мне, вообще, понравилось в невесомости.

– У нас там можно, есть специальный павильон, снимаешь его на сколько хочешь, хоть на сутки, – хочешь пей, хочешь трахайся. Некоторые просто так летают.

– А как вы это делаете?

– Ну, это несложная вещь. Антигравитация. У нас давно умеют.

– Ты обещал видовую программу вообще-то.

– А. Это запросто. – Он брассом подплыл к стене, нажал кнопку, и гигантское лобовое стекло стало медленно заволакиваться опаловым туманом; по нему побежала рябь, и вдруг возник земной пейзаж, только с более сочными красками. На его фоне – горы, море, бледно-лазурные небеса с жемчужными тучками – замерцала странная эмблема: двуликий Янус верхом на Тянитолкае, глядя одновременно влево и вправо, держал на плече двуглавого орла. Зазвучали фанфары.

– Это что у вас?

– Эмблема студии. «Альфа-фильм».

– А что означает?

– Герб наш. Символ все терпимости.

Пошли титры на непонятном иероглифическом языке – картинки были смешные, похожие на сутеевские: мышка, зайчик, ежик, улыбающийся шар, дерево с раскидистыми толстыми ветками, бабочка с огромными усами... Попадались и непонятные знаки – черточки, стрелки.

– По родным просторам, – перевел Игорь. – Сейчас вы увидите гостеприимные края, в которых... как бы это поточней... не будет ни грусти, ни вздохов, ни евреев, ни греков...

– Ни печали, ни воздыхания, ни эллина, ни иудея, – подсказала Катька.

– Да, точно. Мы рады приветствовать вас на нашей планете и сейчас покажем вам чудеса нашего животного мира.

– Что, синий вол, исполненный очей? – не удержалась Катька.

– Да ну, – сказал Игорь. – Все это скучные песни Земли.

Зазвучала тревожная музыка, она лилась отовсюду, пульсировала, мягко ударяла в барабанные перепонки, – гудела сама почва, и по гулкой, звонкой, сухой степи мчалось стадо небывалых существ, которых Катька узнала сразу, хотя и не видела, конечно, никогда в жизни. Это были лошади – но и не совсем лошади: тоньше, грациозней, стройней тяжелого земного коня, они неслись по жесткой колкой траве и отличались от привычных очень мало. Все дело было именно в тонкости, незаметности отличий: чуть острее уши, чуть меньше голова, чуть длиннее шея. Лошади были молодые, горячие, шоколадного цвета. Они бежали очень быстро и необыкновенно легко, словно сила тяжести, пригнетавшая их к земле, вдруг уменьшилась раза в полтора. Следом так же грациозно, помахивая длинными хвостами и победно трубя, пробежали слоны – легкие, поджарые неземные слоны, беловато-серые, как небо над степью; чувствовалось, что бегать им нравится. Они радостно подпрыгивали и громко трубили – хотя звук был совсем не похож на земной рев слона: скорей это была серебряная труба. На одном слоне сидела девушка совершенно земной внешности, разве что лицо чуть подлинней да глаза немного навывкате; она мягко прищпоривала гордое животное, и гордое животное, мягко прищпоренное, издавало гулкое «гули-гули», похожее на голубиное.

Музыка изменилась – замедлилась, смягчилась, хотя мотив не изменился; он был немножко похож на заставку «В мире животных» – но заставка «В мире животных» показалась бы на его фоне невыносимо грубой и навязчивой. Звуки были легкие, высокие, эоловы – и постепенно затихли, уступая место голосам дикой природы. В небе летел большой полупрозрачный ангел, оказавшийся при ближайшем рассмотрении местным орлом. Сквозь его нежнейшую плоть просвечивали хрупкие кости. «Он альбинос?» – «Да нет, у нас все такие». Стая белых ворон радостно окружала орла, он словно дирижировал ими, плавно и страстно взмахивая крыльями, – и из вороньих клювов изливалась тихая песнь, похожая на плеск кристальной воды в хрустале, на позвякиванье льдинок в серебре, на постукиванье самого чистого дождя по самому синему стеклу. Внизу водили хоровод жуки-олени с ветвистыми хрупкими рогами; жуки-скарабей катили перед собой шары из чистого золота («Жук-золотарь,

у нас там полно этого добра»), и бабочка с размахом крыльев не намного меньше орлиного взлетала с широкого горного плато и парила над пропастью, как дельтаплан. На крыльях у бабочки была реклама «Альфа-колы» («Специально вывели, у нас умеют»).

Дальше начинались истинные чудеса: беззвучно кланялись под ветром огромные лиловые цветы, похожие на трубы невиданных грамофонов; стеблей не было – цветы росли прямо из почвы, выстреливал такой зеленый побег – и тут же разворачивался нежной воронкой. Моллюск выбрасывался на берег, вставал на две немедленно отросшие ножки и робко, шатко, валко делал первые шаги, улыбаясь во всю раковину. Потом ему становилось тесно в раковине, и он перебирался в ванну; с ним играл веселый лупоглазый ребенок, похожий на Лыnguна. Четыре медузы, слившись в хороводе, начинали бешено кружиться, как лейка перед взлетом, – и образовывали единое существо, стройную морскую звезду о четырех лучах, танцующую у поверхности воды в припадке беспричинной радости: «Нет, нет, никогда не было никакой эволюции! Все одна легкая, пляшущая фантазия: захотим – соединимся, захотим – разъединимся, а можем так, а можем этак, все на свете – одно, все плавно и радостно перетекает друг в друга, друг другом, друг с другом, и нечего больше бояться!» Звенели лесные колокольчики, музыкально, на разные голоса, шумели еловые, папоротниковые и лиственные леса, тонко пел на ветру бамбук, и одинокое печальное существо, не желающее и не умеющее жить в стае, брело среди буйной растительности, предаваясь мечтам: тонкие стройные ноги, танцующая походка, полупоклоны, покрытое перьями сухощавое туловище, длинная шея, мягкий клюв, похожий на хобот, – страус не страус, слон не слон: «Как это называется?» – «Это называется ыскытун, типа поэт. Весной заливается – фантастика. Наш соловей».

Ыскытун, подумала Катька. Знакомое слово. Вообще говоря, спать хочется. Господи, как я давно не спала.

– Все очень мило, но я слегка разочарована. Какой-то недостаток фантазии.

– И совершенно правильно. Избыток фантазии – это уже революция, глупость, потеря вкуса. Надо улучшить чуть-чуть, но в этом «чуть-чуть», как мы знаем, и состоит все искусство. На Земле

всё почти так – чуть грубее, чуть пошлее, мимо главной точки. Но эти мелочи копятся, и в результате все съезжает по диагонали, мимо главного. Стоит выправить тут, подрисовать там – и можно жить. Я диву иногда даюсь, по каким тонким мелочам тебя сразу распознал. Да, собственно, кроме них, и нет ничего.

– Да, да, я тебя тоже очень.

– Жалко, что у меня в этой лейке нет фильма с городами. Там архитектура – это что-то. Зеркальные стены огромные, метров по десять, и по ним телепрограммы. Народ ходит и смотрит. Или картины классические. Представляешь, картина такая на сто квадратных метров! А кино какое, господи! Но кто бы что бы ни говорил, больше всего я люблю вокзал. Катька, он такой удивительный! Такой светлый! Все эти радуги, дуги, дыги... и аускутун дыгын плюсквамперфектум...

Он заговаривался и засыпал, вися в невесомости. Катька подгребла к нему, устроилась около плеча – отлично было так спать, ни на что не опираясь, и что они всё ввали, эти космонавты, про трудности адаптации в космосе? Всю жизнь мечтала... Кажется, все позади. Она уснула, и ей снился вокзал с натянутым между аускутунами транспарантом «Привет покорителям космоса!» на главных земных языках и одном небесном. Солнечные зайчики плясали по лицам встречающих, по мозаикам узорчатого пола и стеклянным стенам, на которых показывали видовое стереоскопическое кино.

Первое, что увидела Катька, был именно этот вокзал – он потому и сложился из хаоса линий, из приближающейся пестрой мозаики многоугольников, кругов, каналов и башен, что чего-то подобного она ждала, больше того – давно уже все знала. Есть версия, что мы с самого начала всё знаем, но не во всем себе признаемся. Познание мира – это, в сущности, признание самим себе, что все так и есть; некоторые всю жизнь не могут согласиться. Но Катька знала, ей не привыкать было вглядываться в себя – и потому она легко различила осколки хрустального купола, кое-где еще висящие на покореженных конструкциях, оплавленные диким жаром опоры, разметанные и опрокинутые составы, вздыбленные рельсы и беспомощно задранный в небо, слепой прожектор.

– Это... это... – забормотал Игорь. – Это что-то с наведением... Не туда я сажусь, что ли... Ылын, ылын! – закричал он в микрофон.

Ответа не было.

– Черт, рано я включил, – испуганно говорил Игорь. – На таком расстоянии не берется...

– Берется, Игорь, – устало сказала Катька. – Все берется.

– Ты-то откуда знаешь?! – огрызнулся он.

– Не злись. Ты сам все знаешь.

– Ни черта я не знаю... Сейчас воткнемся не туда... Я местность не узнаю, ты понимаешь, нет?!

– Я зато узнаю, – сказала Катька. – Вон вокзал. Ты тоже все узнаешь, не ври. Урулус куругач, пункт «в». Видишь, не только с нами бывает.

Лейка снижалась медленно, плыла над планетой почти горизонтально, как самолет, и в разрывах облаков – совершенно земных, спокойных, ватных – проступала райская земля, где ждут нас гостеприимные счастливыцы, давно преодолевшие злобу, рознь и непонимание: черные сожженные поля, домики без крыш, раскрывшие небу беззащитные внутренности (всякий дом есть только бутон, вот снесет крышу, разнесет стены – тут он и раскроется), навеки остановившиеся диковинные машины, иная на крыше, колесиками

кверху, иная на боку... В дурное, неурочное время попали мы на экскурсию в рай. Ямы разрывов зияли вдоль проезжих дорог, груды щебня и кирпича перегораживали чуть не каждую улицу. Десяток кварталов завалила сверкающими осколками зеркальная стена.

– Кракатук, – прошептал Игорь. – Кракатук, Аделаида, Тылынгун, что ж это такое?

– С Колымы не убежишь, – ответила Катька.

Все произошло совсем недавно – дым еще стлался кое-где, и догорали пожары в городе и окрестностях; не было видно только людей. Первая Катькина мысль была – никто не спасся, но этого она представить не могла – как-никак высший разум, может, все переживают под землей? А может, вся местность теперь навеки заражена и всем им конец, как только они выйдут? Тогда Игоря предупредили бы по связи – видят же они, что он приближается! Неужели всем до такой степени не до них?

Но тут ожил приемник, и металлический голос незнакомого тембра – необычайно мягкий и радушный, но слишком явно искусственный – произнес несколько слов на уже знакомом, но все еще абсолютно непонятном языке; Игорь подскочил к пультам и усилил звук. Голос непрерывно повторял одно и то же – длинную фразу с несколькими отрывистыми слогами в конце.

– Что она говорит? – спросила Катька.

– Это автомат. Говорит, чтобы мы вручную садились на пятый причал и ожидали дальнейших инструкций. Дальше задает параметры.

– О причинах ничего не говорит?

– Нет, ничего. Я вообще ни черта не понимаю.

Он взглянул на нее жалко и беспомощно – она никогда еще не видела у него такого взгляда; всегда, как бы трудно ни было, за ним стояла его планета, гордая и совершенная цивилизация, – теперь он, отвечающий вдобавок за восемь беспомощных землян, был абсолютно один.

– Ничего, – сказала Катька. – Главное – все вместе.

Он отключил автопилот и медленно, плавно стал переводить какие-то рычажки и нажимать кнопки; спуск сначала замедлился, потом вдруг ускорился, и у Катьки закружилась голова.

– Терпи, терпи, – повторял Игорь. – Сейчас немножко уши заложит... перегрузка, но это слегка. Не волнуйся, я ее плавно

воткну...

Откинулся люк, и в кабину всосался дядя Боря.

– Вы тут сидите? – спросил он и сладко зевнул. – А я гляжу в иллюминатор – красиво у вас! Прямо как у нас. Такие, эт-самое, пейзажи... Ухожено все...

Игорь поднял на него глаза, но промолчал.

– Я чего, отвлекаю? – испуганно спросил дядя Боря. – Ты это... ты внимания не обращай. Давай приземляйся, я подстрахую, если что.

– Да я сам, – сказал Игорь.

– О, какой вид-то от вас! – Дядя Боря подошел прямо к иллюминатору. – Красотишша! Ты смотри осторожно, Игорь, ты тормози! Чего-то мы ускорились, нет?

– Штатно все, – буркнул Игорь.

Катьке тоже показалось, что они падают. Мимо пронеслись последние облака, какое-то время за окном не было ничего, кроме бледной синевы, а секунд через пять они вошли в слой густого, красно-бурого дыма и последние метров триста косо неслись сквозь него. Наконец раздался хруст, лейка вздрогнула и закрутилась вокруг оси. Дядя Боря рухнул на пол, Катьку вжало в кресло, Игорь изо всех сил давил обеими ногами на тормоза.

Прошло около минуты, прежде чем лейка, как «Музыкальный экспресс» в Парке культуры, медленно остановилась. В ту же секунду снова ожила рация, и радушный женский голос принялся повторять новую фразу, длинней предыдущей.

– Приветствуют, – сказал дядя Боря, сияясь улыбнуться посеревшими губами. Его хорошо помотало по полу. – Ну, с мягкой посадочкой, с приятным прибытием.

– Что там? – спросила Катька.

– Всем выйти и двигаться на восьмой путь, соблюдая полное спокойствие, – перевел Игорь. – Руководство планеты приносит вам свои извинения за временные неудобства.

– А в чем они заключаются?

– Я знаю не больше твоего. Ладно, выпускай всех.

Катька пролезла в спальный отсек. Бабушка уже проснулась и терла руками глаза, Сереженька, как всегда, закрывал лицо рукой и не хотел вставать, Подуша хныкала, Майнат сидела неподвижно, обхватив себя за плечи и мрачно уставившись в угол. Беспокойней

всех вел себя Лынгун. Он явно понимал в происходящем больше Игоря и Катьки, делал странные жесты – то обозначал как бы высокий купол над головой, то изображал крест, то надувал щеки и хлопал себя по ним.

– Ты все понимаешь? – спросила Катька.

Он яростно закивал.

– Тут – всё? – тихо проговорила она.

Закивал снова.

– Всё как у нас?

Он завыл и замахал руками: хуже, хуже!

– Ну чего? – хрипло спросила бабушка. – Прилетели к Богу в рай?

– Всё нормально, – сказала Катька. – Можно выходить. Нас уже ждут.

Створки раздвинулись, и они вышли в горячий, дрожащий красный воздух, в едкий дым и кирпичную пыль своего нового пристанища.

– Жарко у вас тут, – сказал дядя Боря.

– У нас вообще всегда тепло, – невпопад отвечал Игорь.

Земля была усыпана осколками, обломками, прутьями, похожими на использованные стержни от электросварки; в воздухе висела густая пыль, и земля ощутимо вздрагивала.

– Неудачно сели, да? – понимающе спросил Сереженька. – Сломали чего-то?

– Нормально все, – тихо ответил Игорь.

– А чего... разрушений вокруг столько?

– Пока неизвестно, – ответила Катька. – Ты, Сереж, подожди. Ему надо все узнать, он потом обязательно расскажет.

Игорь бросил на нее быстрый благодарный взгляд.

– Ну и где восьмой путь? – бодро спросила Катька.

– Налево, – сказал Игорь. – Только идите осторожно, видимость плохая.

– Оно и видно, – кивнул дядя Боря. – Там чего, таможня, на восьмом-то?

– Раньше пересадка была, – чуть слышно ответил Игорь. – На Альфу Центавра.

Не успели они сделать пяти шагов, как со всех сторон к ним устремились странные коричневые шары – Катька сначала приняла их

за местную растительность вроде перекасти-поля, но всмотрелась и узнала зверьков. Крупные, маленькие и самые мелкие, дылыны, тыгыны и еще какие-то, названия которых она не знала, – они ползли к ним, жалобно переваливаясь на коротких ножках, испуганно вытаращив круглые глазки, виляя толстыми хвостами. Зверьков было очень много, они копошились вокруг, насколько хватало глаз; некоторые жалобно пищали. В красноватом тумане виднелись раскиданные повсюду кофры и опрокинутые чемоданы, очень похожие на земные.

Катька нагнулась и взяла на руки одного зверька. Он блаженно зажмурился, прижал короткие ушки-рожки и облизал ей руки.

– Брось, Кать, – тихо сказал Игорь. – Зачем это теперь? Это же деньги.

– Это не деньги, – ласково ответила Катька. – Это не деньги, Игорек. Это ценности.

Она нагибалась, брала новых и новых зверьков – они лизали ей туфли, карабкались вверх по ногам и умильно смотрели снизу вверх.

– Ишь, животные, – радостно сказал дядя Боря. – Это какие, Игорь?

– Так, – сказал Игорь, – грызуны.

– Голодные, что ль?

– Ничего, они могут долго не есть.

До Сереженьки, кажется, начало наконец доходить.

– Тут чего? – спросил он Катьку вполголоса. – Тут тоже, что ли?

– Похоже на то, – сказала Катька.

– Ну да, – согласился он. – Штык впереди – назад осади, но, бога ради, что ж это сзади?!

Такими частушками и прибаутками он был набит под завязку, и прежде Катьку разозлила бы эта невинная хохма, но теперь она испытывала к мужу странную нежность, приступ солидарности. Ничего, он правильно реагировал. С чего она взяла, что Сереженька обязательно будет ныть? Сереженька был невыносим, когда вокруг все было нормально, но, когда у всех все было плохо, он был стопроцентно в своей тарелке.

– Всё в порядке, бабушка, – сказала Катька. – Ты как сама-то?

Бабушка молча кивнула, и по лицу ее Катька догадалась, что она тоже все поняла. Почему-то никого особенно не удивил именно такой

оборот событий – все словно были к нему готовы заранее; только дядя Боря до сих пор ничего не понимал, да ему, кажется, было в самом деле без разницы – он был одинаково готов функционировать в любых обстоятельствах. Игорь почти без слов, жестами и невразумительным мычанием о чем-то договаривался с Лыnguном; тот успокоился и вполне разумно кивал.

Далеко впереди, метрах в двухстах, сквозь дымку вырисовывался мощный колонноподобный силуэт: огромная лейка, уходящая в невидимую высоту, стояла в конце платформы, и к ней, толкаясь, теряя вещи, распахивая нерасторопных, бежала монолитная толпа. Катька не могла разглядеть отдельных существ – кажется, они были в самом деле похожи на землян, но попадались среди них и совсем необычные, похожие то на сгустки дыма, то на стоящую вертикально змею, то на чернильную кляксу; все это шло, бежало, катилось, толкалось, прилипало к земле, отдиралось, снова волоклось в общем потоке, и от жалкого шествия шли физически осязаемые волны ужаса. Земля вибрировала от топота, и неслышный, ультразвуковой вой плыл над руинами вокзала – Игорь и Лыngун болезненно морщились, им-то он был внятн.

Неожиданно все тот же мягкий металлический голос донесся из динамика на покореженном столбе – столб погнулся, но динамик уцелел, только в голосе звучали теперь новые, повелительные обертоны.

– Надо спешить, – перевел Игорь. – Эта ракета – последняя, больше рейсов не будет.

– А куда они летят? – спросила Катька. – На Землю?

– Нет, в эвакуацию.

– Куда?! Ты же говорил, что вокруг на двести парсеков нет жилых планет, кроме нас и вас...

– Есть резервная планета, – сказал Игорь. – Да их до черта вообще. Ты что, правда подумала, что их две? Вот центропунизм... Полно их.

– Вы что, просто всех нас взять не можете?

– Не можем, – сказал Игорь, опустив глаза.

– А вас всех, значит, отправить отсюда можете?

– А нас всех можем, – сказал он с вызовом.

– А мы, значит, низший сорт?

Он молчал, но тут к Катьке подскочил Лынгун. Выражение лица у него было неожиданно осмысленное, какого никогда не бывало на Земле, – жалкое, умоляющее, но разумное. Он тоненько выли и указывал на ракету, подпрыгивал, бежал на месте – по всему было видно, что умолял поторопиться.

– Он говорит, что мы не успеем, – перевел Игорь. – Говорит, потом все объяснит. Она правда сейчас стартует, Катя. Эта большая, не то что наша. Сейчас сказали, что она точно последняя. Не успеем ни черта, все тут сохнем.

– Ну ладно, – сказала вдруг бабушка. – Сяду я, что ли, отдохну.

Она с великолепным спокойствием уселась на свой древний чемодан на колесиках и отерла пот со лба.

– Жарко, – сочувственно сказал дядя Боря.

– Кира Борисовна, – умоляюще произнес Игорь. – Ну еще чуть-чуть, милая моя, тут же двести метров...

– И никуда я не поеду, – бабушка вытащила из кармана сложенную вчетверо газету и теперь невозмутимо обмахивалась ею. – И в сорок первом году никуда не поехала, и сейчас никуда не поеду...

– Да ты ведь уже поехала сюда, – чуть не плача, обняла ее Катька. – Ну чего ты, дойдем...

– И сюда не надо было ехать, это мне Господь знак дает. Я сверху видала, ничего, жить можно. Нечего нам тут. Еще куда поедем, потом еще куда... Где родился, там пригодился. И тебе, Игорь, нечего. И так уж сколько лет родину не видел. Отца хошь повидать, мать...

– Отца у меня нет, – сказал Игорь, – а мать, скорее всего, уже в ракете. Да, действительно, устал я чего-то...

Он сел у ног бабушки и погладил платформу руками, как Штирлиц перед возвращением в Берлин.

– Очень я любил это место, – сказал он и задохнулся. – Много раз возвращался сюда.

Мимо них с трудом, еле отрывая черное, дымное тело от усыпанного крошкой бетона, полз какой-то абориген – видимо, раненый, судя по липкому следу, тянувшемуся за ним. Он никак не поспевал за всеми, но страшно торопился. Может, его затоптали свои же, а может, он был куда-то ранен – по нему никак нельзя было понять куда. Тело его было бесформенным и зыбким, и по нему все время бежала дрожь, словно перекачивались волны; весь он был устремлен к

спасительной ракете, но силы покидали его, и наконец он безвольно растекся по перрону, продолжая вздрагивать и мелко зыбиться.

– Кто это? – спросила Катька.

– Метаморф. У нас много таких. Это вторая форма жизни, мы всегда уживались нормально. Они разные могут быть. Любую форму принимают.

– А сейчас что с ним?

– Ранен, наверное. Откуда я знаю.

Бабушка встала, раскрыла чемодан, достала оттуда ночную рубашку, быстро порвала ее на бинты, без тени брезгливости нагнулась к метаморфу и принялась его перевязывать. Она ловко пропустила полосу ткани под его скользкое тело, и еще, и еще раз, – тонкая льняная полоска сразу набухла черной слизью.

– Как вы его бинтуете? – спросил Игорь. – Это же метаморф, я говорю. Вы не знаете, где у него что...

– И-и, милый, – прокряхтела бабушка. – Я в сорок первом году не таких бинтовала.

Метаморф благодарно приподнял что-то и издал нежное урчание.

В эту секунду перрон содрогнулся, из-под огромной лейки вырвались языки пламени, и она медленно, чуть кренясь вправо, словно из нее собирались напоследок полить родную почву, пошла вверх, вверх, вверх – туда, где сквозь красный туман клопом ползло солнце. Солнце ползало по небу двумя клопами, вспомнила Катька. Откуда, собственно, я знаю эти стихи, кто написал их – и откуда знал? Почему оно двоится – не потому ли, что наблюдатель треснулся головой?

Но не успела утихнуть послестартовая вибрация, как на пятый перрон, куда полчаса назад приземлились они, тяжело рухнула бешено вертящаяся лейка поменьше. Взметая пыль, она еще некоторое время крутилась в дыму, потом замерла, и из разверзшегося люка вышел пожилой мужик вполне земного вида, в военной форме, знаков различия на которой в тумане не было видно. Следом за ним на перрон легко выпрыгнула Любовь Сергеевна.

– Мать? – не поверил глазам Сереженька. – Ма-ать! – заорал он и бросился назад, к пятой платформе.

– Маленький мой! – всплеснула руками Любовь Сергеевна и устремилась ему навстречу.

– Вот он, военный летчик-то, – радостно сказал дядя Боря. – Вот оно все и встретились. И хорошо.

Любовь Сергеевна тискала и тормозила сонную Подушу, обнимала нашего мужа и радостно делилась подробностями путешествия.

– Я так боялась! Я взяла только тех, кем могла рискнуть. Но мы долетели без всяких происшествий! И совершенно не укачало! – торжествующе добавила она. – Ты представляешь, в машине всегда укачивало, а тут – совсем ничего! Владимир Иванович замечательно вел. Я не думала даже, что он так умеет.

Тот, кого она называла Владимиром Ивановичем, четким военным шагом приближался к их маленькой компании.

– Честь имею, – сказал он сухо. – Эвакуатор Велехов. Так вам будет проще меня называть.

Он обернулся к Игорю и быстро хлопнул себя левой рукой по сгибу правой. Странное приветствие, подумала Катька. На Земле этот жест имел совершенно другой смысл – какой-то у нас действительно мир наоборот... Игорь так серьезно отдал честь в ответ – то есть опять-таки согнул левую руку и так далее, – что Катька, не удержавшись, прыснула. Эвакуаторы не обратили на нее никакого внимания. Самое удивительное, что Лынгун неумело повторил приветствие, и военный летчик Велехов потрепал его по волосам.

– Ыулун тыгырык, – сказал он снисходительно. – Ыукур тырыдык, ылын ыс?

– Как же, как же, – сквозь зубы ответил Игорь по-русски. – Напишешь ты теперь на него представление. Кому вы хотите писать представление, полковник? Вы тут, кажется, старший по званию, если только не прилетит Кракатук с инспекцией...

– Держите себя в руках, капитан, – с искусственной белогвардейской брезгливостью, всегда столь отвратительной в советских фильмах о гибели белой армии, процедил Велехов. – Чемодан вокзал, ювенес дум сумус!

– Говорите, пожалуйста, по-русски, – бросил Игорь. – Люди кругом.

– Вам угодно по-русски? – язвительно осведомился Велехов. – Не будьте бабой, капитан! Я объявляю вам взыскание!

– Эх вы в России набрались, – усмехнулся Игорь. – Давайте меня, может, сразу того – в расход? Свой в своего всегда попадет? Даешь перенос русских традиций на родную почву! Сделаем самоистребление лозунгом момента – самое время, десять человек осталось!

Велехов помолчал, потом хлопнул Игоря по плечу.

– И то сказать, капитан. Как-то я оскотинился. Простите, ребята, – обратился он персонально к дяде Боре.

– Да чего там, все свои, – пожал плечами дядя Боря.

– Что делать будем, капитан? Я на посадке копулятор помял, на Центавра не долечу.

– Ничего, полковник, починим, – сказал Игорь кисло.

– Ты сам-то как, нормалёк?

– Штатно.

– Ну, ты ас. Про тебя легенды ходили.

– Я вот что хотела уточнить, – сказала Катька, обретя наконец дар речи. – Может, хоть вы объясните, полковник, а то в последнее время Игорь как-то не того... трудности перевода... Вы не объясните, как это вышло, что в России работали три эвакуатора – и все трое прибились, в сущности, к одной семье?

– Ну, почему к одной, – нахмурился полковник. – Во-первых, большинство эвакуированных уже отбыли вместе с нашим коренным населением. От вас все-таки взяли довольно много народу. Это мы все с вами задержались по не зависящим от нас обстоятельствам... Во-вторых, у меня там в анабиозе еще шесть человек, я даже немножко перегрузился...

– Очень милые люди! – воскликнула Любовь Сергеевна. – Моя портниха, мой протезист, мой пациент с мамой... Мой ветеринар с женой... Кстати, эта портниха – милейший человек, я тебе говорила, – Колпашева!

Катька пошатнулась.

– Ты чего? – спросил Игорь.

– Ничего. Тошнит.

Любовь Сергеевна в упор посмотрела на нее и – Катька поклялась бы в этом на Библии – злорадно подмигнула с полным пониманием ситуации, какое всегда отличало тупых и хитрых людей. Ты думала убежать, дорогая моя? Добро пожаловать в рай. Тебя там встретит

Колпашева. И кто, собственно, нам внушил, будто нам известны критерии отбора? Допустим, нам нечеловечески повезло и мы угодны Господу. Мы расставляем чемоданы земных впечатлений, раскладываем пачки любимых воспоминаний (отчего-то мне кажется, что этот призрачный багаж сразу же начинает просвечивать, истаивать, разлагаться под пальцами, стоит нам попасть туда, где и без того Есть Всё) – и тут навстречу нам выходит некто смутно знакомый, некто, кого мы сразу узнаем даже после мучительных пертурбаций светлого часа: наш главный мучитель, который у каждого свой, исчадие ада, наш страшный антидвойник, антипод, знающий про нас все-все-все, потому что мы из вещества, а он из антивещества; так что же, его тоже взяли? Ну конечно! Откуда мы знаем, вдруг он святой? Можно было бы перенести, если б мы оказались в аду, а он в раю: это по крайней мере подтверждало бы наличие некоей системы ценностей, в которой мы на одном полюсе, а абсолютное зло на другом. Но перенести факт, что наши столь принципиальные различия до такой степени безразличны Господу, допустить, что внятного нам критерия вообще нет, а потому все наши нравственные принципы и догадки о природе вещей не стоят ломаного гроша, человеку в самом деле нелегко, и оттого происходящее поразило Катю много сильнее, чем разрушенный вокзал и красный туман на месте рая. Если вдуматься, никакого другого рая она и не заслужила, да и вряд ли ей было бы хорошо там, где все слишком хорошо. Наш рай – там, где уже случилось все, что может случиться, где нечего ждать и бояться, не с чем резонировать нашей скрытой внутренней трещиной; Господи, сделай так, чтобы Все Уже Случилось – и я могла не тратить души на засасывающий, воронкообразный страх; душа может мне пригодиться и для иных целей! Да, в таком раю, пожалуй, мне будет уютней, чем под хрустальным куполом; но как же я не учла, что у семейства Колпашевых точно такие же представления о рае, потому что для этих людей нет иного счастья, кроме известия о том, что у соседа сдохла корова, а на Альфе Козерога рухнул мир! О, в этом раю они разгуляются, в разрухе их некому будет остановить; в классе у меня всегда мог найтись неожиданный заступник, или учитель вошел бы в критический момент, и все-таки рядом, через улицу, были родители, – кто спасет меня здесь, неужели Игорь, беспомощный ангел-хранитель, чей мир только что разлетелся в клочья? До меня ли ему здесь, господи

помилуй! Здесь-то Колпашева натешится надо мной. Катька в ужасе обвела глазами жалкую толпу на перроне, но тут кто-то словно взял ее душу за руку, если такое было возможно. На нее внимательно и доброжелательно смотрели, и источник этого взгляда был ей покамест неясен. Бабушка? Но бабушка сидела рядом, безразличная и уставшая; смотрел кто-то другой, от кого она меньше всего могла ожидать поддержки. Это был Лынгун, чей взгляд был теперь осмыслен и почти осязаем. Этим взглядом он словно гладил ее, и Катька благодарно кивнула.

– А к вашему вопросу об одной семье... – Велехов почесал в затылке. – Что ж, приходится признать, что в нынешнем состоянии страны... приличных людей в самом деле было немного. И все они так или иначе группировались... ммм... в одном кругу...

– Ну! – радостно воскликнул дядя Боря. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком запросто!

Лынгун радостно захохотал. Катька никогда еще не видела его смеющимся.

Земля вздрогнула – на пятый перрон, рядом с первыми двумя, плюхнулась еще одна лейка.

– Это последняя, – сказал полковник. – Майор Тылык, из Штатов. Остальные успели. Как же это мы с вами так тормознули, ребята? Я еще понимаю, что россияне задержались – с ними всегда проблем не оберешься. Но этот-то что? Приличная страна же, на самом деле.

– Человека искал, вероятно, – хмуро сказал Сереженька.

Полковник взглянул на него с неудовольствием. Что поделать, надо было привыкать к новому сыну.

И тут Игорь завыл, опустившись на перрон и закрыв лицо руками. Он выл яростно, с надрывом, на одной ноте.

– Господи боже мой! – кричал он. – Господи, какая была планета! Загубили, всё загубили, а чего ради?! Ради мерзкой какой-нибудь ерунды, гнусной глупости, вонючего тщеславия! Сволочи, сволочи, лучших людей разослали спасать других, а сами погубили всё, всё! Господи, как же было не понять – где нам учить других, нам бы с собой справиться! Что же тут такое было, полковник?

Велехов молчал, мрачно покашливая. Игорь раскачивался из стороны в сторону.

– Какие сады, господи! Какие леса! Горы какие! И если бы только горы – сколько всего руками сделано! Какие дома, кинозалы, вокзал какой! Библиотеки, галереи! Кырылык крытый, кырылык открытый, залы для тургунгун, рыскылкун, ойок-кырыл! Бырст, бырст! Оголопуп, колотур, корлокут! Как все любили друг друга, господи, как берегли, как перед всем оказались беззащитны! Все невмешательство, невмешательство... Стырп, утутурс, полный, полный урулус! Кракатук, Аделаида, Тылынгун, аты-баты-эники-клец?!

В этот момент Катька понимала язык. Это значило: «Для чего вы оставили нас?»

Из врезавшейся в перрон третьей лейки смотрели оцепенелые америкосы.

Прозрачные орлы больше не пели, белые вороны не издавали своих нежнейших звуков, длинношеие слоны не забредали на окраины городов. Все здесь было для человека, а человека больше не было. Земляне не в счет.

Здесь птицы не поют, деревья не растут. Перестали звенеть лиловые колокольчики, не плясали у поверхности вод четырехконечные морские звезды. Только фрукты зрели и наливались, потому что не могли свернуть этого процесса. Но и для фруктов, наверное, это был последний сезон.

На второй день Игорь сводил Катьку в церковь. Церковь была высокая, пирамидальной формы, похожая на искусственную елку «Интэко» в районе Курского вокзала. Она была построена из очень дорогого и жаропрочного материала, а потому не пострадала в огне. Было что-то особенно жалкое в том, как бородатый Кракатук, длинноволосая Аделаида и маленький Тылынгун, все очень похожие друг на друга, с глазами навывкате и припухшей нижней губой, смотрели на входящих. Кажется, они смотрели на них с надеждой. Катька постояла у колыбели Тылыnguна, хотела положить ему записку, но вспомнила, что не знает языка. Тылынгун вряд ли понимал по-русски. Впрочем, как выяснилось, по-альфовски он тоже не понимал.

Но что удивительно – все как-то устроилось, и в самом скором времени. Катьке иногда даже казалось, что эвакуаторы все-таки знали друг о друге и находились в тайном сговоре. С помощью Любви Сергеевны они обеспечили себя риэлтором, стоматологом, ветеринаром, бабушка вообще была мастером на все руки, дядя Боря с поразительной легкостью осваивал любую технику, Майнат великолепно взрывала все, что двигалось и не двигалось, и даже у Сереженьки был уникальный талант – представьте себе, пригодился его строительный навык, чудесная способность созидать неожиданные вещи из запчастей, совершенно к тому не предназначенных. Он прекрасно строил жилища из обломков – большая часть домов в столице оказалась категорически непригодна для жилья, альфовцы умудрились как-то уж очень безжалостно расхреначить свою планету,

и все это в считанные дни; поистине, они во всем были впереди – в том числе и в разрушительных технологиях. Некоторые дома выглядели вполне целыми, но все перекрытия внутри обратились в труху, так что селиться можно было только в малоэтажных коттеджах с железобетонными перекрытиями, которые риэлтор наметанным взглядом мастерски выцеплял среди остальных строений. В обычные здания лучше было даже не заходить – все могло сложиться карточным домиком от малейшего сотрясения, или все двадцать пять этажей обрушивались на неосторожного посетителя; риэлтор четко определял, где жить, а наш Сереженька подлатывал потолки, заделывал дырки в стенах и при помощи дяди Бори чинил водопровод. Странное дело: он ничего не умел строить просто так, с нуля, но мастерски латал, чинил, ставил заплатки – то есть приводил в порядок то, что уже было сделано до него. На Земле проблема была в том, что всякое дело приходилось делать самому, – а Сереженька умел восстанавливать только то, что было уже разрушено. В его руках сломанные вещи обретали вторую жизнь – пусть они были уже невосстановимы в прежнем виде, зато в новом выглядели презентабельно и даже как-то задорно: вот, мол, на нас поставили крест, а мы еще очень даже ничего! На новой планете задача его облегчалась тем, что предназначения почти всех здешних вещей он не знал, и Игорь только головой качал, глядя, как Сереженька скрепляет провода с помощью щипцов для колки орехов, подпирает стены специальными звукозаписывающими панелями или конопатит щели гигиеническими прокладками.

Полковник Велехов занялся военной подготовкой. На планете в самом деле было это как-то запущенно. Альфа далеко не соответствовала своему гордому названию. Как угодно, а кое-что из земного опыта следовало сюда привнести – может, теперь планета сможет противостоять внешнему натиску или внутреннему кризису, а то и обоим вместе, как было в этот раз. Не зря же он сделал блистательную карьеру в российских войсках. Полковник Велехов устроил для всех обязательную физзарядку – не показушную, как в российской армии, а тщательно продуманную; вместо бега с полной выкладкой и тупой маршировки ввел комплекс упражнений по биомеханике, которую разучил при помощи Любви Сергеевны, а по вечерам писал устав гарнизонной и караульной службы. Он придумал

даже элитное подразделение «Альфа», в честь родного солнышка, но пока не мог его укомплектовать, потому что Игорь, пользуясь неременным правом любого эвакуатора, от тренировок наотрез отказался, а дядя Боря не подходил по возрасту, да и других занятий у него хватало. Покамест он отводил душу, по-суворовски воспитывая Лыnguна. Правда, у него имелся резерв – десяток американских тинейджеров, которых привез полковник Тылык на третьей лейке.

Полковник Тылык, не подумайте плохого, очень любил детей. Он честно пытался действовать по науке, отбирая среди американцев образцовых представителей всех земных рас – ведь именно в Штатах, в плавильном котле, можно было встретить их всех на сравнительно обозримом расстоянии; он долго мучился, собирая свою коллекцию, но потом всех оставил на Земле, а спас в полном составе семью Стоунов, воспитывавшую семерых приемных детей и трех своих. Стоуны были евангелистами и много занимались благотворительностью. По основной специальности Пол Стоун был геологом, а его жена – поварихой, так что колония выживших пополнилась знатоком полезных ископаемых и отличной кухаркой. Что до многонационального и пестрого детского коллектива, эти дети могли со временем дать жизнь новому населению планеты – потому что бросать ее просто так было жалко, да и починить копулятор в лейке Велехова оказалось практически невозможно; надо было сваривать новый, а это требовало времени.

Бабушка разбила огородик, договаривалась с цветами и плодами – и пара лиловых колокольчиков нехотя зацвела у нее, сначала выпустив из потрескавшейся почвы зеленый побег, а потом плавно развернув его в лиловую ароматную воронку. Из воронки пахло гарью, но с каждым днем слабей, и даже начинал пробиваться какой-то новый аромат, немного похожий на «Ландыш серебристый». Чтобы окончательно почувствовать себя дома, бабушка выгородила на окраине столицы четырехугольный участок земли, сама сбила крест из двух обломков чего-то непонятного (Игорь утверждал, что это лопасти разбившегося выртылета) и написала на нем: «Кузнецов Кирилл Алексеевич. 1912–1993». Теперь у нее была могила деда, и можно было ухаживать за ней, совершенно как в Брянске.

Даже Подуша нашла себя, сделавшись фактической хозяйкой зверофермы, которую разбили на окраине столицы, на бывшем

открытом стадионе для игры в тургынгун. Из былысок для тургынгуна соорудили загончики, туртышки превратили в кормушки, а прушки – в поилки.

– Прушка – такая штука, в общем, тебе не понять.

– Мне не понять? Почему это мне не понять? Может, ты скажешь, что я и в тургынгун не умею играть?

– Конечно, не умеешь. Из-за этого в школе все над тобой издевались.

– Послушай, что ты вечно распространяешь свою биографию на других? Никто никогда надо мной не издевался в школе, ты поняла?

– Конечно, конечно, милый. Но, может, тогда ты все-таки объяснишь мне, как играют в тургынгун?

– Пожалуйста, хотя в седьмом часу утра у меня плохо варит голова. Значит, так. Играют две команды по восемнадцать человек. Площадка разгорожена на две части. Цель игры – загнать тургын в гун, подвешенный к гун-крынке. В левой руке у каждого – туртышка, в правой – прушка. Ни в коем случае нельзя менять их местами. Туртышка обладает гундышными свойствами, а прушка – дордушными. Если правильно гундышить и изобретательно дордушить тургын, он попадает в гун. Важно также защитить свой гун от атаки противника, и этим занимается так называемый гункипер, в качестве которого я обычно и гунил в школе. У меня был номер один, я страшно гордился собой.

– Тебе не кажется, что получился какой-то квиддич?

– Сама ты квиддич, в квиддич играют на метле, а у нас туртышки.

– Хорошо, хорошо, милый, я вся внимание.

Так вот, Подуша отлично вписалась в новый социум, где не надо было ходить в садик. Младший ребенок Стоунов – пятилетний мулат Джимми – стал ей добрым товарищем. С Лынгуном она тоже постепенно находила общий язык, в самом буквальном смысле, ибо стремительно осваивала альфовское наречие.

Но главным ее увлечением стали зверьки – удивительно милые и домашние, чрезвычайно тянувшиеся к людям. Они, казалось, все понимали и даже простили альфовцам их предательство – кто же будет

брать с собой деньги на новую, неосвоенную планету, где предстоит долгий период натурального обмена? Только земляне, даже улетая на Марс, непременно взяли бы с собой несколько пачек долларов или рублей, хотя бы на карманные расходы, – просто потому, что в силу своей физиологии они не в силах расстаться с деньгами и, даже отдавая их в магазине, испытывают сильнейший стресс. Зверьки прекрасно прижились на стадионе, Польша ежедневно кормила их харлашем, который в изобилии разросся на улицах покинутого города, и учесывала с ласковым мурлыканьем. Тыгыны и дылыны оказались необычайно смышленными, приносили ей цветочки, плели веночки и даже убирали за собой, тем более что их навоз, как выяснилось, обладал целебными для землян свойствами и издавал слабый, приятный запах скипидара. Его, оказалось, можно прикладывать к ранам и вообще больным местам, и дядя Боря скоро полностью исцелился от радикулита, а у Любви Сергеевны прошли мигрени. Зато пенициллин оказался очень полезителен для метаморфа, да, а ты как думала, и метаморф скоро полностью выздоровел.

– Нет, нет! Наоборот, от первого же укола земного пенициллина он тут же исчез в страшных судорогах, потому что по природе своей был кишечная палочка.

– Это у вас бывает разумная палочка, а у нас ничего подобного, ему вкатили пять кубиков под металлоплатку, и он совершенно исцелился и даже размножился, и скоро метаморфов стало можно использовать для строительства новых жилищ.

– В каком смысле? Наши муж затыкал ими щели?

– Нет, они носили кирпичи.

– Нет ли тут физиологической дискриминации?

– Опомнись, какая дискриминация, просто они могут больше на себе таскать. Если хочешь, дядя Боря будет им помогать.

Дядя Боря нашел себя в совершенно другой области. Как известно, он отлично управлялся с любыми механизмами, хотя бы и внеземного происхождения. Он никогда не унывал, не особенно скучал по Земле и даже, кажется, считал, что они никуда не улетали – ведь механизмы были тут устроены совершенно по-земному, да и развалины были такие же. Бардак, одним словом. Иногда, когда он все-

таки пытался осмыслить происходящее (а это случалось нечасто, потому что хорошему шоферу и механику абстрактные размышления совершенно ни к чему), он допускал, что это все было какое-то спецзадание и забросили их на самом деле в какую-то дальнюю страну, вроде, может быть, Японии. А мы ее, вероятно, разбомбили из-за островов и вот теперь восстанавливаем в порядке братской помощи. У них есть, конечно, всякая японская техника, очень трудная для российского понимания, а все-таки доступная; есть биороботы, которые исцеляются пенициллином, и даже зеркальные стены для показа удивительных телепрограмм – правда, после того, как дядя Боря починил их, они стали крутить один сплошной «Аншлаг», потому что, я ведь говорил тебе об этом, зеркальная стена транслирует и оформляет именно твои тайные желания. А у дяди Бори были вот такие, ему неоткуда было взять других. Он собрал несколько экскаваторов, отремонтировал выртылет, и в перспективе из трех наших леек вполне мог бы собрать одну очень большую, чтобы улететь туда, к нашим, – но с нашими до сих пор не было связи, и экспедиция откладывалась. Не полетишь же наобум лазаря. Может, там трудности. А может, просто еще не долетели, все-таки это ужасно далеко.

Да и вообще – зачем еще куда-то улетать? Все, что не ладилось у землян на родной планете, здесь стало получаться само собой: может, потому, что начальства не было, а скорее всего, потому, что действительно воздух был другой. Там тоже была чужая планета, но они об этом не знали и старательно делали вид, что своя. А здесь явно чужая, и ни перед кем не надо было притворяться. Чужую не надо было оправдывать, когда на ней обваливался очередной дом; ее не надо было присваивать, потому что она и так принадлежала им, а национальных и территориальных споров между ними быть не могло, как не бывает их на необитаемом острове. И даже чеченка Майнат нашла себе дело – оружия было много, дынымыта тоже, это была такая местная промышленная взрывчатка для горного дела, взрывавай не хочу, и дядя Боря приспособил ее для взрывных работ в городе. Надо же было обрушивать старые дома, иначе они сами рухнут и могут придавить деток. Майнат с хищной, мстительной радостью закладывала в подвалы дынымытные шашки, отбегала и любовалась торжественным, медленным осыпанием. Ненависть ее к русским

немедленно улетучилась, потому что никаких русских здесь больше не было – вся русскость Катьки, дяди Бори и Любви Сергеевны испарилась, заменившись статусом Робинзонов. У Робинзона национальности нет.

– Да, чтобы не забыть: метаморфа прозвали Пятницей.

Так открылся универсальный рецепт спасения человечества: его оказалось достаточно всего лишь переселить. Дело даже не в том, что Земля – маленькая и тесная планета. Она большая, места всем хватит. Проблема в том, что она слишком давно заселена: переезд – необходимый и приятный стресс, даже квартиру надо менять раз в десять лет, а можно и чаще. Шутка ли – вечно жить в одном доме! Переезд сплачивает, забываются мелкие раздоры, начинается как бы новая жизнь. Главное же – на Земле все подспудно чувствовали, что их сюда сослали. Слишком много было паханов, надсмотрщиков, шутов – всё как в лагере, и здравые социологи давно бы уже заметили это сходство, если бы обладали хоть малой толикой фантазии. Ясно же, что такие отношения могли сложиться только в насильственно созданном коллективе. А земляне всё спорили, откуда на Земле возникла жизнь. Неоткуда ей было возникнуть, кроме как из другого, прекрасного мира, где она зародилась естественным путем, – а потому и отношения на Земле были как во всяком насильственном и замкнутом сообществе. Попытки к бегству периодически предпринимались, но какие-то все малоудачные – в околоземное пространство, максимум на Луну... И правильно: кого надо, и так отправят.

– Постой, постой. Но, выходит, дивный далекий мир тоже ни от чего не застрахован?

– Конечно. Смертны все, просто можно умереть от инфаркта, а можно от сифилиса. Не чувствуешь разницы? Представь на секунду, что было бы, объяви кто-нибудь тотальную эвакуацию у вас. Люди ломались бы в лейку, продавали бы место в очереди, затапывали слабых... А как у нас? Ты видела, как организованно все прошло у нас?

– Видела, спасибо, Пятницу вон бедного чуть не затоптали.

– Во-первых, это единственный Пятница, а у вас их были бы тысячи. Тысячи! А во-вторых, почему ты знаешь, может быть, он был ранен. Мы могли погибнуть от вторжения чуждой цивилизации, могли пострадать от войны или экономического кризиса, и даже, скорее всего, нас погубила какая-то чуждая сила; позволь, я это объясню. Мы все-таки были слишком хорошими. Мы не были готовы к отражению агрессии. У нас даже не было оружия, кроме дынымыта. Нас погубил проклятый принцип невмешательства, и когда кто-то решил нас истребить – нам нечего оказалось этому противопоставить.

– Кто же решил вас истребить? Где захватчики? Ведь просто так никто никого не истребляет, это же так естественно. Ну так где она, эта чуждая сила?

– Она... она нигде. Они вообще не ставили себе целью нас захватить. Это только у вас, на тесной Земле, возможны такие глупые, мелко-наивные объяснения. Что, может, вашим террористам нужно ваше метро, ваша земля, ваши женщины? Глупости, ваши женщины даже самим себе не нужны. Есть иррациональное зло, которое само себе причина, и оно вышло наконец из-под земли, вырвалось, потому что созрело. Это вообще не то зло, которое просто анти-добро. Это нечто третье, нечто из иной парадигмы, зло помимо всех объяснений и мотиваций, – зло, до такой степени брезгующее всем человеческим укладом, что ему не нужно от вас даже дани. Помнишь, как в стихике про черных птиц? Черные птицы кричат всю ночь, черные птицы хотят мою дочь. Он им предлагает все по очереди – свою душу, свой дом, свое лицо... А им ничего не надо.

– Господи, какой ужас.

– Да, именно такой ужас. Это зло может появиться и у нас, и у вас, и согласишься – ты же предчувствовала его с самого начала.

– Да, конечно, я даже с ним соприкасалась. У нас в классе была такая девочка.

– Если я правильно понял, ее звали Таня Колпашева?

– Да, ты понял правильно, слишком правильно.

– Ну вот. Так и тут. Только вы сами сделали все возможное, чтобы это зло победило, – помнишь, как Шамиль писал еще в первом письме? «Вы, русские, сами сделаете все, чтобы победили воины Аллаха». А мы просто сбежали, потому что за долгие годы райской жизни утратили навык сопротивления – и тогда они обратили

против нас наше оружие, взорвали наши дома и выгнали нас с планеты. И мы, вечные странники, улетели туда, где нас не смогут достать. Это, кстати, причина того, что никто не отвечает на сигналы. Наши улетели далеко, очень далеко, и никто не знает куда. Вокруг полно обитаемых планет, пойдя выбери. Но они никогда теперь не ответят на зов, чтобы их не запеленговали. Зло найдет их, конечно, и там, но к тому времени у нас уже будет разработан план эвакуации. Знаешь, ведь в каждой гостинице, в каждой школе прежде всего вешают план эвакуации. Это мы придумали. Вспомни фильм «Звонок».

– Отлично помню, я всегда любила ужастики.

– Но согласись, что это необычный ужастик. Обрати внимание, что у японского были объяснения, сиквелы, приквелы – а в американской версии Гора Вербински нет ни развязки, ни внятного разъяснения. Потому что девочка эта...

– Самара, Самара-городок, успокой ты меня...

– ...в американской версии взялась из ниоткуда и творит зло непочему. Так что Вербински все правильно понял, он все-таки мастер, а не просто ремесленник. Это примета времени – зло без причины, наделенное чудовищной, бесцельной силой. Радикальный ислам тут вообще ни при чем, он тоже станет жертвой, только чуть позже. Я же говорю – первые и вторые уравнились и взаимно уничтожились, пришли третьи, не желающие ничего присваивать. Ты же не отбираешь соломинку, если давишь двух муравьев? Они и не враги тебе, в сущности. Тебе просто нравится давить. Вот это и вырвалось, и поэтому ты не спишь.

– Еще мне холодно.

– Неправда, у нас тепло. У нас гораздо теплее, чем у вас.

– И что это зло будет делать дальше?

– Пока не знаю. Наверное, появится какая-то четвертая сила, которая его уравновесит, низведет или поднимет до себя, взаимно уничтожит... а победит, как всегда, пятая. И так до бесконечности. Только зло все злее, и культурка, которую оно успевает выстроить в старости, все беспомощнее. Посмотри, каким умирал Серебряный век – и какой гибнет ваша красная империя. Эмигранты грустили по России Блока, а ваши будут вспоминать «Кавказскую пленницу». И уверяю тебя, наша новая цивилизация тоже будет хуже. Там, на этой

планетке, куда они улетели. Всякий раз, когда начинаешь с нуля, что-то уходит. По-настоящему прекрасное можно создать, только когда детски веришь, что оно не будет разрушено. А если не верить – зачем и трудиться? Все равно какую-то часть души будешь экономить. Вот и наши, наверное, были настоящими титанами только до первой эвакуации, а потом все искусство было уже так себе.

– А что, была первая эвакуация?

– Ну конечно. Мы же теперь это обосновали. Всю жизнь бегаем от абсолютного зла, каждый раз начинаем с нуля. Если бы не эти бегства, кто бы придумал профессию эвакуатора? Согласись, ее могла создать только цивилизация, которая много эвакуировалась.

– Да, логично. Но скажи, не опасна ли для нас, землян, эта ваша цивилизация абсолютного зла, преследующая вас повсюду?

– О, ничуть не опасна. Не опасней, чем слон для муравья: если и наступит, то по чистой случайности. Наше абсолютное зло – это не ваш уровень. Ваш уровень – чеченцы, извини, пожалуйста, за высокомерие. Ваш уровень – это Майнат. А у нас такие Майнат... что лучше тебе не думать об этом, если честно.

– Подожди, подожди. Но, значит, ваши улетели безвозвратно и навсегда? И догнать их мы никогда не сможем, даже если дядя Боря починит копулятор?

– Да, конечно. Кто не успел, тот опоздал. Но вообще-то, знаешь... На Альфе вполне можно жить. Починим водопровод, расчистим руины, восстановим зеркальные стены. Выучимся играть в тургынгун. Дети вырастут. Подростки размножатся. Любовь Сергеевна поглядывает на американца, у летчика нежные чувства к американке, дядя Боря любит чеченку: пока – как дочь, там посмотрим. Да и у нашего мужа что-то такое с рыженькой Стоун, усыновленной из России и почти забывшей русский язык, но ничего, вспомнит. Всем хорошо.

Все уладилось, осела пыль, иссяк дым, горький запах руин и пожарищ сменился весенним духом пробуждающейся земли, – стала видна невинная синева вод и кроткая зелень лесов, мягкие контуры холмов и гибкие петли рек, вся тихая прелесть планеты, выбранной для жизни теми, кто презирал драку и умел только убегать. Мягкость эта волшебным образом подействовала на ожесточенные земные сердца, и всем

нашлось наконец место в общем деле – всем, кроме Игоря и Катьки, которые только и были среди всей этой идиллии по-настоящему несчастны.

Причина была, конечно, не в той вполне объяснимой неловкости, с которой им помог справиться наш бывший теперь уже муж: Сереженька, найдя себя и пользуясь в коммуне заслуженным авторитетом, имел теперь в жизни другую опору, кроме Катьки, и сам сказал на исходе второго дня: ребята, я же все вижу, не стесняйтесь. Я и в лейке все слышал, ты же знаешь, Кать, у меня бессонница. Чего там, я давно тебе в тягость, ты лучше меня и умней, живи как знаешь, а я попробую тебе не мешать. И с Подушей видься сколько хочешь, это на Земле все было проблемой, а здесь – занимайте любую квартиру и живите сколько влезет. Кстати, у Игоря наверняка квартира целая («Не целая», – буркнул Игорь). Ну, найдете, в общем. И вы не думайте, пожалуйста, что я в обиде. Я, Кать, давно тебе хотел сказать, на Земле еще... что, в общем, наверное, мы ошиблись оба. Ничего, поправить не поздно. А Подуше когда-нибудь потом вместе объясним.

Теперь они, не скрываясь особенно, жили в одном из коттеджей на окраине столицы, и наш бывший муж даже зашел к нам починить стену, причем вел себя вполне прилично, великодушно, а Игорь как раз нервничал и не мог, против обыкновения, сладить с проводкой. Беда была в том, что все на них косились, за общими трапезами они никак не могли попасть в тон коллективного разговора, на совместных работах вечно оказывались в паре (таскали носилки, пилили дрова), а с другими никак не могли поладить. Ни полковник, ни Лынгун не заходили к ним в гости – иногда только забредала Майнат, отрывисто рассказывала, как заложила отличную бомбу в подвал тридцатиэтажки, только пыль столбом; особенно ей было интересно, возьмет ли ее Аллах в рай или не зачтет всех нынешних взрывов, поскольку бегство с поля боя способно перевесить множество заслуг и добродетелей. Игорь говорил, что она уже в раю, какого ей еще рая – взрывчатки море, взрывай не хочу...

Тетка-портниха Колпашева, кстати, тоже оказалась не так страшна, как ее малевала брянская племянница. Конечно, брать ее в рай стоило исключительно по протекции, потому что она была прежде всего непроходимой дурой, начисто лишенной той убийственной интуиции, которая делала Таню исчадием ада; при этом она была в

самом деле визглива и базарна, так что выносить ее близость даже и Тане было, должно быть, нелегко, – но и самая базарная визгливость, и самая отчаянная пошлость, бытующая в кругах, где ходят к своим портникам, влюбляются в своих гинекологов и читают Иоанну Хмелевскую, все-таки далеко не так ужасна, как изощренное самоцельное мучительство. Колпашева, к счастью, нашла себе другую жертву – она упорно и тайно ненавидела Пола и Стефани, которые, как ей казалось, привезли на Альфу чуждые ценности и теперь всюду утесняли русских. Катька думала об этой ее маниакальной сосредоточенности со стыдным облегчением, и еще непонятно, что было бы хуже: самозабвенная тяга портнихи Колпашевой к ценностям свободного западного мира – или патриотическая ненависть к нему. Главное, что до Катьки ей не было никакого дела.

Проблема была не в конкретных людях, и не в отсутствии комфорта, и не в мучительной тоске по разрушенному раю, который они обрели так не вовремя. Проблема была в том, что оба чувствовали себя бесконечно чужими на этом празднике жизни, почти все участники которого сдружились и ласково друг друга оберегали от нежелательных случайностей. Только Игорь и Катька никому, кроме друг друга, не были нужны.

Начать с того, что у обоих не было никакой приличной профессии. Катька, конечно, могла кашеварить – но все уже готовили себе сами, да и что было, в сущности, готовить, когда харлаш повсюду рос сам, а барласкун, который в изобилии давали уцелевшие барласкухи, достаточно намазать на дурык? Игоря можно было использовать как тягловую силу, но физической мощью он не отличался, а машину не водил – только ракету. Ракета же им в обозримом будущем понадобится не могла. Ни у художницы Катьки, ни у эвакуатора и космического пилота Игоря не было никакой сколько-нибудь земной профессии, особенно из числа востребованных в реконструктивный период. Катька, конечно, умела рассказывать сказки – но не по-английски; Игорь мог с закрытыми глазами собрать и разобрать лейку – но ничего не понимал в экскаваторах. У эвакуаторов была слишком узкая специализация. Конечно, он мог чинить проводку – но тока давно не было, а наладить автономную электростанцию –

- ...они, наверное, хранились в подвалах на всякий случай?
– Да, конечно.

наладить такую электростанцию мог и ребенок, а провода там саморегенерирующие.

С этим, однако, можно было бы мириться. Ужасно было другое – им решительно не о чем было говорить с остальными. Все эти люди – латающий дыры муж, гуляющая с собакой и понемногу обучающая американцев русскому языку Любовь Сергеевна, золоторукий дядя Боря, пиротехническая Майнат и грезящий спецподразделением полковник – были на своем месте, не говоря уж о геологе с кухаркой; все смотрели на Игоря и Катьку с тайной укоризной, потому что после крушения мира людям не до преступной любви – а эти двое полюбили друг друга так не вовремя, да вдобавок так демонстративно. Игорь не очень нравился бабушке – молчалив, нервозен, вечно всем недоволен; Катька вызывала стойкую идиосинкразию у Стоунов. Эти двое не могли участвовать в общих мероприятиях вроде викторины «Вспомним Землю родную»; их не привлекали танцы и коллективные трапезы. Они были отдельно от всех и не могли с этой отдельностью ничего сделать; особенно тоскливо было то, что на них смотрели с тяжелым подозрением, как на виновников всего происшедшего.

- Это ты загнула.
– Ничего подобного, именно так и обстояло дело.

Их считали частью того самого иррационального зла, от которого рухнуло все. И хотя Катька каждый день навещала Подушу, играла с ней, укладывала ее спать, она никогда не оставалась ночевать у Сереженьки в его латаном-перелатаном домишке, сплошь состоявшем из взаимоисключающих вещей и стилей, а Сереженька никогда не отдавал Подушу ночевать к ним с Игорем. Нечего ребенку смотреть на разврат.

Эта неприязнь ни в чем особенном не проявлялась. Наружу она вырывалась крайне редко, да и то почти всегда по Катькиной вине. Со стороны жизнь на планете была почти так же идиллична, как и до катастрофы, – если бы, разумеется, было кому смотреть на нее со стороны. Ветеринар лечил барласкух, геолог разведдал много полезных

ископаемых, которые и ископал, на радость присутствующим; только Игоря и Катку кормили из милости, хотя добыча еды –

...повторяю –

и не представляла особенных трудностей. Просто они и здесь были всем чужие, как на Земле, и чем больше своими делались друг для друга – тем больше их ненавидели все остальные.

Теперь им пришло время поменяться ролями: уже не она водила его на экскурсии – «Улица, ряд домов, ее освещает фонарь», – а он объяснял, время от времени переходя на их парольный инфинитивный русский:

– Тут быть коркынбаас, большое количество домов, но не ряд, не улица, как у вас, а такая круговая, спиральная фигура, гораздо интересней. Тут кафе, но каждый быть сам готовить еду из продукт, который покупать здесь же. А вот магазин «Одежда», смотри, почти ничего не забрали. Только теплое, наверное. Выбирай что хочешь: это лырын, надевается через голову, это быдыс, повязывается вокруг шеи, а это сыурчук – в него заворачиваются. Бери, у нас давно бесплатно. По-моему, тебе очень ыдет.

Только на пятый день он решился пойти туда, где стоял когда-то его дом.

– Мне, наверное, лучше одному, – сказал он Катке.

– Игорь, если можно, я все-таки с тобой. Мало ли.

– Что – мало ли?

– Ну, не сердись. Мы же вместе теперь. Возьми меня, правда.

Он пожал плечами:

– Хочешь – пошли.

Его дом стоял в зеленом когда-то, а теперь начисто выгоревшем районе, около разбомбленного парка с изуродованными и расщепленными старыми деревьями, похожими на тополя. Была весна, из красноватой почвы изо всех сил перла новая трава, от старых стволов стремительно отрастали побеги – гибкие, вьющиеся, ползучие.

– Это такое дерево, – пояснил Игорь. – В первом поколении прямо растет, а во втором, если срубить, – только ползает. Ствол уже никогда не отвердеет, вырождение в чистом виде. Их у нас запрещено было

рубить. Кстати, у нас почти все деревья так. Вырубишь – очень быстро дает ползучий побег, весь лес заплетает.

– А если побег выдрать? Третья стадия есть какая-нибудь?

– Не знаю, никто не пробовал. Наверное, это будет вроде ваших грибов. Что-нибудь совсем простое и уже не зеленое.

Парк стремительно заплетало вьюном, курчавыми горизонтальными плетями – вторым поколением местных деревьев. Пруд тоже зарос, и уткам, вернувшимся на него после зимовки, трудно было плавать среди сплошной речной травы. Дом Игоря стоял в глубине большого коркынбааса – кругом все попадало, но он уцелел. Это была высокая башня из черного камня, с мертвыми выбитыми окнами и оплавленной пожарной лестницей.

– Ты представляешь, он весь был белый, – сказал Игорь. – Абсолютно. Назывался тыргын-доон, белая башня.

Во дворе, заваленном рухлядью и обломками, на асфальте еще видны были «классики» – точная копия земных. Игорь вошел в подъезд.

– Осторожно, рухнет же все!

– Здесь не рухнет. В этом квартале все было сверхпрочное.

Катка избегала смотреть на него. Она боялась увидеть его лицо.

– Ты на каком жил? – спросила она, глядя под ноги.

– На седьмом.

– Поднимемся? Или не надо?

– Не надо, – сказал он. – Подожди, я только одну штуку проверю.

Он подошел к обгоревшим почтовым ящикам.

– У нас газеты давно не выходили, все электронное. А ящики висели, типа на память. Ты гляди, у меня и ключ цел.

Он открыл ящик. Оттуда выпала плоская прямоугольная пластина. Игорь быстро достал из кармана небольшой прибор, похожий на диктофон, вставил пластину в щель на боку и нажал кнопку. Прибор заговорил срывающимся женским голосом. Катка не могла разобрать ни слова.

Игорь слушал молча, и по лицу его ничего нельзя было сказать.

– Мать, – шепнул он.

Запись закончилась. Он убрал диктофон в карман.

– Ну что? – тоже шепотом спросила Катка.

– Говорит, что все улетают неизвестно куда. Обещает дать знать сразу, как только устроится. Говорит, обязательно увидимся.

– Как же эта дискета не сгорела?

– Не знаю, – сказал Игорь. – Сейчас сгорит.

Он достал из кармана земную зажигалку и поджег белый прямоугольник. Он мгновенно вспыхнул и сгорел, как дачные письма.

– Игорь! Зачем! Это же от матери!

– И что? – сурово посмотрел он на Катюку. – Мать – она во мне, а не в записке. Что ты заставляешь меня банальности говорить, честное слово! Вещь выполнила свою миссию, передала информацию. Хранить, душу травить... фетишизм землянский... По-хорошему, и домой не стоило заходить. Знаешь, почему у вас всё хранят? Потому что не верят ни черта. Письма, записочки берегут как доказательство... Я одного знал – он хранил списки продуктов, которые ему жена писала в магазин.

– Зачем?

– Не знаю. На случай голода перечитывать. У нас никто ничего не собирал. «Коллекционер» вообще было ругательство. Мать у меня коллекцию землянских марок нашла и выбросила. Правильно сделала.

Катюка не знала, что делать. Надо было его обнять, утешить, найти единственные слова, но тут, в каменном остоле, который был его домом, она не чувствовала никаких прав на него. Зря он взял ее с собой – хотя одному ему наверняка было бы хуже.

– Она точно успела улететь? Все нормально?

– Да, конечно. Она мне всегда оставляла записки в ящике. Никогда не встречала на вокзале, всегда ждала дома с обедом. А внизу записка, чтобы я знал. Иногда ведь ее дома не было, она в школе работает. Ее со школой эвакуировали в первой ракете, это она здесь говорит... Я прилетаю, а тут всегда записка. Это наш ящик, пятьдесят третий.

Он поморщился и отвернулся.

– Вообще, ясно было, что все так кончится, – сказал он, помолчав. – Слишком хорошо все было. Так не бывает. Если здесь так хорошо, где-то обязательно плохо. Сами накликали.

Они вышли из выгоревшего дома. Жалобно скрипела дверь, болтаясь на одной петле.

– Быстро ржавеет все, – сказал он. – А на будущий год все заплетет вьюном, вот увидишь. Он знаешь как быстро ползет?

– Я что говорю-то, Игорь, – осторожно начала Катька. – Я все пытаюсь понять: эвакуаторами ведь от хорошей жизни не становятся, а? Это же не для всех профессия. Человек же не просто так улетает черт-те куда, связывается с землянами, иногда женится на земной дуре вроде меня? Может, у вас тоже было не совсем того... и ты от этого улетел?

– Эвакуаторами, Кать, бывают по двум причинам, – сказал он терпеливо, словно ей было не двадцать пять, а максимум десять. – Либо потому, что человеку на Альфе слишком плохо, либо потому, что слишком хорошо. Из первых получаются эвакуаторы так себе. Они берут в первую очередь ветеринаров и дантистов. Из вторых выходят ребята вроде меня, не сказать чтобы суперпрофессионалы, но все-таки классом повыше. Они берут тех, кто может понять Альфу. Полковник Велехов это знает и никогда мне не простит. Да, конечно, я знал, что рано или поздно... и скорее рано, чем поздно... Очень уж все было хорошо. Мы такие были беззащитные, такие беспечные! Собственно, ведь и ожидание катастрофы, которое нас с тобой так роднит, – оно тоже может быть по двум причинам. Либо все слишком отвратительно, либо чересчур замечательно. Я потому, наверное, и старался проводить тут меньше времени: так и звенело в воздухе. Но не от ненависти, Кать, нет, – осенью у вас так иногда бывает: день такой синий, яркий, тревожный... И непонятно еще, когда сильней предчувствуешь гибель: в такие вот синие и ясные дни – или когда все сыплется и ветер шумит. Мне все казалось, что живем в каких-то сумерках, при конце прекрасной эпохи, – но кончается она не потому, что испортилась, а потому, что была слишком прекрасной. Я нигде не чувствовал себя в такой безопасности...

– Понятно, дом же.

– Но эта безопасность была – знаешь, как под теплым одеялом в холодной комнате. Очень хрупкая и потому особенно острая. Понимаешь?

– Как не понять. Я как раз примерно в таком положении.

– *Что, холодно?*

– *Ладно, неважно.*

– *Я могу еще протопить...*

– *Лежи, лежи.*

– На Земле, – продолжал он, – там все ясно: все как бы, извини, по заслугам. Так нарывались, что напоролись. А у нас здесь...

– У вас тоже напоролись. Только на внешнюю силу.

– Да, наверное. Хотя черт его знает. Я допускаю, что и внутренняя могла.

– Откуда?! – поразилась Катька. – У вас ведь была идиллия!

– Идиллия в последней стадии, когда она уже переходит в распад. Могли и сами себя... Знаешь, как я это понял? Меня лет в семь мать впервые повела в зоопарк. Я тебя потом свожу, хотя его, конечно, тоже эвакуировали. Такая была коллекция... и никто не сидел в клетках, все – в дикой природе. И вот мы пришли, а там старушка сидит, рядом с кассой. И говорит: «Купите кепочку». Продает кепки всякие со зверями.

– Слушай, я же у тебя ее видела в сентябре! Ты в ней на работу один раз пришел! Я еще подумала – откуда такие фантастические звери?

– Да, мне мать тогда купила сильно на вырост. Она нам и не была нужна, собственно, кепка-то. Но старушка с такой интонацией просила, что нельзя было не взять.

– Что, очень жалобно?

– Да нет, вот землянство неистребимое! Можно просить без жалобности, можно давать от щедрости. У нас все было очень щедро, вот. Очень избыточно. Никто ничего не прятал, все делились. И если хочешь знать – эвакуацией ведь занимались мы одни. На других планетах тоже могли вас отслеживать и брать ваших к себе, но вот им было не до вас. Вообще ни до кого. А мы везде рассылали эвакуаторов, самая модная была профессия. Мы так всех и просили: купите кепочку! поешьте нашего пирожка! айда на нашу планету! Всё – от избытка, всё – бери не хочу. А такая щедрость – она до добра не доводит. Она сама по себе признак какой-то высшей, конечной стадии развития. За которой только большой взрыв – и привет. Так что очень может быть, что это все, – он обвел рукой черные башни своего коркынбааса, – сделалось ходом вещей... У вас – кара за недостаточность, у нас – крах под тяжестью избытка.

Он замолчал. Минуты три они молча, медленно шли назад – в парк с прудом и вьюнами. Пахло почти как на Земле весной – горечью,

пылью, гнилью.

– И потом, – выговорил он зло, – ваши же все равно меня никогда не признают до конца. Я для всех инопланетянин, для всех! Мне вашу земную логику никогда не понять. Я даже твою не совсем понимаю. Я знаю только, что ты рано или поздно оставишь меня – это тоже ваше, земное, необъяснимое...

– Ну Игорь! – Она тормошила его, распушала волосы, целовала в подбородок, до которого едва могла допрыгнуть. – И чего ты выдумал, что тебя все наши не любят? Бабушка моя, например, очень любит!

– Бабушка замечательная... – вздохнул Игорь.

– И дядя Боря тоже!

– А тут школа моя была, – он вдруг остановился возле металлической ограды, серебристой, в человеческий рост, густо заплетенной вьюном.

– Ты ее любил?

– Не то слово. Каждое утро бежал как на праздник. У нас ее все любили. Учителя были такие... сейчас таких не бывает. А у вас таких вообще забыли, когда видели. Театральный кружок у нас тут был, для эвакуатора это первейший навык. Я серьезно в артисты готовился. Но потом решил, что эвакуатор благородней.

– И кого же вы ставили?

– Да много кого. Шыкспира, например.

– О-о! А своих что, нету?

– Своих не так интересно. У нас-то, чувствуешь, всё гораздо легчевесней? И дышать легче? Я уже привык, что надвое живу. У вас – тяжело, и поэтому скоро все провалится. У нас – слишком легко, и поэтому скоро все взлетит.

– В принципе да, – важно согласилась Катька.

– Знаешь, что я больше всего любил? – спросил он полусшепотом. – Вот когда с репетиции идешь... осень, часов шесть... Светло еще. Допустим, сентябрь. И так таинственно... Таинственно, уже когда выходишь из пустой школы. Я очень любил оставаться после уроков. Такое все необязательное. У нас вообще был культ необязательного, не скажу, что у всех, но это входило в самую идеологию планеты. Делать без принуждения, помимо необходимости. Избытки, излишества, внеурочности... Мне нравилась пустая школа, в которой кончились занятия, нравилось репетировать в актовом зале,

идти пустыми коридорами, потом медленно, никуда не спеша, с портфелем – домой. Мне казалось, что все люди со мной в заговоре. Я шел мимо поликлиники, мимо рыбного магазина... навстречу всё попадались тихие, таинственные и доброжелательные прохожие, которые на меня смотрели со скрытым одобрением: как это я, так явно принадлежащий к тайному обществу, не боюсь тут ходить в открытую? А кроме театрального, у нас еще был литературный кружок. Мы даже делали свою радиопередачу. Клуб умных детей. И по нему тоже было видно, что и такой клуб, и такие дети могут быть только в гибнущей стране. Столько приличных людей она просто не выдержит. Я это знаешь когда почувствовал? Когда клуб стал распадаться. Кто-то не мог приходить из-за учебы, потом из-за романов, из-за собственных детей... Я тогда понял, что обречено всякое сообщество, которому хорошо вместе. Его мир раздавит. Так и с планетой. А между прочим, здесь я впервые поцеловался.

– Можно повторить, – сказала Катька и тут же испугалась: ведь это было все равно что целоваться на кладбище. Обугленные деревья лежали кругом, и школа, все перекрытия которой провалились вниз и лежали на первом этаже бесформенной кучей, просматривалась насквозь.

Игорь, как всегда, все понял.

– Господи, сколько у вас всего напридумано лишнего... Почему нельзя целоваться на кладбище? Место как место. Тоже были люди, тоже целовались. – Он прижал ее к себе и потерся щекой о ее короткие мягкие волосы, сам стриг позавчера, больше некому.

– Игорь, – Катька высвободилась и слегка отстранилась. – Я тебя давно хочу спросить: ведь, наверное, много народу погибло. Эвакуация ведь у вас началась только после того, как кого-то уже... убили, так?

– Да, наверное.

– А почему трупов нигде нет? – решила она наконец. – Что, всех успели похоронить и только потом улетели? Маловероятно, не находишь?

– Смешная ты, Катька, – сказал он. – Ты все думаешь – все у всех одинаково. У нас человек сразу исчезает, весь.

– И куда девается?

– А куда он на Земле девается? Туда же, в химические элементы. Только у вас элементов меньше. У нас знаешь какая периодическая

таблица? Три разворота в энциклопедии. Даже мать не все помнит, а она у меня химию преподает.

– Подожди. Что, умираешь – и тебя нет?

– Ну да, это везде так. На всех планетах. Просто у вас ошибка эволюции – процесс очень замедляется. Пока всякие там процессы... негигиеничные... лет восемь, а то и десять. А у нас сразу. Как улетел.

– *Это ты хорошо придумал.*

– *Я не придумал, это так и есть.*

– *Но в сортир ты ходишь, я знаю, знаю, знаю!*

– *Ну, милая моя, до такого совершенства, чтобы в сортир не ходить, эволюция никогда не доскачет.*

– *Тогда подожди, я сейчас.*

– *Давай, ведро на террасе.*

– *Ну вот. Брр... холодно... Двинься! Продолжаем разговор.*

– И что... вокруг нас... все эти невидимые люди? – спросила Катька.

– Ну и на Земле так же. Тех, кто давно умер, все равно ведь не видно.

– Значит, вокруг школы тоже... и вокруг домов...

– Конечно.

– А бессмертие души у вас есть?

– Откуда я знаю. У нас, скажем так, об этом спорят. Согласно религиозной концепции, все делятся потом на три категории. Люди действия попадают в распоряжение Кракатука, люди милосердия – к Аделаиде, а неразвитые и несформировавшиеся – к Тылынгуну.

– А злодеи?

– Злодеев давно нет, они все на Земле. Откуда взяться злодеям? Ну, если родится случайно – тоже к вам поедет.

Он снова прижался к ней.

– Другое дело – мы не учли, что у вас там будут такие Катьки. У нас здесь таких не было.

– А ты точно не был здесь женат?

– Не помню, – сказал Игорь. – Был, не был, какая разница?

– Большая.

– У вас, землян, вообще много лишнего в памяти. Историю вашу невозможно учить. От нее так же много лишнего остается, как от вашего человека, когда он умер. Ничего не надо хранить. И хоронить не надо. Это же одно слово, а вы сделали два. У нас в языке и одного-то нет на такие глупости.

Кажется, он разозлился.

– А между прочим, ваши искренне считают, что я и есть крайний. Сорвал с места, увез куда-то... На Земле бы еще, может, обошлось, а здесь, куда я вас привез, уже точно не обошлось.

– Да никто тебя не винит, успокойся, пожалуйста.

– Винят, я знаю. Мне вполне хватает того, как эта Сергеевна на меня смотрит.

– Успокойся, она на всех так смотрит, кроме полковника.

– Нет, это вообще интересно! – Он начал заводиться, и Катька была рада, что он хоть отвлекся от воспоминаний. Они шли по узкой улице, перешагивая через поваленные деревья; наверное, когда-то здесь было очень зелено – рябая тень, запах первой листвы... – Ты сама говорила, что она тебя терпеть не может, что не одобряла этого брака, ты не достойна ее сокровища... чинила хренов... так? Он, наверное, и дома все чинил, все хранил, ничего не выбрасывал. Такой был ужасно домовитый. Коврички из проволочки, полочки из дерьма...

– Игорь! Ну что ты, действительно... Что ты заводишься-то? Все же еще будет отлично! Ты в самом деле думаешь, что ничего нельзя восстановить?

– Восстановить можно. Но это будет уже не наша планета.

– Господи, да какая разница! На Земле-то вообще уже жить нельзя!

– Здесь тоже скоро станет нельзя.

– Да? Из-за двадцати землян?

– Это сейчас двадцать. У вас это быстро.

– Да что они такого сделают? – Катька обиделась и даже топнула ногой, и тут же из трещины в асфальте хлестанула длинная нежно-зеленая плеть. – Тьфу, черт... как растет, да?

– Вот и у вас так же. Вы очень быстро распространяете себя... Когда тут была нормальная среда, и люди делались нормальные. А сами по себе они тут такого наземлят... с полочками из дерьма...

– Слушай, в конце концов! Я обижусь! Мы – ваши ссыльные, у нас там черт-те какие условия... мы создали грандиозную культуру... у вас близко не было ничего подобного!

– У нас отношения были человеческие, это да. А Шыкспира не было, конечно.

– Теперь будет! Игорь, нечего тут, серьезно. Хватит. Я сама землянка, между прочим.

– Землянка быть маленькая хатка, норка, – сказал он грустно. – Вот ты уже и язык забываешь. Там бьется в тесной печурке огонь, и до смерти четыре шага, как нам. А ты есть не землянка, а землячка.

– Землячка быть старая большевичка, страшная тетка, бах-бах пистолет Крым. Я вижу, у нас нет адекватное слово для обозначение уроженка Земля. Наверное, ваши каторжники считали нас слишком второсортными существами, чтобы еще как-то обозначать.

Катка пыталась его отвлечь, но он все мрачнел.

– Выживут они нас с тобой отсюда очень скоро, сама увидишь. Меня – за то, что я их увез, а тебя – за то, что ты все это устроила. Сергеевна, между прочим, убеждена, что и Москва из-за нас взорвалась. Ей небось кажется, что это я все устроил, чтобы вас сюда эвакуировать как бесплатную рабсилу.

– Слушай, что ты обращаешь внимание на Сергеевну? Она больная на всю голову!

– А полковник, между прочим, все сделает для своей кисы. Киса скажет – давай выгоним Игоря! И полковник не посмотрит, что мы с одной планеты. Он на Земле знаешь сколько торчал? Заземлился по самое не могу. У нас и термин был такой, заземление, – эвакуатора старались пораньше отзывать, чтобы не очень проникся вашими гадостями. Но этот во вкус вошел, ни в какую. Не могу, говорит, покинуть горячую точку! Двадцать с лишним лет землился, два раза только в отпуск слетал. Вообще ракету водить разучился, копулятор сломал при посадке, чуть не угробил всех...

Катка молчала. В том, что он говорил, был резон. Ей совершенно не хотелось видеть остальных, и даже америкосы Пол и Стефани были невыносимы со своими ежевечерними проповедями, чтением вслух и какой-то особенной, почти вызывающей некрасотой: непонятно было, что делают вместе такие некрасивые люди. Они словно предъявляли друг друга Господу – видишь, Господи, с кем приходится иметь дело

ради совместной работы во имя твое! И отношения у них были демонстративные – подчеркнутая взаимная внимательность: идеал семьи, живой пример, каков и должен быть истинный евангелист, – чтобы случайные свидетели позавидовали и обратились! Дети у них были милые, но пустые, в глубине души ничуть не привязанные к родителям (сама-то ты хороша, одернула себя Катька). С Тыльком они ладили, а Игоря почему-то недолюбливали: вероятно, уже знали историю разрушения семьи.

Что касается Любви Сергеевны, то она уже никого не стеснялась и за общими трапезами кидала на Катьку такие взгляды, что девушка с менее крепкими нервами давно обратилась бы в горстку праха. В этой антипатии теперь уже не было никакой логики – нашему сыну предпочли другого человека, обидно, но мы ведь с самого начала не желали, чтобы наш сын связывал судьбу с пробивной провинциалкой; теперь провинциалка избавила нашего сына от своего общества... но зато втравила в такое сомнительное предприятие! Любовь Сергеевна совершенно не брала в расчет того печального факта, что без Игоря наш муж вообще бы, скорее всего, погиб; ее не останавливало и то, что сама она влюбилась в эвакуатора! Нам можно, а вы не смейте; нормальный дворовый закон. И что самое удивительное – точно так же посматривали на Игоря и чеченка, и ветеринар, и дантист: было в нем что-то слишком инопланетное. Ни Тылык, ни Велехов не вызывали у землян таких чувств. Видимо, это были заземленные эвакуаторы первого типа. А этот был второго, эвакуатор из любви к родине, – здесь, на руинах родины, ему именно этого и не прощали.

Все закончилось неожиданно и гораздо быстрее, чем сама Катька могла предположить. Прошла неделя, полная безотчетной и необъяснимо копившейся ненависти к ним, после чего плотину внезапно прорвало. Это случилось на дне рождения Стефани, праздновавшемся семнадцатого ноября – даром что на Альфе весна была в разгаре, все жили по земному календарю.

Преыдушую неделю Игорь по обыкновению работал с утра до вечера – то есть путался под ногами у остальных и навязывал им свою помощь. Он всем брался рассказывать про планету, про то, что тут было раньше и как надо устроить теперь, – но никто этих советов не слушал, потому что альфовские технологии были исключительно сложны и прихотливы, а земные способы оказывались проще и

надежней. Вместо того чтобы соединять две новонайденные детали изоощренным и почти ритуальным способом – долго нагревать, потом проглаживать специальным утюжком, потом охлаждать, сгибать и полчаса держать в воде, отчего образовывался тончайший, еле различимый волосяной шов, наш муж грубо сколачивал их гвоздем, причем по одной детали от гвоздя немедленно начинала змеиться молниевидная трещина, точь-в-точь плеть плюща. Игорь вообще умел договариваться с альфовскими вещами – почти как бабушка со своим домом и огородом, где ей довольно было пошептать – и картошка с редиской урождались лучше, чем у Катьки после всех ее усилий. Игорь подбирал две, казалось бы, непреодолимо разные штуки – зеленый переливающийся кристалл с обломанным краем и гнущее, витое застывшее волокно, похожее на деревянное лекало, что-то долго над ними колдовал, приговаривал, нежил и разогревал их пальцами, прибавлял вдруг красноватую острую железку – и из трех разнородных предметов образовывалась пленительно изящная конструкция, которая – сразу ясно – могла быть только такой, никакой иной, но она в свою очередь была деталью системы куда более сложной, которая не существовала больше, а потому полчаса с ней мучиться было совершенно бессмысленно. Наш муж взял бы два деревянных лекала, вогнал их длинными концами в стену, высверлив предварительно дырки, сверху положил бы длинную сухую ветку, и получился бы типа карниз для штор. Игорь порывался объяснить, что вот это была машина для показа оптических иллюзий, в десятки раз отчетливей и наглядней голографических, – но дядя Боря дунул, плюнул, что-то подвернул, и получилась удобная тележка для перевозки тяжестей, которую с прежней установкой объединял только дистанционный способ управления: нажал кнопку – пошла, нажал другую – встала. Единственное, она медленно ехала, но по крайней мере был толк.

Дядя Боря вообще вел себя как аэлитский Гусев на Марсе – с той разницей, что Гусева инопланетные сложности умиляли и развлекали, а дядю Борю скоро стали раздражать, да вдобавок его начала всерьез мучить ностальгия. Шестым чувством – начисто отсутствовавшим, скажем, у Пола и Стефани – он понимал, что здесь все-таки совершенно другой мир, даром что приемлемый воздух и неотличимо земные пейзажи; вероятно, он хоть сколько-то понимал язык техники, а техника эта своим языком говорила ему, что нечего сюда соваться со

своим земным рылом. Пейзажи об этом умалчивали, а потому америкосы с приемным выводком прогуливались по окрестностям и неумолимо ботанизировали, в то время как дядя Боря все более угрюмо преобразовывал хитрые и явно злокозненные альфовские предметы в земные: распрямлял согнутое, заколачивал неподатливое, соединял несоединимое. Игорю было больно на это смотреть. В отличие от других дядя Боря к концу второй недели совершенно отчетливо понимал, что его заманили в принципиально иную вселенную, нарочно устроенную так, чтобы именно русскому человеку довелось острее всего ощутить в ней свою неполноценность. Собственно, и на Земле все складывалось так, что русский человек был самый бедный, но чтобы этот закон действовал и на Альфе! – здесь было уже свинство поистине космического масштаба. Поделиться этой тоской можно было только с Сереженькой, которого тоже обули мерзкие иноплеменники. Станным образом тоска от столкновения с чужим выражалась у дяди Бори в ненависти к своему – в точности как ужас от взрывов превращался у московской власти в страстное преследование подвернувшихся россиян, – и дядя Боря все чаще покрикивал на окружающих, а метаморфов пинать побаивался. Да и что толку было пинать метаморфов? Они были как кисель и ничего не чувствовали.

Иногда, впрочем, на дядю Борю нападал оптимизм. Обычно это случалось, когда какая-нибудь особенно упрямая вещь начинала-таки служить его целям, то есть обнаруживала чисто земное предназначение. Например, Стефани он подарил вполне приличное ружье, хотя и бьющее на малые расстояния. Оно годилось пугать метаморфов, если обнаглеют и полезут ласкаться, или сшибать с веток вкусные лиловые плоды, похожие на наши яблоки, но со вкусом клубники. Игорь шутки ради сказал, что от них можно забеременеть. Правда, сбивать их было бессмысленно – если пулька попадала в них, они разлетались, а когда падали на землю, расшлепывались в кляксы. Фрукт был нежный. Подуша для эксперимента накормила им зверьков, но никто из них не забеременел. Тогда она сама съела фрукт и полюбила его на всю жизнь. Если его как следует попросить, он падал сам – прямо в руки, не разбиваясь; этому Подушу научил Лынгун, но по-земному он так и не заговорил. Она его понимала без слов, а дядя Боря не понимал и поэтому придумал свой прибор. Впрочем, прибор

годился на многое, и если его усовершенствовать – в перспективе могло получиться вполне приличное оружие. Обороняться, мало ли.

Этого Игорь и не стерпел. Когда дядя Боря, выпив правильно замороженного и чуть хмельного барласкуна, достал подарок и торжественно вручил его Стефани, Игорь вскочил, чуть не опрокинув импровизированный длинный стол (сколоченный дядей Борей и Сереженькой из остатков фотонного мелиоратора), и потребовал отдать ружье ему.

– Ты чего, Игорек? – невинно удивился дядя Боря.

– Отдайте, пожалуйста, – повторил Игорь.

– То ж подарок! – воскликнул дядя Боря. – Подарков не передаривают, Игорь!

– Не волнуйтесь, – вступила Любовь Сергеевна. – Это же совершенно безопасно!

– Дело не в том, опасно или безопасно. Дело в принципе. На этой планете оружие запрещено.

Тылык переводил Полу и Стефани, они сдержанно кивали.

– Но позвольте, – сказал Пол, дослушав перевод. – У нас, например, разрешение на оружие вполне можно было получить, при условии психической адекватности... Мне кажется, что вы сейчас пытаетесь ограничить права Стефани. Ведь она не предполагает наносить вред живым существам... В конце концов, это *podarok!* Не исключено, кроме того, нападение агрессора, и мы должны встретить его во всеоружии.

– Нам все равно придется думать об армии, капитан, – веско заметил Велехов. – Я давно об этом говорил, писал докладные... Никто не хотел слушать, вы же помните. В результате мы оказались совершенно беззащитны перед нападением. Бежали как зайцы неизвестно куда. Я предпринимаю усилия, чтобы запеленговать наше новое местожительство, но пока тщетно. Они прячутся даже от своих. Есть шанс, что мы никогда больше их не увидим.

Игорь сел, потом встал снова. Катька еще никогда не видела его в таком смятении – даже в первые минуты на Альфе.

– Я хочу только сказать, что мы не имеем права... нарушать закон планеты, на которой живем.

– Да чего не имеем-то! – воскликнула тетка-портниха Колпашева, которая в силу особенностей русской жизни начала XXI века

одинаково уместно выглядела бы и на великосветском рауте, и в торговом ряду. – Чего не имеем, когда ничего уже не имеем! Нас тут ждали, можно подумать! Нас, можно подумать, прилично приняли! Сами позвали на свою планету и сами ничего не обеспечили, вообще! И будут еще учить!

– А ты помалкивай, – строго сказала ей бабушка. – Наела мясов – и трясешь.

– Что я наела, то никого не касается, – ответила портниха. – Вы мне рот не можете затыкать. Вам надо о душе думать, а вы рот затыкаете еще.

Катка сжала кулаки.

– Мы, к сожалению, действительно не сумели обеспечить вам встречу, – медленно сказал Игорь. – Но обеспечить соблюдение законов мы пока еще можем. Я очень прошу вас... нас всех... не портить друг другу наш первый праздник.

Тылык переводил, Стефани кивала.

– Да чего праздник! – воскликнула портниха. – Какой праздник, когда тут все привести в порядок – надо лет десять впахивать, как после войны! Я все понимаю, конечно, на Земле, может, мы вообще бы уже не были живы, но просто не надо устанавливать свои законы! Не мочь быть так! – От волнения она заговорила по-инопланетному.

– Игорь, – мягко сказал ветеринар. – Я хорошо понимаю ваши чувства. Мне кажется, вы просто должны осознать, что это уже не ваша планета.

– Я догадался, – сказал Игорь.

– Догадаться мало, – мягко сказал ветеринар. – Надо осознать.

– Вы напрасно тратите слова, – вступила Любовь Сергеевна. – Есть люди, для которых совесть – вообще пустой звук, абсолютно! Вы тоже, Андрей Петрович, давно уже могли бы понять, что эти колонизаторы ворвались к нам, сами все устроили, а потом отправили нас сюда как бесплатную рабсилу! Это воюющая цивилизация, они постоянно воюют, и теперь нас прислали сюда разгребать, а сами улетели домой! Совершенно же понятно, что их настоящая планета там, а здесь они что-то захватили и нашими руками таскают каштаны из огня! Причем обратите внимание, что они лишают нас возможности защищаться. Мы порабощены полностью!

Любовь Сергеевна обладала фантастической способностью выстраивать и убедительно обосновывать худшую версию чужого поведения.

– Простите меня, – тихо сказал Игорь. – Мне не следовало эвакуировать вас. Правда, я вас и не эвакуировал...

– Кис, это ты хватила, – неуверенно сказал полковник. – Мы все-таки...

– Я не о тебе говорю, Володя, ты пешка! Прости, но ты пешка! Я давно поняла, кто тут главный. Кто тут ходит и пытается устанавливать свои законы. И кто пособник, я тоже давно поняла. Не думайте, пожалуйста, что если вы спелись, то мы в свое время не будем вас судить за предательство. Будет время, и вы ответите за свое предательство. Вы по земным законам ответите и по небесным.

Она смотрела на Катю в упор. Глаза ее метали молнии.

– А вот мы сейчас спросим, – сказал дядя Боря и встал со своего места. – Мы молчали, но мы спросим. Мы спросим сейчас, как оно все было и как сговорились.

Он решительно направился к Игорю, но замер на месте как вкопанный.

– Система дубль пятнадцать, – одними губами сказал Игорь. – Не бойся, Катя, это я умею.

– А я не понимаю, Сережа, почему ты молчишь! – воскликнула Любовь Сергеевна. – Я понимаю, что, может быть, твое мужское самолюбие...

– Да что мужское самолюбие, – тихо сказал наш Сереженька, как он это умел. Таким образом он обычно разгонялся перед тем, как заорать. – Что же, я давно понимаю. Я простой человек, а она художник. Мне каждый день давали это понять. Что вот у нас творческие запросы, а ты давай как знаешь. Нам не привыкать, мы свое место понимаем. Нам надо плевать на свои, может быть, творческие запросы, которые мы тоже имеем, и обеспечивать творческий труд высшего существа. – Голос его уже набухал слезами; с барласкуна, оказывается, тоже можно было как следует запьянеть. – Да, я понимаю, ты выше меня... ты лучше меня... но зачем было все пять лет самоутверждаться на мне?! Ты думаешь, я не видел... не понимаю ничего?! Ты знаешь, сколько у меня было всего за эти пять лет?! Я мог, я должен был... она была чистая, удивительная... я

должен был уйти! Но как же я мог! Художница, высшее существо... дочь... семья... И вот теперь я здесь, и на моих глазах!

– А вот мы сейчас спросим кое с кого, – грозно повторил дядя Боря.

Повисла гнетущая пауза. Дядя Боря мучительно боролся с системой дубль пятнадцать. Неожиданно раздался резкий, отрывистый смех Майнат.

– Русские свиньи! – закричала она. – И здесь передрались! Сейчас совсем друг друга поубивают! Давайте, давайте! Русские свиньи!

– Хенде хох! – неожиданно вскрикнула Стефани на чистейшем немецком, подняла свое ружье и стала переводить его с Игоря на Майнат и обратно. – Вы все тут быть заговор, но мы сейчас будем выводить чистая вода! Мы будем сейчас здесь тут шнель шнель строить айне кляйне арбайтен новый мировой порядок!

– Мы будем сейчас немножко спрашивать, – повторял дядя Боря.

Так осуществилась наконец антитеррористическая коалиция, для успешного функционирования которой оказалось достаточно всего лишь перелететь на Альфу Козерога.

– Следует, однако, отметить, что и на Альфе Козерога усилия коалиции обратились прежде всего не на то, чтобы нейтрализовать чеченку Майнат, а на то, чтобы подверг-нуть остракизму одну малозначительную художницу и одного оципанного ангела.

Браво!

И тогда Катька вскочила, сжала кулаки, затрясла головой и завела свою любовную песнь, которую мы тут воспроизводим практически без купюр.

Любовная песнь Катьки

Игорь, заводи лейку! Заводи лейку!

Игорь, солнце мое, возлюбленный мой, душа души моей, полетели отсюда!

Игорь, нам больше нечего тут делать!

Это больше не наша планета.

Мы не спасемся ни на одной из ее сторон,
Ни на северной, ни на западной, ни на южной, ни на
восточной,
Ни на одной из тех десяти, которые не входят в земную розу
ветров!
Ведь она была такая многогранная, такая многоугольная,
И всякой твари находилось на ней место,
И каждому был уют, и каждому убежище,
Но теперь на ней нигде, никогда, никому нельзя будет
укрыться
От добродетельных слесарей, осторожных ветеринаров,
Прозорливых шоферов, патриотично настроенных
безработных,
Девочек с пластинками на зубах, военных летчиков с
повадками джентльменов,
Всех, кто заслужил свою участь и так понапрасну спасся!
Игорь, заводи лейку, заводи лейку,
Игорь, заводи свою шарманку, полетели отсюда,
Включай мультивизор, нагревай культиватор,
Транслюкируй свой транслюкатор – и ключ на старт!
И всюду, куда мы с тобой прилетим на лейке,
Нас встретят руины, огни, воды, покореженные медные
трубы,
И везде, на какой бы перрон мы с тобою ни приземлились,
Круша ветки, вертись волчком, поднимая пыль, опрокидывая
табуретки,
В лепешку расплющивая копулятор, столько уже
претерпевший, –
Толпы будут ползти, задыхаться, спешить к последней
ракете,
Вот-вот готовящейся стартовать туда, куда нас не пустят.
Везде, где бы мы с тобою ни очутились,
Будет глад, и мор, и чума, и огненный ветер,
И расплата за все и сразу,
Потому что любовь – это ровно такая эвакуация,
Которая только в такие места и эвакуирует.
Потому что – и я знала, знала, знала с самого начала –

Любовь – это огни, воды, покореженные трубы,
Перевязанные во избежание последствий,
Это идти вдвоем по стерне, хрустящей первым морозом,
Тащить чемодан ненужных вещей, раскрывающийся
ежеминутно,
Это прятаться по ночам в стогах, в погребках пережидать
облавы,
Умолять, чтоб пустили из милости, дали воды, швырнули
горбушку.
Потому что любовь – это выход из всех договоров, из всех
раскладов,
Выпадение из всяких рамок, отказ от любых конвенций,
Это взрывы, воронки, шлагбаумы, холодные ночи,
Танцы на битом стекле, пиры нищеты и роскошь ночлежек,
Нескончаемая тоска полустанков и перегонов,
Неописуемый ужас мира, понимаемый по контрасту.
И уж если мне попался эвакуатор –
Отрывай меня от ребенка, эвакуируй меня отсюда,
Забери меня в путь, у которого нет конца и начала,
Только станции и полустанки – Тарасовка,
Столбовая,
Альфа Центавра, Свиблово, далее непонятно,
Вывеска обгорела, буквы не прочитаешь,
Только и видно, что крошечная тьма да искры.
Игорь, заводи лейку, заводи лейку,
Сердце души моей, полетели отсюда,
Это эвакуация, это эвакуация,
Вы слушали группу «Эвакуатор», покажите мне
ваши ручки,
Мы полетели туда, где глад, и мор, и скрежет зубовой,
Прощайте все, поминайте лихом, приятного аппетита,
Ад, марш за нами, и даже с опереженьем,
Ты должен нас встретить там, куда мы прибудем.

Катка остановилась и перевела дух. Все молчали. Она стояла, прижимаясь к Игорю и спрятав лицо у него на груди.

- Да, – сказала бабушка, – поезжайте. Так оно правда будет лучше.
- Подушу не отдам, – быстро сказал Сережа.
- Мама! – завизжала Подуша.
- Ничего, ничего, – сказала бабушка. – Уляжется все – прилетите.
- Пошли, Катька, – прошептал Игорь. – Правда, пошли.

На пятой или шестой по счету планете они проснулись поздним осенним утром в маленьком дачном доме, в котором остановились на ночлег. Это была обычная землеподобная планета, каких в окрестностях Альфы в самом деле оказалось много – больше, чем надо. Непонятно было, чем руководствовался Кракатук, создавая такое количество совершенно одинаковых планет, на которых их встречали совершенно одинаковые вещи. Всюду, не успевали они подлететь, проступали контуры разрушенных городов, красный туман и толпы беженцев. Везде было одно и то же – голод, холод, эвакуация, как будто толпы беженцев удирали именно от них.

Планеты все были одинаковые, но жители на них разные – иные бритые наголо, иные с остроугольными ушами, иные с золотыми зубами, а некоторые с песьими головами. Была планета туманная, как бы кисельная, в атмосфере которой плавали остатки каких-то давно погибших сущностей – зверей, людей, растений, добра и красоты. Была планета сухая, песчаная, на которой веял бесконечный ветер, разнося песок, и стояли среди пустыни одинокие качели. Была планета морская, лазурная, с одним маленьким островом посреди океана, на коре одной пальмы было вырезано «Здесь аномалия!», а все жители делись неизвестно куда.

На одних планетах было много чудес техники, на других последним достижением считался телефон, на третьих техника не развивалась вовсе, а ценилось только искусство. Одни аборигены верили в Бога, другие – в прогресс, а третьи – в огненного змея, обитавшего в земных недрах. Роднило все эти миры только то, что все они погибали. Безопасные миры, наверное, тоже существовали, но туда Игорю с Катькой хода не было.

Эта пятая или шестая планета еще не погибла, но уже собиралась. Они были приятно удивлены тем, что попали в относительно спокойный дачный поселок. Здесь можно было переночевать в пустом доме, который Игорь привычно открыл. Все дома на разных планетах открывались одним ключом, и из всех домов их рано или поздно выгоняли – либо оставшиеся аборигены, либо вновь прибывшие

захватчики. Катька успела привыкнуть к этому. Она знала, что, пока они вместе, их будут выгонять отовсюду, а как жить теперь без Игоря, она не представляла. Он умел чинить лейку, открывать дома, договариваться с вещами, рассказывать сказки, читать стихи. Стихов он знал великое множество.

В бумажном мешке на террасе нашлись дрова, Игорь заварил чаю и нашел в буфете банку засахарившегося варенья. Они протопили печку, и дом ожил. Катька так устала от бесконечных странствий, что почти сразу заснула, но почти сразу же и проснулась. Было холодно, и что-то странное незримо ползло вдоль стен, словно менялся мир за пределами их утлого прибежища.

– Игорь, ты хорошо запер лейку?

– Да, она в сарае.

– Ну ладно. Только не спи. Поговори со мной, а то я чего-то боюсь.

– Еще бы не бояться. Ты же не спишь совсем, вот тебя и пробивает.

– Да, не могу. Тебе самому разве не страшно?

– Пришли и сказали – дитя, мне страшно, – прошептал он. – Взяла я лампу, дитя, мне страшно, взяла я лампу и пошла к нему. У первой двери, дитя, мне страшно, у первой двери пламя задрожало. У второй двери, дитя, мне страшно, у второй двери пламя заговорило. У третьей двери, дитя, мне страшно, у третьей двери пламя умерло. А если он возвратится – что мне ему сказать? Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать.

– Ну вот, – сказала Катька. – Теперь не страшно. Я когда-то боялась этих стихов, а теперь они наш пароль. Удивительно, сколько всего может произойти за одну ночь. Это сколько же мы протрепались?

– Часа три. Видишь, уже светает. Это называется теория относительности.

– А... да. Ну, давай хоть часика три поспим. А утром поедем, ладно?

– Куда?

– Куда-нибудь.

Они заснули и спали долго, почти до полудня, и спали бы дольше, если бы Игорь, научившийся реагировать на малейшее постороннее присутствие, не вскочил с кровати и не бросился к окну.

По участку ходил чужой человек.

Он был невысок ростом, смугл, сутул и готов к дальней дороге. За плечами у него был рюкзак, а на ногах болотные сапоги. Он осматривался, принюхивался и наконец пошел к дому. Заглянул в окно. Игорь встретил его взгляд – глаза воспаленные, но спокойные, хозяйские. Он смотрел на Игоря как владелец этого дома и не отводил глаз.

Игорь быстро натянул джинсы, прыгнул в сапоги, взял на террасе полезную вещь в брезентовом чехле, снял чехол и проверил готовность вещи к использованию. Вещь была готова. Игорь вышел на крыльцо.

– Кого ищем? – спросил он, переходя для уверенности на милицейское первое лицо, множественное число.

– Да так, смотрим, – неопределенно, без тени смущения ответил гость. У него был легкий, почти незаметный восточный акцент. – Я гляжу, занято, ну, значит, занято. Мне что, живите пока, я не против.

– Вот я тоже думаю, – сказал Игорь. – Спасибо типа, что разрешил. Это мой дом, вообще-то.

– А... Ну, раз твой, так и правильно. Извини.

– А чего случилось-то? – спросил Игорь.

– Беженцы, – просто ответил восточный. – Из Москвы уходим. На соседнем участке есть кто, не знаешь, нет?

– Справа есть, – сказал Игорь. – К нему лучше не попадай, честно тебя предупреждаю.

– Да ты тоже, вижу, подготовился, – улыбнулся гость.

Что-то в нем было не так; Игорь не мог еще внятно этого обозначить. Хорошо, что Катька спит. В общем, видно было, что до поры гость будет вежлив и осторожен, но почувствует в хозяине малейшую слабость – и вцепится так, что не оторвешь. С этим гостем что-то сделали. До поры до времени его терпели, он жил в столице, приноровился, работал на самых черных и дешевых работах, но за это исподволь прибирал город к рукам, обживал, делал его своим; его караулили в подворотнях, мутузили в электричках, но он выживал, отказываясь воевать в открытую, хотя гостей в городе уже хватало и можно было перейти в наступление. Теперь его начали громить по-настоящему, и он, сохраняя внешнюю покорность, уходил из города на ближние подступы, чтобы здесь, на пустых осенних дачах, собраться с силами и сосредоточиться; больше ему пока некуда было деваться. Он

мог, конечно, уехать к себе на родину, но родина была далеко, и делать там больше нечего – она и так уже его. А здесь еще можно было поспорить, потому что в открытой войне у гостя было больше шансов. Он был хуже вооружен, но больше умел. Он умел выжидать, караулить, обходиться немногим. У него все было хорошо с реакцией и памятью. Город его выгонял, но городу не так-то много и оставалось. Он и так уже полупарализован – из него даже на электричке не выберешься, а внутри даже маршрутки ходить перестали. Если немного переждать, можно будет войти туда уже не гостями.

Игорь быстро обернулся. Он подумал вдруг, что, пока его отвлекает первый гость, сзади может подкрасться второй. Но сзади никого не было.

– Ты один, что ли? – спросил Игорь.

– Зачем один, много, – улыбнулся гость. Самое неприятное, что он улыбался ему как союзнику. Они словно были в заговоре, хотя Игорь не собирался с ним ни о чем договариваться. Впрочем, палачу всегда кажется, что он с жертвой в заговоре. Так ему проще действовать. – Ты опусти штуку-то эту. Я же сказал, раз твое, то твое. У нас так, честно: мы чужое не берем...

– Ты иди давай, честный. Ты как на участок-то залез?

– А не заперто было, – сделал гость удивленное лицо. – Вон открыто...

– Ладно, не свисти. Кругом марш давай отсюда, – скомандовал Игорь.

– Зачем так говоришь, – улыбнулся гость. Он явно тянул время.

– Ты смотри, – сказал Игорь пересохшими губами, – эта вещь стреляет.

– Ай, ай! – сказал восточный и поднял руки, не переставая улыбаться. – Ай, смотри, страшный какой! – но отступил к забору.

– Иди, иди давай.

– Да опусти пукалку, я же по-доброму...

– Давай, давай. В Москве с вами уже поговорили по-доброму, теперь и мы можем.

– Да тут не Москва, – спокойно сказал гость. Он вышел за калитку и, все еще оглядываясь на Игоря, пошел к следующему участку.

– И чтобы на этой улице ваших не было! – крикнул Игорь вслед.

– Тыргун балаклар! – крикнул гость.

Игорь не понял, что это значило, но по интонации догадался, что его послали подальше.

Игорь сел на скамейку под облетевшей березой и перевел дух. День был тревожный – серое небо, мутное солнце, холод. И дяди Коли, как назло, не было, черт его понес в Чехов за продуктами. Даже обсудить не с кем. Не надо было москвичам их выгонять. Ясно же, что далеко они не уйдут. В городе им сейчас, конечно, делать нечего – уйдут в подполье, но тогда ведь настоящая война. Неужели они не понимают, как мы на самом деле слабы? Да понимают, конечно, именно это и пугало его в госте. Он знает, и я знаю, что он знает.

На крыльцо вышла заспанная Катька.

– Ты тут? Я думала, ты сбежал.

– Ну что ты. Никогда в жизни.

– Ой. А это у тебя зачем?

– Ну... так. Сижу, тебя охраняю.

– Меня что, кто-нибудь может украсть?

– Ну а как же. Очередь стоит на мое сокровище.

Она, как всегда, все поняла и присела рядом.

– Слушай, ты чего-то психуешь. Случилось что-нибудь?

– Нет, ничего. Что мы намерены делать?

– Мы, я так полагаю, намерены ехать в Москву.

– Ты своим звонила?

– Из дома еле слышно. Он тоже только что проснулся, новостей пока не было, говорит – всё без перемен. Подуша только плачет.

Она зевнула.

– Ой, какая я разбитая вся...

– Немудрено. Бурная ночь. Шутка ли, пять планет.

– Но согласись, что со зверями...

– Да, отлично. Я прямо за тебя порадовался. И вообще вдвоем сочинять гораздо легче. Что-то в этом есть – в этой идее, что нашим миром управляет не один Бог, а двое и у них есть третий, маленький. Этот третий подбрасывает иногда прелестные ляпы.

– Ну да. Это, знаешь, как мыльную оперу пишут два человека, один любит героя, а другой не любит. В одной серии у него выигрыш в лотерею, а в другой, не знаю, с работы выгнали и жена ушла. После чего в следующей новая работа и новая жена. А он, бедный, понятия

не имеет, почему у него жизнь такая полосатая. А это просто авторов двое.

– Знаешь, что мне безумно понравилось? Вот эта твоя идея насчет Лынгуна. Ты отлично его изобрела.

– А мне понравилось – ты помнишь, по мне даже мурашки пошли, – когда тетка Колпашева прилетела. Это был шикарный ход, я и ждала чего-то подобного.

– Ну, это ты и сама бы могла. Ясно, что, если Танька про нее рассказала, персонаж не может повиснуть просто так. А саму Таньку я хотел сначала туда отправить, но не смог бы ее замотивировать. У тебя чудесно было про военного летчика, весь этот диалог с ювенес дум сумус...

– Спасибо, магистр.

Он посмотрел на нее уважительно и недоверчиво – все-таки она понимала даже слишком много. Катька знала этот взгляд, иногда на нее так смотрели – когда она, от которой никак не ожидали хватания звезд с неба, придумывала особенно удобное художественное решение или когда вставляла вдруг в чужой разговор свои пять копеек. Что подделаешь, не дал Бог особенно эффектной внешности и врожденного изящества манер, но это и сбрасывало – возникал контраст.

– Не называй меня, пожалуйста, магистром.

– Почему? Типа тот страдает высшей мукой, кто радостные помнит времена?

– Да ну, глупости. Это вообще очень глупая строчка. Как раз тот, кому есть что вспомнить, гораздо счастливее. У него жизнь хоть как-то оправдана.

– А почему тогда?

– Потому что это все была ерунда, и я не люблю, когда мне про нее напоминают.

– Не такая уж и ерунда. Гораздо лучше, чем водку пьянствовать.

– Не вижу разницы.

– А я вижу. И потом, если я правильно понимаю, ты же продолжаешь играть?

– Как посмотреть. По крайней мере, деревянным мечом уже не машу.

– О да. – Катька кивнула на ружье. – У нас тут реквизит гораздо более серьезный.

– Это как раз не игрушки, к сожалению. Портит всю картину. Честно говоря, я надеялся, что ты так и не увидишь эту прелесть. Пришел дурак и поломал сценарий.

– Ничего-ничего. Я тоже не совсем дитя. Мне только было интересно, оно настоящее или ты и тут подготовился.

– Нет, оно как раз настоящее. Кать, я боюсь, ты сама несколько заигралась. Ты не очень понимаешь, что будет в Москве. Сейчас лучше иметь такую штуку.

– Что будет в Москве, – сказала Катька, нервно зевнув, – я очень хорошо понимала с того момента, как туда переехала. Удивительно наглядный город, город крепкий.

– Ну а чего тогда?

– А того, что любой проткнет тебя прежде, чем ты успеешь достать свой стартер. А уж если увидит его у тебя, то вообще очень разозлится.

– Не факт, не факт. Дед меня кое-чему научил. У меня приличная реакция, кстати.

– Это да, это я заметила. Гиперприличная. Мне знаешь когда особенно понравилось? – Она улыбнулась, и он снова ужасно ее захотел. Правда, теперь к этому желанию примешивалась странная горечь, почти сознание ее недоступности. Что-то изменилось за те три часа, которые они все-таки проспали, что-то кончилось. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение: вечно его после недосыпа пробивало на мнительность. – Самое лучшее было с ментом. Вот тогда я тобой просто восхитилась.

– А, – он махнул рукой. – Первый класс.

– Нет, нет. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Если действительно кто-нибудь там есть – какой-нибудь Кракатук, – первое, что я ему скажу, будет именно эта вот фраза. Ты, Моцарт, бог. Такая легкость, столько наизобретал. Я ужасно люблю вообще легкость. Ты заметил? Столько тяжести кругом, натужные, угрюмые люди. Все с таким видом ходят, как будто хотят пукнуть головой. А в тебе с самого начала, знаешь, меня так это купило! Такое, действительно, отсутствие гравитации! Будто не у нас вырос человек.

– Наоборот, очень у нас. Просто привыкаешь обтанцовывать какие-то вещи. Я и играть начал из-за этого. А что еще делать, скажи на милость? Кто-то непременно скажет, что в такое время не до

игрушек. А я тебе скажу, что только до игрушек. Что лучше-то – сидеть и с серьезной мордой ждать, пока на тебя небо упадет? Тут хоть как-то можно реванш взять... Вот с ментом, например. Зло взяло, понимаешь? У них тут черт-те что делается, завтра, может, вообще война начнется, самая настоящая, как в сорок первом, от которого они до сих пор во всем танцуют... Но ощущение такое, что им эта война нужна только как легальный повод к самоистреблению. Вот что меня больше всего достает. Они же ничего другого не делают. Враг – это так, дело десятое. Врага побеждают пространством. Главное – можно наконец под грамотным предлогом побольше помучить своих. Меня там, тебя. Ну что мы были этому менту? Он же отлично видит, что мы не террористы! Нет, он подходит, проверяет, перепроверяет... Что ты думаешь, ради сотни? Он действительно ради сотни жопу от стула не оторвет. Ему приятен процесс. Надо было как-то срочно это заесть. Ну, я и начал молотить что ни попадя...

– Нет, почему? Ты вполне логично все закруглил. Я нарочно подкапывалась – типа, а почему нельзя по телефону? А как он тебя нашел? Ты великолепно вылезал. И с удостоверением своим ты очень хорошо придумал.

– А, это... с лейкой...

– Ага. С голограммой. На компе, да?

– Да, это несложно. В седьмом мейкере.

– Молодец. Вообще славно оттянулись. Навели друг другу хвостоморок, как волк и лиса.

– Туфтовая книга, – сказал Игорь. – Грязная и скучная.

– Туфтовая не туфтовая, а что-то такое он чувствует. Если ты такой умный, почему сам не пишешь?

– Да вот еще, была охота.

– А вообще правильно. В жизни все это проделывать гораздо интереснее.

– Стоп. – Он встал и глянул на нее с улыбкой. – Ты хочешь сказать, что ни секунды ничему не верила?

Она тоже встала и поцеловала его в колючий подбородок.

– Нет. Так сказать нельзя. Не будем, конечно, списывать это только на твои исключительные способности... сам видишь, момент такой, что всему поверишь... Когда у тебя на глазах творится столько недостоверных вещей – тут и в инопланетянина поверишь, и в черта, и

в дьявола. Заметим кстати, что всплеск народных суеверий всегда приходился на переломные времена. В семнадцатом году, читала я где-то, почти все население России было уверено, что объявился антихрист. По сравнению с этим инопланетянин еще вполне невинный вариант. Так что некоторым краем сознания...

– И тебе нравилось?

– Как сказать. Наверное. Прикидывала же я какие-то варианты – на случай, если тут уж совсем припрет! Наверное, мне не очень хотелось отбирать... но иначе-то никак. А если хочешь, я и сейчас не очень уверена. Один шанс я тебе оставляю.

– Спасибо.

– Но это же вроде загробной жизни! Умом я прекрасно понимаю, что ее нет. Совершенно не надо быть атеистом, каким-нибудь упертым, с принципами, чтобы понимать насчет загробной жизни. Я по утрам особенно четко вижу. Ничего нет, совсем. Очень может быть, что и Бога никакого нет, прости господи, – Катька перекрестилась. – Это знаешь на что похоже? Вот как будто есть дверь, а за ней стена. И ты это видишь совершенно четко. Буратино проткнул холст, он легко протыкается, – не принимать же это все за действительность, – она обвела рукой заросший сад с сухими бодылками дурмана и дудника. – А за холстом настоящая действительность, которую лучше не принимать в расчет вообще. Глад, мор и скрежет зубовный. Буратино об нее нос ломает. Стена в чистом виде. Но самое продвинутое Буратино, – она опять хихикнула, и Игорь опять подумал, что лучше ее никого нет и никогда не будет, – самое умное, самое крепконосое Буратино каким-то самым-самым краем сознания догадывается, что эта стена так себе. Что ее по крайней мере кто-то построил. И по крайней мере сама я откуда-то попала внутрь. Вот тут начинается самое интересное, поверх обычных споров «есть Бог – нет Бога». Вслед за этим детским неверием – все ясно, ничего нет, – что-то такое есть, я понятно излагаю?

– Да ты вообще хорошо излагаешь. Очень грамотный рассказ о первичном религиозном опыте.

– Магистр, не будьте высокомерны.

– Я не высокомерен, Кать, просто чушь это все. Женская слабость. Видеть все это и предполагать, что оно срежиссировано свыше, – это все равно что видеть мента на станции Столбовая и предполагать, что

он выполняет задание с Альфы Козерога. Мы можем сами для себя придумывать иногда такие штуки. Чем я, собственно, и занимаюсь. Но все это не избавляет меня от необходимости иметь стартер такого типа. Если бы Бог был, я бы не играл.

– А. Это мы, значит, таким образом заполняем вакансию.

– Ну а что еще тут делать?

– И тем не менее на полпроцента я и сейчас еще допускаю, что существует Альфа Козерога.

– Альфа Козерога существует безусловно, – сказал Игорь.

– Ладно, я прогуляюсь до сортира.

На обратном пути она заметила разбитое окно кухни.

– Это чего ты вчера расхулиганился? Просто для убедительности?

– Да нет, – сказал он. – У меня замок не открылся. Калитка еще кое-как, и дом кое-как, а там совсем приржавело.

– Глупый. Ты что, не мог руку обмотать?

– Я и обмотал, когда бил. А когда стекла вынимал, слегка разрезался.

– Оно там и лежало?

– Ага. Под диваном.

– А раньше перевезти его в Москву ты не мог?

– На фиг оно мне было нужно. Дед охотился только здесь. Тут до заказника двадцать километров.

– Да ведь зимой любой бомж украдет!

– Ну и пусть бы украл. Я как-то не предполагал, что мне будет от него толк в жизни. Терпеть не могу всех этих дел с оружием, с милицией, с регистрацией... Где бы я его в Москве держал?

– Ты действительно думаешь, что эта штука сейчас тебе поможет?

– А как же, – сказал Игорь, и Катька заметила, что выражение его лица медленно меняется. Он сосредоточенно всматривался во что-то позади нее. – Прямо сейчас и поможет.

Она обернулась. С тыла участок был отделен от соседнего только неглубоким кюветом, и через этот кювет перепрыгнул невысокого роста крепкий мужичок в кепарике.

– Здорово, хозяева, – сказал он.

– А вот и второй, – сквозь зубы сказал Игорь. – Только не восточный. Катька, спокойно.

– Ты бы ружьишко опустил, – сказал мужичок. Он казался очень спокойным и хозяйственным.

– Да я так, уточек постреливаю, – сказал Игорь.

– А, уточки, – сказал мужик одобрительно. – Дело хорошее.

– Лети отсюда, уточка, – сказала Катька.

– А вы что, живете?

– Живем, живем.

– У соседей есть кто?

– Уже есть, – сказал Игорь.

– Ага. Ну, дело хорошее, – неопределенно повторил мужичок. – Вы это. Участок не продаете?

– Вчера уже один торговал, – сказал Игорь. – Не продаем, самим надо.

– Ага, ага. А то в Москве, знаете... Вы с Москвы сами-то?

– Да нет, местные.

– Ага, – обрадовался мужичок. – Шутим, да? Шутка – дело хорошее... Я думаю, пошумят и перестанут. А?

– А что, уже шумят? – спросила Катька.

– Да не то чтобы, – неопределенно ответил крепыш. – Но сейчас, наверное, лучше того... а? Ну, недалеко чтоб... но на время. А то черт его знает, вдруг правда.

– Что – правда?

– Ну, что он пишет-то. Что седьмого Москву взорвет.

– А сегодня какое? – рассеянно спросила Катька.

– Второе с утра было, – дружелюбно сказал мужичок.

– А, ну точно, мы же поехали первого... И что, все бегут?

– Да еще со вчера вроде бегут. У меня сосед в Сибирь хотел лететь, так уже и на самолет не попадешь. А у меня нигде никого, я сам в Митине живу. Мне не к кому. Думаю, где-нибудь пересажу, а там домой. К зиме-то. Мне главное, чтоб седьмое пересидеть. Потому что они ничего не сделают, конечно. Он если пишет, то, наверно, так и будет. А?

– Очень может быть, – сказал Игорь. – А чего тебя в Тарасовку понесло? Ближе ничего не было?

– Да занято все, ближе-то, – признался мужичок. – Я так подумал: подальше – поспокойней, – он сделал ударение на последнем слог. – Я на машине, пока выпускают. А то говорят, скоро вон и машины

перестанут выпускать с Москвы. Говорят, без паники, без паники. А чего без паники, все пешком пойдут. Кому ждаться охота, правильно?

– А кавказцев что, не выселили? – спросила Катька.

– Выселили, а что толку. Всех не выселишь, правильно? Они же домой не поедут, чего им дома делать? Их там побили хорошо, ну и они наших побили. В Царицыне драка была, слышали? Они собрались и скинам навешали.

– Ага, – сказал Игорь. – Ну ладно. Ты иди, поищи чего. А мы тут побудем.

– Ну да, – сказал он. – Не знаете, где тут хозяев нету?

– Походи, поищи. Может, найдешь. Только не свинячь сильно.

– Ладно, – сказал мужичок и ушел через соседний участок.

– Черт-те что, – выдохнул Игорь, снова усаживаясь на скамейку. – Упарился я с ним. И кавказцы бегут, и русские бегут. Чего делается-то?

– Да нормально, – сказала Катька. – Когда человек не может ничего изменить, он естественным образом бежит. Поскольку сделать ничего нельзя, скоро все забегают. Представляешь – кочевая страна. В городах страшно, в селах некомфортно. Так и ходят. Единственный оседлый народ, я думаю, будут цыгане, нет?

– И что будет?

– А не знаю. Война, наверное. Когда люди забывают простые вещи – всегда война. Видишь, как они все про сорок первый год вспоминают. Разболтался народ, ты не находишь? Начинают мужьям изменять, журнал «Офис» выпускать. Надо как-то напомнить, ху из ху.

– Что, другого способа нет?

– Нет, солнышко. Такой народ, земляне. Извини, пожалуйста.

– И что ты думаешь делать дальше?

– А ты?

– Если честно, – он помолчал и поковырял бересту, – если честно, то единственный правильный вариант был бы забрать сюда твоего мужа и дочь. И вместе пересидеть седьмое.

– Отмечается. Ты у меня идеалист, а дела пошли серьезные.

– Почему нет?

– Потому. Вариант не принимается.

– Тогда... – Ему на миг показалось, что он понял ее намек. – Тогда мы пересидим тут вдвоем, потому что это лучшее, что мы можем

сейчас сделать. И если ты хочешь уйти, то лучше тебе, по-моему, не возвращаться.

Катка смотрела на него с нежной насмешкой, и он не узнавал Катку. Она была старше, чем вчера, – и не на какую-то ночь, а на долгое путешествие, на несколько месяцев и пять сожженных планет.

– Вариант не принимается, – сказала она ласково и снисходительно.

– И какой вариант принимается? Мы берем стартер и возвращаемся в Москву, откуда все бегут?

– Не совсем, – сказала она загадочно.

– А как?

– А пожрать у нас нет ничего?

– Бутерброды, – сказал он. – Но все-таки?

Он всегда лидировал в этой игре, и ему непривычна была роль ведомого. Она что-то решила, он понятия не имел – что именно, и угадать впервые не мог.

– Чудесно, – сказала Катка, когда он принес три бутерброда, двухслойные, с сыром и докторской колбасой. – Очень ты заботлив, и очень меня это умиляет.

– Ты, мать, будто прощаешься.

– Не без того.

Он насторожился.

– В чем дело?

– Дело в том, – сказала Катка, с удовольствием жуя, – что у второй двери пламя заговорило, а у третьей умерло. За третьей дверью было знаешь что? Ничего особенного. Серенький такой рассвет, второе ноября, обычное утро. Солнышко за тучами ползает... двумя клопами...

– Что еще за глупости?

– Ничего не глупости, это очень хорошие альфовские стихи. Я их буду помнить вечно.

– Я тебя чем-то обидел?

– Дурак, – нежно сказала Катка. – Круглый дурак. Бывает круглый, а еще бывает длинный. Ты длинный, этот тип отличается от круглого приятной разомкнутостью. Круглый сосредоточен на себе, замкнут, а длинный устремлен в будущее.

– Не понял, – сказал Игорь.

– Я вижу, что не понял.

– Ну ладно, хватит этих загадок, Катя. Я ничем не заслужил, моему.

– Да ничем, конечно, – сказала она горестно, беспомощно и без тени прежней снисходительности. – Оба мы с тобой заслужили. Мне, думаешь, легко?

– А что случилось-то?

– Стучилось то, что я возвращаюсь в Москву и начинаю жить нормальной жизнью с нашим мужем и моей дочерью. Спасибо, по сожженным планетам я с тобой уже полетала, уверяю тебя, что дальше их будет только больше. Я устала эмигрировать из огня да в полымя, Игорь. Можешь сформулировать, что я отказываюсь быть собой, если тебе так больше нравится. Но я так устроена, Игорь: ты эвакуатор, а я детонатор. Если я и дальше буду собой, то есть с тобой, я так и буду кружить по выжженным полям.

Некоторое время эвакуатор молчал.

– Ну да, – сказал он. – Я так и предполагал.

– Я же говорю, ты очень догадлив. Мой самый любимый, самый догадливый длинный дурак.

– Это не догадливость, это опыт. Я многих уже пытался эвакуировать, и никогда не получалось. Правда, никто не залетал со мной так далеко.

– Спасибо, мне правда очень приятно. К вопросу о залететь: я совершенно не убеждена, что этой ночью мы были достаточно осторожны.

– Были, были.

– Если не были, тоже хорошо. Честно. Я буду очень рада. Наверное, не надо было тебе говорить, но меня тут недавно трахнул наш муж, в кои-то веки, так что алиби у меня стопроцентное.

Он по-прежнему ее не узнавал. Это говорила не она. Та была ребенком, хотя и умным, книжным, и у нее даже в самые тоскливые минуты не было таких интонаций.

– А что, – продолжала она, – никто не хотел эвакуироваться?

– Почему, хотели. Но долетали, как правило, только до тарелки. Дальше они начинали чувствовать себя не в своей тарелке.

– И что, со всеми была та же самая легенда?

– Ну что ты так плохо обо мне думаешь, в самом деле. Эвакуатор был только в этот раз. Обстановка располагала. До этого были всякие другие игрушки. Но с ними играть было неинтересно – они плохие партнеры. А ты сразу все ловишь, с тобой было замечательно.

– Я даже думаю, слишком замечательно. Этой ночью получилось так убедительно, что никакого опыта не надо.

– Нет, почему. Ты замечательно вчера реагировала, с лейкой.

– Кстати, объясни мне на милость: почему она не отрывается от земли?

Он засмеялся.

– Потому что она прибита.

– То есть как? Лейку же... лейку нельзя прибить. Как ты гвоздь туда засунешь?

– А несложно, – сказал он. – Я с однокурсником на ящик водки поспорил, что прибью лейку к полу. Я же сюда на дачу всех друзей возил, огород копать. Сама понимаешь, никакого удовольствия. В любом месте веселее вместе. Ну, напились как-то, устраивали всякие милые розыгрыши. Тапки одного друга прибили к полу, пока он дрях. Он очень славно бухнулся, когда встал. Это же классический способ. Ну, а потом как-то подумали – что еще можно прибить... Лейку же не прибьешь, наверное. Отверстие узкое, гвоздь не засунешь. А эффект очень смешной. В общем, я придумал. Там несложно. У нее верхняя крышка приварена. Снимаешь крышку, прибиваешь лейку, надеваешь крышку, чтобы незаметно. У меня руки неплохие, – добавил он хвастливо.

– Это я заметила.

– Спасибо на добром слове.

– Она что, так и стоит прибитая с тех пор?

– Конечно. Чего поливать-то, участок и так весь заболотился. Дед, правда, меня чуть не убил. Это была его любимая лейка.

– Где он сейчас, дед-то?

– В маразме. С матерью живет. По ночам все какие-то яйца в лукошко складывает.

– Куда?

– В лукошко. Ходит по дому и собирает невидимые яйца. Зачем – не знаю. Еще своему отцу письма пишет, военному летчику. Милый папа, возьми меня полетать.

– А, – сказала Катька. – Это в честь которого тебя назвали?

– Ну. Я не возражал, кстати, когда ты письма посмотрела. Из них можно почерпнуть много забавного, но легенде в целом они не противоречат.

– Конечно. Там зафиксировано только твое рождение от неизвестного отца.

– Да почему от неизвестного. Прекрасно известного. Он появляется периодически, только мать его видеть не хочет. У нее давно другой муж, с которым у меня никаких отношений. Он меня терпеть не может, ну и я его взаимно.

– А, – повторила Катька. – Действительно, прямо ты как инопланетянин. Один, без всех и с лейкой.

– Еще вот с тобой... был.

– Точно, – сказала она. – Был. Игорь, я могу тебе наговорить массу всяких слов, но делать это, по-моему, совершенно необязательно. Ты сам говорил, что не надо обрастать людьми.

– Мало ли что я говорил.

– Много, но это ты говорил по делу.

– А мне кажется, бросать меня в такое время вообще не по-человечески.

– Да почему? Ты свое дело сделал, меня эвакуировал. Я жила в какой-то кисельной жизни, туманной. Как на кисельной планете. А теперь я все поняла, спасибо тебе.

– И что ты поняла?

– Ничего особенного. Простые вещи. Я тем и отличаюсь, что мне для этого необязательно проходить через войну.

– Знал бы – не эвакуировал бы, – сказал он.

– Эвакуировал бы, – твердо ответила Катька. – У нас вариантов не было. В том-то вся и грусть, ты не находишь? Когда на тебя падает любовь, ты ничего не можешь сделать, раз – и все. А потом она что-то такое с тобой делает, после чего ты уже не можешь с ней жить. Как в ракете. Выводит тебя первая ступень на орбиту, а потом отваливается.

– Очень печально.

– Конечно, печально. Бывают такие дурацкие ракеты – так и продолжают летать с первой ступенью. Но они плохо летают, и вообще это все никуда не годится. Ты из меня сделал то, чем я должна быть с

самого начала, но до сих пор у меня не было сил этим стать. А теперь получилось, и мне никто больше не нужен. Один чистый долг.

– Вообще говоря, я догадывался. Когда ты про мальчика...

– А, – усмехнулась Катька. – Это да, это ничего. Я специально тебя перебила. Ты же хотел, чтобы мы сразу приехали в Тарасовку. А я решила заехать в Свиблово. Типа записку почитать. С мальчиком хорошо, правда? Я его навещу обязательно.

– Вместе навестим.

– Вместе не навестим, – сказала Катька. – Игорь, будь милосерден. Нельзя отрываться по частям.

– Очень ты сейчас милосердна, – сказал он, отвернувшись.

– Очень. Вырастешь – поймешь. У меня есть ребенок, ты помнишь?

– Идиот я, что сюда тебя потащил, вот что я помню. Если бы мы не поехали сюда, ты бы и дальше была со мной.

– Не знаю. Скорей всего, не была бы. Я вообще ничего не знаю. Я, может, завтра тебе позвоню, в ноги брошусь и скажу, чтобы ты все простил. Я понятия не имею, выдержу ли все это. Я просто знаю, что рано или поздно этим кончится. Ну, так лучше раньше.

– Слушай, – он помолчал и вдруг улыбнулся. – А хочешь, через год в том кафе? Где утопленники?

– Интересно, – сказала она.

– Это ведь и будет как бы после смерти!

– Ну, – вздохнула она, – разве что после смерти. Живая я туда больше никогда не пойду. Я иногда всерьез думаю, что все из-за нас.

– Ага. Конечно. А как только мы разойдемся и вместе со всеми начнем довольствоваться полужизнью, так все сразу и вернется в колею.

Он продолжал все понимать; о свинство, свинство, милостивые государи! Если бы хоть сейчас он облегчил расставание неверной нотой, не дочитал ее мысль, сказал оскорбительное не то! Но он все понимал и чувствовал ее жалкую, капитулянтскую стратегию – трусливый, бабский отказ от настоящего ради всеобщей негласной конвенции суррогатов.

– По-моему, ты поехала крышей.

– Очень может быть.

– Точно поехала, – убежденно повторил он. – У нас, знаешь, на играх бывало иногда. У новичков. То истерика с человеком, то задвиг начинается. Девушка совершенно серьезно верит, что она фея Бирилюна. У нас даже инструктаж бывает для магистров – что делать, если кто заигрался. Видишь, как тебя повело. Погоди, у тебя завтра пройдет.

– Очень может быть. Я же говорю, никто не застрахован. Но если ты хочешь, чтобы все было наименее травматично, ты либо смени мобильник, либо пошли меня завтра подальше, если я по женской слабости тебе позвоню. Спасибо тебе, сердце души моей. Все было очень вкусно.

– Тьфу, какой пафос попер, – сказал он брезгливо.

– Ну, извини. Я никогда никого больше не буду так любить. Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать. Но в моем случае это, видимо, нельзя. Начинаются проблемы.

Ровно при этих словах начались проблемы.

– Ага, – сказала Катька. – Бог троицу любит.

За дачным забором стоял солдатик и целился в них из автомата Калашникова модернизированного, калибр 7,62. Игорь положил винтовку, поднял руки и встал.

– Чего тебе, солдатик? – выговорил он хрипло.

– Автомат не нужен? – спросил солдатик.

– Зачем? – спросила Катька.

– Да это, – смущенно сказал солдатик и шмыгнул носом. – Ну, мы расходимся типа... Знаете, у вас же тут часть стоит... По домам типа... Так мне с оружием как бы не резон...

– Пригодится, – сказал Игорь. – Время такое...

– А как я его понесу? – сказал солдатик. – Первый мент тормознет. Хватит, он мне вообще надоел, автомат этот. Я щас в граждань переоденусь – и к себе, в Тамбов. Маманя там, батяня. Ну, берете? Хороший, чищенный. Я оружие содержал в образцовом порядке, – он хихикнул и опять шмыгнул носом.

– А чего расходитесь-то? – спросила Катька.

– Да ну, бардак. Офицеры разбежалось все, а нам чего подыхать? Слышали, говорят, Москву взорвут. У нас один водила вчера в город ездил, говорит, правительство эвакуировалось уже.

– Звездеж, – сказала Катька. – Мы вчера из Москвы.

– Взяли бы, – просительно сказал солдатик. – Хорошая вещь, кирпичную стену за двести мэ пробивает. За пять штук отдам, серьезно.

– Нет, солдатик, – сказал Игорь. – Ты походи, поспрашивай, тут сейчас желающих полно.

– Ага, – сказал солдатик и побрел дальше.

– Так, – произнес Игорь, помолчав. – Ты уверена, что доберешься до города?

– Куда я денусь.

– Тут люди кругом всякие ходят...

– Им же не я нужна, им дачи нужны. Мой тебе совет, спрячь стрелялку.

– Я подумаю. Давай я все-таки доведу тебя до Москвы, а там сразу уеду к себе.

– Нет! – закричала она, и он отшатнулся. Она никогда на него не кричала. – Так я пойду сейчас лесом к электричке – и успокоюсь. А с тобой еще три часа буду мучиться. Пусти, я пошла.

– Да иди, – сказал он, – кто тебя держит.

Она подхватила рюкзак и быстро пошла к калитке.

* * *

Игорь Медников, 1975 г.р., программист, сидел на лавочке под березой и обсуждал сам с собою свои дальнейшие действия. Это был довольно высокий, худой мужчина типа «вечный юноша», лет тридцати с небольшим, с короткими светло-русыми волосами, высоким лбом и серыми, немного навывкате глазами. Нос у него был с горбинкой, рот мягкий, с пухлой нижней губой в мелких трещинках, плечи сутулые, особых примет никаких, кроме нескольких порезов на руках. Рядом с ним на скамейке лежало ружье, но Медников, разумеется, не имел в виду обратить его против себя. У него со вкусом все было в порядке.

Медников примерно понимал, как устроен этот мир, и не питал насчет него особенных иллюзий. Переделывать его было бессмысленно по определению – только эвакуироваться, и эта последняя эвакуация была достаточно успешной. К сожалению,

сорвалось, но не последний раз. Правда, возрастали шансы, что скоро все эвакуируют естественным путем, и совсем не в чудесное пространство вымысла – или по крайней мере в чужой вымысел, который Медникова совершенно не вдохновлял. А может, и по заслугам всему этому человечеству – ничего другого оно точно не стоит, особенно в последнее время. Этот мир, честно говоря, давно ловил Медникова, не давал ему осуществиться, потравливал, гнобил на корню лучшие идеи. Медников, однако, выжил, потому что умел эвакуироваться. Теперь мир смотрел на него даже с каким-то изумлением, с каким иногда глядит на нас бывшая наша девушка, сделавшая все, чтобы мы покончили с собой или сошли с ума, а мы, гляди ж ты, уцелели. Ну да, у тебя получилось, говорила ему окружающая реальность, включая убогую дачку, которую он от души ненавидел. У тебя вышло, говорило ему все. Ты жив, мы промазали, что же ты будешь делать дальше?

Да ничего я не буду делать дальше, была охота. Ты все боялся, что я начну тебя переделывать; и силы есть, и негодования сколько угодно, да честь уж больно сомнительна. Догнивай спокойно в своем ничтожестве. Тебе и в голову не могло прийти, если только у мира есть голова, – что я не собираюсь сводить с тобой счеты. Ты, затеявший ради меня столько гнусностей, как царь Ирод, перебивший всех младенцев ради единственного, и представить себе не мог, что мне нет до тебя никакого дела: я не великий комбинатор, не царь и не герой. Я эвакуатор, это другое дело, и в этом ты ничего не понимаешь; и хотя ты мучаешь меня, как истинного сотрясателя миров, даже это не сделает из меня борца, потому что ты этого не стоишь. Я эвакуатор, только и всего, и вся твоя бешеная злоба от того, что ты до сих пор не знаешь, как вести себя с эвакуаторами.

За лесом слышался какой-то гул. Писатель-символист Андрей Светлый, проводивший в Тарасовке лето 1914 года, отчетливо слышал такой гул по ночам. Казалось, на Запад едут тысячи оружейных повозок, скрипят колеса, стонут раненые. Об этом он написал в журнале «Сивилла», за что его жестоко высмеял поэт-сатирик Саша Темный в стихотворении «Уховидец». Сейчас этот гул был еще отчетливей. Медников прислушался, различил скрип телег и стоны раненых, тряхнул головой и обозвал себя уховидцем.

Вариантов было много, их всегда много. Можно было пойти с убогим скарбом по окрестным селам и рассказывать детям сказки, как мечтал перед войной один сумасшедший. На даче вон целый ящик старых игрушек, среди них бибабо, в детстве у нас тут был свой кукольный театр. Взять Петрушку, косолапого мишку, ежика, лису, круглого зверька неизвестного происхождения – и показывать сельским жителям веселые представления. Можно было какое-то время перекантоваться на даче, дядя Коля не даст пропасть. Можно было, наконец, взять лейку и улететь на Альфу Козерога. Чем черт не шутит, вдруг действительно летает.

На самом деле он, конечно, отлично представлял свои дальнейшие действия, только тянул время. Выждав ровно две минуты, он зачехлил ружье, быстро запер дом (надо будет заехать, забить окно в кухне – снегу нанесет), вышел за калитку, повесил на нее замок и пошел за Катькой в почтительном отдалении, чтобы она его не заметила. Отпускать ее одну совершенно не входило в его планы, приближаться – тем более. Это был не первый в его жизни случай неудавшейся эвакуации, он уже знал, как себя вести, как выходить из отчаяния, как отвыкать, как снова входить в колею. Рано или поздно должна была найтись та, которая сгодится для долгой и счастливой жизни на Альфе Козерога. Пока даже лучшая из земных женщин сгодилась только для того, чтобы все там испортить. Но это был не повод отпускать эту лучшую на станцию в одиночестве, без защиты, в трудный и опасный день. Он шел следом и видел, как метрах в пятистах впереди маячит ее красная куртка. Больше, слава богу, на дороге никого не было. Только один кавказец встретился и взглянул со значением.

Интересно, ходят ли поезда. Скорее всего, не ходят, хотя далеко за лесом что-то пару раз простучало и прогудело. Может, товарняк, а может, симферопольский скорый. По вечерам они ходили с матерью махать поездам. Вечно он кому-то машет, а кто-то едет. Или наблюдает, как кто-то уходит навсегда.

Катка шла не оглядываясь. Это хорошо. Если вдуматься, он ее уже почти не любил. У него это быстро проходило – как лампочку выключили. Если оказалась не та, нечего и мучиться. Та – не уйдет, а из-за не тех переживать – никакой жизни не хватит.

Он шел сзади, не сокращая расстояния, по временам пристально оглядываясь вокруг. Так они вышли на бетонку, ведущую к станции. Выползло солнце, и от него стало еще неуютнее. В канавах по сторонам бетонки стыла темная вода.

* * *

Двадцатилетняя женщина Катька Денисова, в девичестве Кузнецова, 1979 г. р., художник-оформитель и газетный дизайнер, шла по узкой бетонной дороге к указателю с перечеркнутой красным надписью «Тарасовка». Роста в художнице было метр шестьдесят три, у нее были короткие черные волосы, густые брови, чуть раскосые черные глаза и высокие скулы. Назвать ее красавицей было трудно, но на любителя нервных, остроумных и непредсказуемых женщин она действовала неотразимо. Денисова была худощава и хрупка на вид, но чрезвычайно подвижна и вынослива. Ну вот, мы описали героя, – в сущности, у нас и не было другой задачи. Стало уютней и даже как-то теплей. Можно заканчивать нашу историю.

Тарасовка оставалась позади, а станция, судя по стуку проходящего поезда, была впереди. Бетонка вливалась в широкое шоссе, по которому непрерывным потоком тянулись машины, и все в одну сторону. От них и шел непрерывный гул – Москва разъезжалась. Ехали медленно, нервно сигналив. По обочинам шоссе из Москвы и окрестных поселков уходили люди.

Катька дошла до шоссе и остановилась. Машины шли сплошной массой – не перебежишь. Она и не знала, что в Москве столько машин.

– Не знаете, поезда не ходят? – спросила она у пожилого кавказца, который со всей семьей шел по обочине, таща за собой чемодан на колесиках.

– Мы до Луча доехали, – сказал кавказец. – Дальше не пошло. Видишь, сколько пешком идут? Это всё с поезда.

– А на Москву ничего нет, не знаете?

– На Москву? – нехорошо улыбнулся кавказец. – На Москву теперь долго ничего не будет.

Он что-то знал, все они что-то знали.

– А, – сказала Катька. – Ну ладно.

Она пошла по обочине в сторону Москвы. Навстречу ей то и дело попадались кавказцы, узбеки и русские, покидающие город. В этом людском потоке все будущие враги шли пока вместе – еще не переходя к открытым боевым действиям, просто покидая обреченную столицу. Вокруг было много пустых деревень, дачных поселков и голых полей – будет где сойтись в случае чего.

Для бодрости Катька напевала про себя марш: Тадра-та-там, пам, пам. Тадра-ра-па-па-пам. Тадра-ра, тадра-ра, тадра-ра-па-па-пам. Я всегда прикидывала, что буду делать, когда начнется. Ну вот, началось. И что? Никакого особенного страха. Гораздо лучше, чем ожидание. Когда идешь куда-нибудь, всегда легче. Есть чувство, что можешь что-нибудь изменить. Та-дра-па-пам, пам, пам. В трехстах метрах от нее Игорь пытался отвязаться от той же мелодии – что поделать, некоторое время им еще предстояло жить в одном ритме. Игорь извинялся, когда его толкали, и старался не выпустить из поля зрения красную куртку.

Катька, маленький печальный солдат, шла в Москву против движения, как против ветра, ссутулившись и глубоко засунув руки в карманы.

Кое-что еще можно было спасти.

Октябрь – декабрь 2004, Чепелево – Москва

Князь Тавиани

Вместо эпилога

1

Оставался час, его надо было где-то пересидеть, и они зашли в «Тбилисский двор». Изможденный непонятно чем – вероятно, долгой жизнью, долгой грузинской жизнью в чужом городе – метрдотель, или как это называется, провел их на веранду второго этажа. Игорь заказал сациви и хаш, Катька попросила двойной эспрессо, а есть она не хотела: не то чтобы в тридцать пять уже приходилось беречь фигуру – фигуре, слава богу, ничего не угрожало, есть такие счастливицы, что и в сорок могут без последствий лопать что угодно, – но просто у нее совершенно не было аппетита, и с утра ее била дрожь, которая, против ожиданий, не утихла даже в постели. В постели, кстати, толком ничего не получилось, и она теперь чувствовала страшную неловкость, как всегда виня себя. Все было совершенно другое, и он суетился, как не суетился никогда прежде, и тоже, вероятно, чувствовал вину – нечего вместе делать двум людям, которые считают себя виноватыми. В гармоничном союзе всегда должен быть один виноват, а другой прав. Интересно, если бы они тогда вдруг, невозможным образом, как угодно, остались вместе – у них бы тоже теперь ничего не получалось? Ничего уже и не было бы, скорее всего. Покажите мне пару, которая восемь лет спустя бросается в кровать с прежней страстью. Но и проживши эти восемь лет врозь, они уже ничего не могли, не хотели, зря старались. У Эдгара По был рассказ, Катька его любила, про мистера Вальдемара: там умирающего загипнотизировали, и он не умер, год пролежал в так называемом месмерическом состоянии, весь холодный и твердый. Потом его разбудили, и он разложился под руками у врача, в несколько секунд достигнув того состояния, в какое перешел бы к этому времени, если бы не случилось месмеризации. Так оно всегда бывает, когда гипнотизируют, чтобы отсрочить неизбежное. Так, собственно, и со страной выйдет, да уже и выходит. Тогда все остановилось, потому что они разошлись, а если бы остались вместе,

точно бы уже разложилось на атомы, была бы выжженная пустыня, дикое поле с очагами дотлевающих стычек. Так и будет. И сами они, встретившиеся через восемь лет, были теперь как это дикое поле. Но надо было где-то пересидеть час, не расходиться же сразу. Он позвонил ей в последний день, в день отлета, всю неделю крепился, а под конец не выдержал. Через час ему надо было ехать в Шереметьево и улетать, он прилетал на юбилей матери, которая отказалась за ним последовать. И в последний день позвонил, чего, конечно, не надо было делать. Потому что вдруг теперь все начнет разлагаться.

На стене, прямо перед столом, висела овальная акварель в золоченой рамке – девочка-грузинка, красавица-нимфетка, лет пятнадцати, но, по обычаям прелестной горной страны, уже на выданье, играла на фортепьянах, а рядом, глядя на нее с нежным укором, стоял седой учитель музыки. Судя по выражению его бледных глазок, играла она плохо, ей было не до того, все мысли ее были поглощены предстоящим замужеством, а старик музыкант слишком любил ее, чтобы омрачать этот прекрасный день замечаниями. Ясно же, что великой пианистки не выйдет, а сыграть для гостей в замке мужа, грузинского князя, она сможет и так: никого там ее игра волновать не будет.

Игорь тоже смотрел на овальную акварель, потому что не на Катьку же ему было смотреть. Катька осталась по-прежнему хороша, и оттого смотреть на нее было особенно грустно: есть женщины, которые сдаются времени, меняются под его напором, в них есть все признаки увядания, и это хорошо, это так и надо; это так же хорошо, как пожилая пара, прожившая вместе много лет, взаимно-заботливая, с трогательными кличками и словечками, но давно уже, конечно, не помнящая, что такое любовь. Так, сожитие – среднее между сожительством и дожитием. Но есть те, которые сопротивляются времени, и на них смотреть грустно: Катька явно сопротивлялась, героически оставалась прежней, и потому видно было, в какой она осаде, какие атаки ей приходится ежеутренне отбивать. Всегда грустно смотреть на человека, не соглашающегося с участью, на идиота-либерала, продолжающего твердить свое, когда страна вокруг безнадежно переродилась и думать не думает ни о каком законе, на красавицу, которая все еще красавица вопреки возрасту – хотя, смирилась она и начини стареть, у нее был бы уютный, домашний вид,

какой всегда бывает у палача и жертвы после взаимной договоренности. Такой вид, например, бывает у военкома, когда призывник, долго таскавший справки, изнемог в борьбе и согласился призываться. Воробей и кошка дружно говорят «вот и ладненько».

– А про этих ты можешь что-нибудь рассказать? – спросила она. Он всегда рассказывал, с этого все у них и началось, и закончиться должно было этим, опять в кафе, на чужой территории. Своей так и не было никогда.

– Запросто. Это будет целая новелла.

– Какая прелесть! Ведь тыщу лет не слышала.

– Ну смотри. Действие происходит в Тифлисе, в семидесятих годах того века. Первая фраза: «Карл Иванович с тоскливой усталостью слушал, как пятнадцатилетняя София Касаткина в пятый раз, рассеянно сбиваясь, начинает “Метель” Листа».

– Касаткина?

– Ну да. Дочь русского генерала и тифлисской красавицы. Была такая Мэри Галаташвили, любимица всего Тифлиса. Теперь она уже двадцать лет как жена генерала Касаткина. Сын Александр, дочка Софико.

– Она виртуоз?

– Почему сразу? Ей пятнадцать лет.

– «Метель» – сложный этюд. Его Кисин играл в этом возрасте.

– Да? Просто я других не знаю.

– Ну, пусть виртуоз. Так даже интересней.

– Карл Иваныч хотел в очередной раз прервать Софико после особенно грубой ошибки, но пожалел девушку. Он окончательно понял, что ей не до того, нахмурил седые брови, поджал седые губы...

– Сильно сказано, сильно.

– Катька, ты дура. Ты вечно думаешь о неприличном.

– Почему? Я просто представила.

– Поджал лиловые старческие губы и собрал ноты. «Фам теперь не то того, София Георгиевна, – сказал старик с затаенной горькой обидой. – Та и уроки наши скоро окончатся навсегда, не будем омрачать прощание. Старый Карл Иванович больше не нужен вам, вы станете замужней женщиной»...

– Карл Иваныч! – воскликнула Катька, состроив самую умильную рожу. – Старый, добрый Карл Иваныч! Поймите, у каждой девушки

только раз бывает помолвка...

– Та, та, – сказал Игорь, мрачно кивая. – *Mädchen... Verlobung...* Уже какой тут может быть старый Лист, старый Карл Иваныч... Ну, прощайте, дитя мое. В четверг у нас последнее занятие, и я готовлю вам сюрприз... да, *eine Überraschung!* Теперь же мне пора. – И Карл Иваныч, морщась от подагрических болей, поспешил на первый этаж, где княгиня Мэри отдавала поварам очередные распоряжения.

– То есть помолвка уже назначена?

– К настоящей тифлисской помолвке готовятся за неделю. Там одних цыплят знаешь сколько замариновать? И сколько они еще маринуются до кондиции? Касаткины не могут ударить в грязь лицом. На свадьбе будет весь Тифлис. Девочку выдают за князя Дадиани.

Принесли сациви, Игорь начал есть, и Катька вспомнила, как он ел тогда – рассеянно и без всякой охоты. Теперь появилась какая-то жадность. Плохо будет, если он испортится к старости. Все вокруг портилось очень быстро, и ей приятно было думать, что он там у себя, непонятно где (весть о его отъезде дошла до нее с полугодовым опозданием), остался хорошим. Она никогда не думала о нем со злостью, никогда, кроме разве что самых первых месяцев, когда иначе было попросту не выжить: прижечь, залить спиртом, засыпать пеплом. Теперь, собственно, уже и шрама не было видно – или, правду сказать, был один шрам во всю душу, не только от Игоря, вообще от всего.

– Князь Дадиани, – сказала она рассеянно, как ожидающая свадьбы Софико, – то есть Тимур Дадиани – главный художник «Семьи», такой был издательский дом.

– Да, – сказал Игорь, – я знаю.

– А возьми вина все-таки.

Словно прочитав ее мысли, к ним подскочил молоденький официант, принял заказ и так же экзальтированно умчался: в «Тбилисском дворе» старательно стилизовались под правильный тифлисский ресторан времен Софико Касаткиной.

– Ладно, – легко согласился Игорь, – пускай он будет князь Тавиани.

– Да-да. Третий брат Тавиани. Двое кино снимают, а третий дурак.

– Но согласись, звучит. Князь Тавиани.

– Да по мне хоть Иванишвили. Хоть Киндзмараули.

– Ну вот. Карл Иваныч, робко кланяясь, вошел к Мэри Касаткиной, урожденной Галаташвили, женщине под сорок, но все еще прелестной, хотя и несколько бледной. У нее, знаешь, частые истерики, мигрени, и тогда весь дом ходит на цыпочках.

– Прекрасно. Я этот тип знаю. Еще не забудь, она нюхает соли.

– Ты сама такая будешь. Сорок лет, прелестная, с мигренями.

– Вот уж нет. Я не могу себе позволить мигрени, у меня нет прислуги и поваров. И никто не будет ходить на цыпочках.

– Госпожа Касаткина, – говорит Карл Иваныч робко, непрерывно кланяясь и словно с трудом решаясь высказать главное. – Я должен вас просить об огромном одолжении.

– Карл Иваныч, вам заплатят столько, сколько вы скажете, – пообещала Катька.

– Нет, нет. Я прошу не об этом. Мне таже и фэфсе не нато никаких тенех. Но я, – Карл Иваныч глубоко вздыхает и наконец ныряет в свое ужасное предложение, – я умоляю фас отменить эту помолвку или по крайней мере отлошить ее.

– Ах, Карл Иваныч, – сказала Катька томно и принялась тереть правый висок. – Я так ужасно занята со всеми этими приготовлениями, что ничего не понимаю, что вы такое говорите. И вы еще так тихо говорите, а в саду так ужасно кричат эти ужасные птицы...

Все-таки ей приятно было играть с ним, это было приятней всего, что ей приходилось делать, и она так давно не делала этого. А больше этого не умел делать никто. И опять она не знала, чем все кончится.

– Госпоша Касаткина, – повторил Карл Иваныч с усилившимся от волнения акцентом. – Я прошу, я умоляю фас. Я никокта нитшево не скашу просто так. Но вы толшны понять. Речь о судьбе вашей точери. Огромная опасность. Отлошите свадьбу. Я представлю все доказательства, все, что восмошно.

– Карл Иваныч, все это к мужу, к мужу, – отмахнулась Катька. – У меня с утра ужасно голова болит, невыносимо, и все эти цыплята... Да, Автандил, миленький, – сказала она апарт, – так, значит, пятерых замаринуйте с эстрагоном, а шестерых с ткемали, и, знаете, пожалуй, еще двух в сливках с чесноком, как любит наш губернатор...

– И Карл Иваныч, – сказал Игорь, глядя на нее прежними, любующимися, близорукими глазами, – кряхтя побрел в кабинет отца, генерала Касаткина.

– Пуф, пуф, пуф, – сказала Катька, подбоченилась и разгладила воображаемые усы.

– Нет, нет, за генерала тоже буду я. Ты не знаешь, в чем там дело, а я знаю.

– Но я догадаюсь!

– Нет-нет. Повороты непредсказуемы. Я уже вижу всю эту историю с такой ясностью, словно заглянул за рамку картинки. Генерал Касаткин обсуждает с каким-нибудь своим подгенералом, или как там это у них называется, праздничный фейерверк, который должен потрясти весь Тифлис. Что ему там еще делать в Тифлисе? Он был когда-то боевой красавец, подавлял воинственных горцев, но теперь, как все военные на долгом постое, больше всего озабочен праздниками, фейерверками, парадами по случаю тезоименитства... или тезоименинства? Он несколько уже обрюзг, хотя все еще прекрасен. Знаменит внезапными вспышками гнева, во время которых весь апоплексически краснеет. Когда-нибудь так и помрет. Уделяет фейерверку огромное внимание, чтобы обязательно были петарды фамильных цветов князя Тавиани – зеленый и красный.

– Они все дальтоники, да.

– Да, это у них фамильное. И несчастный старик пришел совсем, совсем не вовремя. Господин генерал, говорит он решительно, я умоляю, я отшень прошу фас – отошлите на одну буквально минуту вашего помотшника, я имею вам сказать страшно фашное! Генерал любит старика, видит, что тот добросовестно старается выучить его немзыкальную дочь хоть каким-то до-ре-ми, и нехотя говорит: Николай Федорович, голубчик, уж подождите там в гостиной, вы же видите... И указывает бровями на старого сумасшедшего немца, который, конечно, чуть-чуть влюблен в молодое прелестное создание, а теперь учителя погонят со двора, очень грустно, можно понять...

– Да-да, – сказала Катька, – конечно, Георгий Васильевич, конечно. Я покурю пока в саду.

– Георгий Фасильевитш, – сказал Игорь, чуть приподнявшись и нависая над столом. – Я прошу фас. Фы должны отменить свадьбу.

Катька откинулась на стуле, изображая апоплексический удар.

– То есть как! – восклицает генерал Касаткин. – Что вы такое говорите, Карл Иванович! Вы давно у нас, вы друг дома, и как родной, и все такое, но вы позволяете...

– Какой-то он партийный функционер, – сказала Катька. – Какой-то он секретарь обкома.

– Так он и есть секретарь обкома! Он большая шишка в гарнизоне, он представитель государства в Тифлисе, армейский крикун, давно не воевавший. Как он еще должен разговаривать? Он может даже по имени-отчеству и на «ты»: Карл Иваныч, ты сам все понимаешь... Но он на «вы», потому что все-таки аристократ.

– Я начинаю догадываться, – прошептала Катька и сделала большие глаза.

– Ни о чем ты не догадываешься. Итак. Вы не знаете, говорит Карл Иванович, но я, я знаю. Фаш этот фосточный красавец никакой не князь Тавиани. Он авантюрист, выдающий себя за другого. Он не аристократ. Его если поскрести, то вы увидите такое... Он воспользуется приданым вашей дочери, обесточит ее и бросит, и вы никогда не отшиститесь от этого позора. Отложите свадьбу. Отмените ее фовсе.

– Да вы... да вы... да вы знаете ли, что вы себе позволяете, Карл вы этакой Иваныч! – завизжала Катька так, что на них оглянулись с дальнего столика – больше на веранде никого не было. – Что вы себе позволяете, в конце концов! Знаете ли вы, на кого клевете! Я знаю князя Тавиани, я был с ним... это самое... где же я с ним был? Я был с ним на охоте! Мы стреляли с ним фазанов, да! Он вел себя как настоящий мужчина!

– Барсов мы стреляли, – подсказал Игорь.

– И барсов, да! Там были двое, барс и барсетка, так он сумел воткнуть и там два раза повернуть! Барс в шоке, барсетка в обмороке. Он героический воин, настоящий аристократ, я проверил всю его родословную, и вы не смеете... вы никакого права... вы забываетесь, милости-сдарь! – Катька стукнула кулачком по столу. – Моя дочь Полина, то есть моя дочь Софико никогда не полюбила бы авантюриста! Мы, генералы Касаткины, триста лет служим престолу и насквозь видим всех, и всякий старый немец не будет нам тут, русским генералам... Простите, Карл Иваныч, – сказала она, отдышавшись. – Но вы действительно уж что-то это самое, переходите за грань.

– Кхарашо, – сказал Игорь и понурился. – Отшень кхарашо. Пусть же будет все, что будет. Прошу вас простить меня, генерал Касаткин.

– Да что же... да ничего... – забормотала Катька. – Вы тоже простите, погорячился, но вы сами понимаете, со всей этой помолвкой сейчас весь дом как с ума посходил...

– И Карл Иваныч, – продолжил Игорь, – является в четверг на последнее занятие. Ейн сюрприз! – восклицает он. Мы едем сегодня на наш последний урок к моему другу Альберту Федоровичу, он живет тут недалеко под Мтацминдой, он есть феликий музыкант. Не то што я, я обытшный музыкант. А он есть великий, и я хочу, тштобы он вас послушал и дал советы, как вам дальше укреплять ваш недюшинный талант.

– И ее вот так с ним отпускают? – ахнула Катька.

– Почему нет? Естественная вещь, старый немец, чудаковатый, всегда парик носит. Видишь парик? – он ткнул пальцем в картинку. – Ему лет семьдесят уже. И он раньше тоже возил ее на концерты, в оперу. Когда в Тифлис приезжали Патио, Бозио, Блерио – ну помнишь, летчик, он еще немного пел, – так он ее возил, конечно, и смотрел за ней, как бонна...

– Переменял панталоны ей...

– Все ей переменял, трогал всяко.

Они уставились друг на друга с прежней радостью, словно и не было никаких восьми лет, – но они были и очень чувствовались, и это была уже не игра, а игра в игру.

– Они едут в сторону Мтацминды. Но тут Софико начинает замечать, что вот уж пошли окраинные улочки, и вот уже они миновали телебашню, которой не было, конечно, но она уже угадывалась, и понятно было, что едут они вовсе не в центр города и не к великому музыканту. Она ощущает смутное беспокойство. Карл Иваныч сидит напротив, смотрит в окно, он неподвижен, голова оперта на скрещенные руки, а те, в свою очередь, на серебряный набалдашник трости.

– Боже мой! Что же он будет делать этой тростью!

– Ничего, это отвлекающая деталь.

– Куда же мы едем, Карл Иванович? – прошептала Катька с грузинским акцентом. – Куда вы везете меня? Помните, если вы решили меня похитить или учинить мне какое-то иное зло, мой жених, князь Тавиани... сделает с вами такое...

– Молчи, девочка, – спокойно ответил Игорь с тем же грузинским акцентом. – Пожалуйста, молчи.

– Ах, почему это я должна молчать, интересно! – пискнула Катька.

– Молчи, женщина, – сказал Игорь веско. – Потому что это я – князь Тавиани.

2

Признаться, этого она не ждала. Он не разучился ее удивлять.

– Какого же это хрена вы князь Тавиани? – спросила она и подбоченилась.

– Слушай мою команду, в смысле мою историю, – сказал Игорь, не поднимая глаз и размешивая соль в хаше. – Когда-то давным-давно молодой и глупый князь Тавиани познакомился в Петербурге не с теми людьми и вошел в опасный кружок. Они были молодые фурьеристы, ничего серьезного. Князь Тавиани перед ними форсил, поил грузинским вином и клялся, что его поддержит вся Мингрелия, что у него там в любом кабаке, то есть духане, все свои, и Кавказ поднимется и отделится, и все вместе мы опрокинем ненавистное самодержавие! И вообще – бахахи цхалши хихинебс! – он вскинул кулак. – Конечно, он врал. Он совсем не знал родную Грузию. И все эти люди не верили ему. Но среди них был осведомитель! – он многозначительно поднял брови. – Очень возможно, это был тот самый русский писатель, который всю жизнь писал про подпольных типов. Между прочим, большая сволочь.

– Он не был осведомитель! – вступилась Катька. – Он был прекрасный человек! Ты знаешь, что за ним был надзор до конца дней? Он знал, что его письма вскрываются, и нарочно писал жене подробно про то, как любит ее всю и в особенности один предмет, и как он хотел бы вдумчиво целовать именно этот предмет.

– Он был злобная скотина, но неважно, – отмахнулся Игорь – Надо было раскрыть заговор, хотя его не было, и заговор раскрыли, и князь Тавиани должен был вместе со всеми получить приговор – расстрел, замененный ссылкой, – но его предупредили. Он успел скрыться из Петербурга. Это у русских нет никакой национальной солидарности, а ему намекнул кто-то из своих, и он успел уехать в

Берлин. Там он много лет скитался под чужим именем, напуганный на всю жизнь, выучился музыке – ведь все грузины очень музыкальны! Но проклятая ностальгия томила и мучила его, как будто он знал, что в Тифлисе ему еще суждено найти настоящую страсть, и он, смертельно боясь разоблачения, проник в родную Грузию под чужим именем. Его никто не узнавал, вдобавок он носил парик; никто не помнил князя Тавиани и не заподозрил бы, что этот седой, робкий старик и есть когдатошний пылкий юноша, мечтавший об отделении Кавказа и умеренном раскрепощении отдельных угнетенных. Карл Иваныч с наслаждением выпивал боржоми и киндзмараули, обучал прелестную девочку игре на рояли, тихо радовался ее успехам – но тут в дом повадился ужасный ястреб, подлый авантюрист, выдающий себя за князя Тавиани! Ведь тот Тавиани давно пропал без вести, а этот был наглый пятидесятилетний самозванец, присвоивший чужое имя и биографию! Где было генералу Касаткину проверить его родословную? Он ничего не понимал в грузинских князьях, а Мэри была рада-радешенька, что блестящий аристократ заинтересовался ее дочкой. Кстати, этот фальшивый Тавиани был карточный шулер и сорил деньгами. Карл Иваныч панически боялся открыться, он уверен, что над ним по-прежнему висит чахотка и Сибирь, что дело его не закрыто и петрашевцы по-прежнему вне закона, а Достоевский пишет проправительственные романы по заданию Третьего отделения, иначе его тут же сошлют обратно в Омск! Представь, какой это ужас: знать, что назвавшийся твоим именем самозванец будет сейчас соблазнять прелестное существо, получит все приданое, бежит – и ты, ты будешь опозорен! Нет, с этим князь Тавиани мириться не мог. Он отчаялся отложить свадьбу и задумал похитить невесту, поскольку другого способа отменить помолвку у него нет. Теперь он везет ее в старую усадьбу, которую ему когда-то подарил отец; разумеется, там теперь запустение, но, может быть, его помнит хоть кто-то...

– И Софико смотрит на него вот такими вот глазами, – подхватила Катька. – Она понимает, что такое настоящий старый аристократ. В ее душе просыпается любовь к настоящему Тавиани, она целует его морщины, стаскивает парик, под которым круглая, потная мингрельская лысина...

– Да какое там стаскивает! – сказал Игорь устало. – В обморок она падает. Они все, то есть вы, падаете в обморок при первой

возможности. Потный парик, еще чего.

Киндзмараули было удивительно невкусным, но это был шанс несколько оглушить себя и притупить внезапно прорезавшуюся, дикую, с каждым словом усиливавшуюся тоску. Словно тормоз отпустили наконец. С утра, на остановке, потом в постели – все время был тормоз и дрожь, а сейчас одна тоска, пресная, сухая и белая, как лаваш.

– Ну а как это все разрешается?

– Это все еще далеко не разрешается. Он привозит ее в имение. Дома крик, шум, все ее разыскивают. И только три дня спустя во двор въезжает роскошная карета. Из нее выходит Карл Иваныч, без парика, в черкеске, или как там это называется, весь в белом, все шелковое, роскошное, национальное. Великолепный старик. С ним Софико, тоже во всем белом, только глаза красные от слез. Я – князь Тавиани! Я похитил вашу дочь по нашим обычаям и женюсь на ней, я наследник огромного состояния, вот все подтверждения, вот мой двоюродный брат, он подтверждает, что я Автандил Тавиани, все родинки на месте. Я бежал и скитался, и все дела. И если теперь справедливая русская власть сочтет нужным меня арестовать за политические преступления, которых я не совершал, говорит он на хорошем грузинском языке, то ваша дочь останется наследницей миллионного состояния, ей будет принадлежать половина Мингрелии. Это подлинно большая честь – быть вдовой князя Тавиани. Она сможет снова выйти замуж и будет еще счастлива. А этот презренный авантюрист – держите его, потому что я вижу, как он собирается бежать! – он будет сейчас разоблачен, и в случае чего сядем вместе. Так я сказал! Бахахи цхалши хихинебс, таков девиз нашего княжеского дома!

– Вах! – воскликнула Катька.

– Но тут прибывает тифлисский генерал-губернатор, который все уже знал, конечно. Мы счастливы приветствовать в нашем городе князя Тавиани! – восклицает он. – Настоящего князя Тавиани, да! И мы с презрением сейчас погоним этого самозванца, и я лично заклепаю его во узы! А вам, князь, я спешу сообщить, что вы полностью амнистированы еще в 1858 году, и дело ваше совершенно прекращено, и вы могли вернуться уже пятнадцать лет назад, потому что у всех бывают заблуждения молодости! И я благословляю ваш союз, дети мои, а вы, дорогая Софико, должны гордиться тем, как ваш

старый учитель рисковал жизнью, чтобы спасти вас от позорного брака с негодяем.

– А Софико стоит ни жива ни мертва. А Мэри в обмороке.

– И генерал Касаткин в обмороке, и Николай Федорович оттирает его притираниями. Короче, пожар в борделе во время наводнения, три свадьбы и одни похороны. Авантюриста ловят, он кусается. Но это, разумеется, не конец.

– Еще бы! – сказала Катька. – У нас еще двадцать минут.

3

– Ну и вот, – сказал Игорь и закурил. Курил он теперь что-то немецкое, она и марки этой не знала. – Они сыграли, конечно, свадьбу. А через две недели Софико сбежала от мужа, и уже никто, конечно, не мог ее найти. В Грузии вообще фиг кого найдешь.

– А что князь Тавиани? – спросила Катька, чуть не плача. Ей жаль было старого князя.

– А князь Тавиани стареет в одиночестве, стреляет фазанов, завел в Мингрелии оперу – даром, что ли, он учился музыке? – и поставил «Тристана и Изольду» ставшего вдруг очень модным Вагнера. Периодически он наезжает к родителям Софико. Касаткины безутешны. Правда, они выгодно женили своего Александра, и вообще он в Петербурге дошел до степеней известных. Так проходит пять лет, и однажды старый князь Тавиани, который ездил тут по оперным делам в Кутаиси, останавливается в небольшой деревушке испить, допустим, парного молока... или парного вина, что более приличествует обстановке... И возле глинобитного, или какие они там бывают, домика ковыряется в сухой земле сожженная солнцем женщина, иссохшая, почерневшая, а рядом с ней копошатся в соломе, или в чем там принято копошиться, двое детей, два и три года. А муж ее, босой и тоже иссохший, колет, допустим, дрова или тоже что-нибудь мотыжит, и граф Тавиани хочет дать им милостыню, потому что больно уж у них жалкие дети. И, взглядевшись в иссохшую мать, он с ужасом узнаёт...

– Князя Тавиани, – кивнула Катька. – Я знала, я знала.

– Дура ты, всегда все портишь.

– Действительно, – сказала она. – Всегда все порчу.

В этот момент она была совершенно такой, как раньше, без всяких следов долгой и бессмысленной борьбы со всем светом. Словно не было развода – которого, конечно, все равно не удалось бы избежать, даже если б не было никакого Игоря и никаких эвакуаций, – и второго брака, в котором тоже все было не ахти, и второго ребенка, который родился таким болезненным и выматывал ее так, словно и сам этот второй брак был напрасен и теперь приходилось расплачиваться за это. Теперь она, уже три года уговаривавшая себя, что все отлично, видела, насколько все плохо, – а если и могло быть хорошо, так она сама от этого отвернулась восемь лет назад, думая, что таким образом спасает мир. И, может быть, действительно спасла – но на черта была такая жизнь и такое спасение? Что должно погибнуть – пусть погибнет, и не о чем жалеть; по крайней мере, двое хорошо время проведут.

– Узнает Софико, – сказал Игорь. – Свою Софико. И говорит ей: Софико, если вы сделаете меня таким счастливым... таким ужасно счастливым, что вернетесь... я не то что все прощу, я поползу за вами следом и буду целовать следы ваших ног. Вот этих ваших ног, довольно грязных. Я усыновлю ваших детей. Я возьму вашего этого авантюриста, с которым вы тут живете и мучаетесь (авантюрист все это время стоит рядом навтытяжку), дворецким к нам во двор, замкомвзвода в наш замок, кем хотите. Он будет дворник, швейцар, он будет даже, если хотите, ваш любовник. Я никуда его не сдам, будем вместе жить, лобию кушать. Но только вернитесь ко мне, – и старик рыдает, и по лиловым губам катятся крупные слезы.

– Это невозможно никогда, Карл Иваныч, – сказала Катька. – Это невозможно, простите меня, дорогой. Я помню вас, я даже учу детей музыке, вот, видите? – она показывает ему доску с нарисованными клавишами. – Я даже иногда играю на ней «Метель» Листа. Но я никогда не буду вашей, потому что вы не князь Тавиани. Князь Тавиани – это тот, кого я люблю, понимаете? И никто, никто другой. Конец.

Катька помолчала.

– Очень милый рассказ, мог иметь успех в девяностых годах того века, – сказала она.

– Или этого.

– Или этого, да. Я, правда, не очень понимаю, в чем смысл.

– Смысл не обязателен. Тебе бы все смысла. Мораль ей, понимаете. Впрочем, если ты хочешь мораль... Она в том, Катька, – и он уставился ей прямо в глаза, как тогда, в самом начале их истории, когда изображал красного комиссара, – в том, чтобы никогда не слушаться ностальгии. Понимаешь? Это самое мерзкое чувство. Хуже, чем патриотизм. Мы все думаем, что это благородно – тосковать по Родине. А нет давно никакой Родины, переродилась до основания. Что мы – звери, привязанные к норе? К родной берлоге? Чем меньше в тебе звериного, тем лучше, и не надо возвращаться ни на какую Родину. Каждый князь Тавиани стал человеком ровно в той степени, в какой превратился в Карла Иваныча. Если б ты знала, Катька, до чего я ненавижу всех этих ностальгирующих, мастурбирующих! И эту тягу к прошлому, из которой никогда ничего хорошего не выходит! И эти разговоры «а помнишь», без которых мы, слава богу, обошлись! Я, кстати, так и не знаю, замужем ты или нет, и не вздумай говорить.

– Замужем, – сказала Катька.

– Ну и я женат, – сказал он и успел увидеть, как она поморщилась – то ли от обиды, то ли оттого, что почувствовала фальшь. – И надо как-то уже научиться внушать себе, что ничего нет, что позади ничего не остается, что каждое место тут только врет, что оно прежнее. Я и на дачу не поехал, страшно подумать, как там все заросло. Мать не занимается ничем, а больше никому не надо.

– Заросло, да. Все заросло.

– И сюда я напрасно приехал. Одно мучительство напрасное. Князь Тавиани – тот, кого я люблю, Родина – место, где я живу. И никто больше ни на что не имеет никакого права и никакой надо мной власти соответственно.

Его по-прежнему больше всего заботила чья-то власть над ним. Независимый человек.

– Никогда больше не приеду, – сказал он.

– Слушай, я, наверное, ужасная дрянь, – с трудом выговорила Катька. – Ведь это из-за меня всё так... и у нас, и вообще...

– Ладно, ладно. Не надо придавать себе слишком большого значения.

– Конечно. Забылась.

Он расплатился, и они вышли на майскую улицу, на которой почти не оставалось обычной майской свежести – внезапная жара

выжгла все, как землю вокруг глинобитной хижины князя Тавиани.

– Да, – вспомнил он. – А бывший авантюрист, который отсидел или сбежал – думаю, отсидел, потому что много ему дать не могли, он же не успел жениться и сбежать с приданым, – он стоит рядом, смиренный, перевоспитанный ее любовью... весь в белом... и говорит: поймите, князь, нельзя... но если вы хотите, я готов, конечно, дать вам всякое возможное удовлетворение... Крестьянин – князю, да? И тут они хохочут, все трое, дико начинают хохотать, и дети, глядя на них, тоже хихикают, таким смехом, каким ангелы смеются...

– Нет! – воскликнула Катька. – Нет! Они испугались и плачут. Вот. Точно. Как плачут ангелы. Эта деталь спасет все остальное.

– Хорошо, – сказал Игорь. – Пусть плачут.

Он поймал такси в аэропорт. Всех вещей у него было – легкая наплечная сумка. Все-таки здорово изменился, подумала Катька, ссутулился весь, одних морщин сколько. Взрослый человек, о господи, взрослый человек, с никому не нужными рудиментами, оставшимися от человека без возраста.

– Ну? – сказала она и поцеловала его в подбородок. – Навсегда-навсегда?

Июль 2014

Послесловие автора

Спасибо, что вы дочитали до этого места.

Автор считает долгом заявить, что город Брянск выбран им для некоторых событий по сугубо биографическим, а не географическим соображениям. Близ города Сухиничи, слава богу, нет никакой атомной электростанции. Интердом, описанный в восьмой главе, существует на самом деле, и история его подлинная, за вычетом нескольких подробностей, – но находится он в Иванове.

Поскольку автор большую часть жизни пишет стихи, он сочинил несколько стихотворений по ходу написания «Эвакуатора». Прилагать стихи к прозе – удобный прием: они по-иному подсвечивают то, о чем написано в книжке, излагают все то же самое, но более красиво, а если книжка почему-либо не получилась – служат ей посильным оправданием.

То, что предлагается вашему вниманию ниже, не «Стихи из романа», а скорее...

Стихи вокруг романа

Басня

Да, подлый муравей, пойду и попляшу,
И больше ни о чем тебя не попрошу.
На стеклах ледяных играет мерзлый глянец.
Зима сковала пруд, а вот и снег пошел.
Смотри, как я пляшу, последний стрекозел,
Смотри, уродина, на мой прощальный танец.

Ах, были времена! Под каждым мне листком
Был столик, вазочки, и чайник со свистком,
И радужный огонь росистого напитка...
Мне только то и впрок в обители мирской,
Что добывается не потом и тоской,
А так, из милости, задаром, от избытка.

Замерзли все цветы, ветра сошли с ума,
Все, у кого был дом, попрятались в дома,
Повсюду муравьи соломинки таскают...

А мы, не годные к работе и борьбе,
Умеем лишь просить «Пусти меня к себе!» –
И гордо подыхать, когда нас не пускают.

Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине
Веселый рой теней, – ты подползешь ко мне,
Худой, мозолистый, угрюмый, большеротый, –
И, с завистью следя воздушный мой прыжок,
Попросишь: «Стрекоза, пусти меня в кружок!» –
А я скажу: «Дружок! Пойди-ка поработай!»

Пэон четвертый

О боже мой, какой простор! Лиловый, синий, грозовой, – но чувство странного уюта: все свои. А воздух, воздух ледяной! Я пробиваю головой его разреженные, колкие слои. И – вниз, стремительней лавины, камнепада, высоту теряя, – в степь, в ее пахучую траву! Но, долетев до половины, развернувшись на лету, рванусь в подоблачье и снова поплыву.

Не может быть: какой простор! Какой-то скифский, а верней – дочеловеческий. Восторженная дрожь: черносеребряная степь и море темное за ней, седыми гребнями мерцающее сплошь. Над ними – тучи, тучи, тучи, с чернотой, с голубизной в разрывах, солнцем обведенные края – и гроздя гроз, и в них – текучий, обтекаемый, сквозной, неузнаваемый, но несомненный я.

Так вот я, стало быть, какой! Два перепончатых крыла, с отливом бронзовым, – смотри: они мои! Драконий хвост, четыре лапы, гибкость змея, глаз орла, непробиваемая гладкость чешуи! Я здесь один – и так под стать всей этой бурности, всему кипенью воздуха и туч лиловизне, и степи в черном серебре, и пене, высветлившей тьму, и пустоте, где в первый раз не тесно мне.

Смотри, смотри! Какой зловещий, зыбкий, манкий, серый свет возник над гребнями! Летучая гряда, смотри, разверзлась и раздвинулась. Приказ или привет – еще не ведаю; мне, стало быть, туда. Я так и знал: все только начато. Я чувствовал, что взят не ради отдыха. Ведь нас наперечет. Туда, туда! Клубится тьма, дымится свет, и дивный хлад, кристальный душ по чешуе моей течет.

Туда, на зов, на дымный луч! Лети, не спрашивай причин, без сожаления о первом из миров, – туда, в пространство зыбких форм, непостижимых величин, чудесных чудищ, грозных игрищ и пиров! Туда, где облачных жаровен тлеют угли, где в чаду сраженья горнего грохочет вечный гром, туда, где в битве, час неровен, я, глядишь, опять паду и вновь очнусь, уже на ярусе втором.

Лечу, крича: «Я говорил, я говорил, я говорил! Не может быть, чтоб все и впрямь кончалось тут!». Как звать меня? Плезиозавр? Егудиил? Нафанаил? Левиафан? Гиперборей? Каталабют? Где я

теперь? Изволь, скажу, таранить облако учась одним движением, как камень из пращи: пэон четвертый, третий ярус, пятый день, десятый час. Вот там ищи меня, но лучше не ищи.

* * *

Я не могу укрыться ни под какую крышей. Моя объективность куплена мучительнейшей ценой – я не принадлежу ни к нации явно пришлой, ни к самопровозглашенной нации коренной. Как известный граф, создатель известных стансов о том, что ни слева, ни справа он не в чести, – так и я, в меру скромных сил, не боец двух станов, точней, четырех, а теперь уже и шести. Не сливочный элитарий, не отпрыск быдла, я вижу все правды и чувствую все вранье – все мне видно, и так это мне обидно, что злые слезы промыли зренья мое.

Кроме плетенья словес, ничего не умея толком (поскольку другие занятия, в общем, херня), – по отчим просторам я рыскаю серым волком до сей поры, и ноги кормят меня. То там отмечусь, то тут чернилами брызну. Сумма устала от перемены мест. Я видел больше, чем надо, чтобы любить Отчизну, но все не дождусь, когда она мне совсем надоест. Вдобавок я слишком выдержан, чтобы спиться, и слишком упрям, чтоб прибиться к вере отцов. Все это делает из меня идеального летописца, которого Родина выгонит к черту в конце концов.

Что до любви, то и тут имеется стимул писать сильнее других поэтов Москвы. От тех, кого я хочу, я слышу – прости, мол, слушать тебя – всегда, но спать с тобою – увы. Есть и другие, но я не могу терпеть их. Мне никогда не давался чистый разврат. Слава богу, имеются третьи, и этих третьих я мучаю так, что смотрите первый разряд. Портрет Дориана Грея, сломавший раму, могильщик чужой и мучитель своей семьи, я каждое утро встречаю, как соль на рану. И это все, чего я достиг к тридцати семи.

Отсюда знание жизни, палитра жанровая, выделка класса люкс, плодовитость-плюс.

- Собственно говоря, на что ты жалуешься?
- Собственно, я не жалуюсь, я хвалюсь.

Начало зимы

1

Зима приходит вздохом струнных:
«Всему конец».
Она приводит белорунных
Своих овец,
Своих коней, что ждут ударов,
Как наивысшей похвалы,
Своих волков, своих удавов,
И все они белы, белы.

Есть в осени позднеконечной,
В ее кострах,
Какой-то гибельный, предвечный,
Сосуший страх:
Когда душа от неуютя,
От воя бездны за стеной
Дрожит, как утлая каюта
Иль теремок берестяной.
Все мнется, сыплется, и мнится,
Что нам пора,
Что опадут не только листья,
Но и кора,
Дома подломятся в коленях
И лягут грудой кирпичей –
Земля в осколках и поленьях
Предстанет грубой и ничьей.

Но есть и та еще услада
На рубеже,
Что ждать зимы теперь не надо:
Она уже.
Как сладко мне и ей – обоим –

Вливаться в эту колею:
Есть изныванье перед боем
И облегчение в бою.

Свершилось. Все, что обещало
Прийти, – пришло.
В конце скрывается начало.
Теперь смешно
Дрожать, как мокрая рубаха,
Глядеть с надеждою во тьму
И нищим подавать из страха –
Не стать бы нищим самому.

Зиме смятенье не пристало.
Ее стезя
Структуры требует, кристалла.
Скулить нельзя,

Но подберемся. Без истерик,
Тверды, как мерзлая земля,
Надвинем шапку, выйдем в скверик:
Какая прелесть! Всё с нуля.

Как все бело, как незнакомо!
И снегири!
Ты говоришь, что это кома?
Не говори.
Здесь тоже жизнь, хоть нам и странен
Застывший, колкий мир зимы,
Как торжествующий крестьянин.
Пусть торжествует. Он – не мы.

Мы никогда не торжествуем,
Но нам мила
Зима. Коснемся поцелуем
Ее чела,
Припрячем нож за голенищем,

Тетрадь забросим под кровать,
Накупим дров и будем нищим
Из милосердия подавать.

2

– Чтобы было, как я люблю, – я тебе говорю, – надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы, и снег оскольчат и ноздреват – то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки, и растлевающий дух весны душит ее полки. Где былая их правота, грозная белизна? Марширующая пята растапывала, грузна, золотую гниль октября и черную – ноября, недвусмысленно говоря, что все уже не игра. Даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним водружает крест, плавит его, как воск. Зло, пытавшее на излом, само себя перезлив, побеждается только злом, пытающим на разрыв, и уходящая правота вытеснится иной – одну провожает дрожь живота, другую чую спиной.

Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен – время от нас отводило глаз, и этим я был пленен. Я люблю этот дряхлый смех, мокрого блеска резь. Умиравшим не до тех, кто остается здесь. Время, шедшее на убой, вязкое, как цемент, было занято лишь собой, и я улучил момент. Жизнь, которую я застал, была кругом неправа – то ли улыбка, то ли оскал полуживого льва. Эти старческие черты, ручьистую болтовню, это отсутствие правоты я ни с чем не сравню... Я наглотался отравы той из мутного хрусталя, я отравлен неправотой позднего февраля.

Но до этого – целый век темноты, мерзлоты. Если б мне любить этот снег, как его любишь ты – ты, ценящая стиль макабр, вскормленная зимой, возвращающаяся в декабрь, словно к себе домой, девочка со звездой во лбу, узница правоты! Даже странно, как я люблю все, что не любишь ты. Но покуда твой звездный час у меня на часах, выколачивает матрас метелица в небесах, и в четыре почти черно, и вовсе черно к пяти, и много, много еще чего должно произойти.

Новая графология-2

Если бы кто-то меня спросил,
Как я чую присутствие высших сил –
Дрожь в хребте, мурашки по шее,
Слабость рук, подгибанье ног, –
Я бы ответил: если страшнее,
Чем можно придумать, то это Бог.

Сюжетом не предусмотренный поворот,
Небесный тунгусский камень в твой огород,
Лед и пламень, война и смута,
Тамерлан и Наполеон,
Приказ немедленно прыгать без парашюта
С горящего самолета, – все это он.

А если среди зимы запахло весной,
Если есть парашют, а к нему еще запасной,
В огне просматривается дорога,
Во тьме прорезывается просвет, –
Это почерк дьявола, а не Бога,
Это дьявол под маской Бога
Внушает надежду там, где надежды нет.

Но если тыходишь во тьму, а она бела,
Прыгнул, а у тебя отросли крыла, –
То это Бог, или ангел, его посредник,
С хурмой «Тамерлан» и тортом «Наполеон»:
Последний шанс последнего из последних,
Поскольку после последнего – сразу он.

Это то, чего не учел Иуда.
Это то, чему не учил Дада.
Чудо вступает там, где, помимо чуда,
Не спасет никто, ничто, никогда.

А если ты в бездну шагнул и не воспарил,
Вошел в огонь, и огонь тебя опалил,
Ринулся в чашу, а там берлога,
Шел на медведя, а их там шесть, –
Это почерк дьявола, а не Бога,
Это дьявол под маской Бога
Отнимает надежду там, где надежда есть.

Песенка

Да, завидую – ты можешь на него облокотиться,
Опереться, положиться, встать под сень.
Ибо он твое спасенье, как окоп для пехотинца,
Как кинжал для кахетинца, как постель
Для усталого скитальца, как непалка для непальца,
Как для путника в чащобе тайный знак.
Да, завидую, мой ангел. Извини мое нахальство.
Я и сам бы так хотел, но все никак.

Для меня же ты окопа не увидишь, как ни щурься.
Редкий лес, пустое поле, голый лед.
Ибо мне он не опора, извини мое кощунство,
А скорее, я боюсь, наоборот.
Мне никто не даст гарантий, даже если бы воскресли
Все святые, коим имя легион.
Это я его последняя надежда, ибо если
Я обрушусь, то обрушится и он.
Ты умеешь видеть стену, я умею – только бездну,
Обступившую меня по рубежу.
Это он навек исчезнет, если я навек исчезну
Или даже если что не так скажу.

Кто из нас сидит в окопе, кто танцует на прицеле –
Не подскажет никакое колдовство.
Хорошо тебе, и плохо мне, держащемуся еле,
А ему – боюсь и думать каково.

* * *

Озирая котел, в котором ты сам не варишься, презирая клятвы,
которые мы даем, – не тверди мне, агностик, что ты во всем
сомневаешься. Или нет, тверди – добавляя: «во всем твоём». Ибо есть

твое – вопреки утвержденью строгому, что любая вера тобою остранена. Есть твое, и мне даже страшно глядеть в ту сторону – до того скупа и безводна та сторона. Где уж мне до упорства черствого, каменистого, хоть надень я мундир и ремнями перетянись. Есть твое, и в него ты веришь настолько истово, что любой аскет пред тобою релятивист. Ход туда мне закрыт. Дрожа, наблюдаю издали: кабала словес, ползучая каббала, лабиринты, пески, а меж ними такие идолы, что игрушками кажутся все мои купола.

Не тверди, обнимаясь с тартусцами и с вѣнцами, рассыпая мелкие искры, как метеор, – что с таких, как я, начинаются все Освенцимы, ибо всякая твердая вера – уже террор. Как я знаю всю твою зыбкость, перетекание, разрушенье границ – соблазн его так влекущ! Есть твоя вертикаль, и она еще вертикальнее, но скрывает ее туман, оплетает плющ. Я боюсь плюща – хоть растенье, в общем, красивейшее. Так узорчат лист, так слаба курчавая плеть – но за слабостью этой темнеет такая силища, что и дубу, и грабу опасно туда смотреть.

Но хоть все пески, всю пустыню словами вымости, завали цветами, чей многоцветен пир, – не тверди, не пой мне о щедрой твоей терпимости и о том, как в сравнении с нею я нетерпим! О, ты терпишь всех, как терпит белая бестия ундерменша в коросте, прикованного к ярму. Я терплю этот мир иначе – как терпят бедствие. Извини, что я иногда нетерпим к нему.

Я не все говорю, не всему раздаю названия, вообще не стремлюсь заглядывать за края – ибо есть зазор спасительного незнания, что тебе и мне оставляет вера моя. В небесах случаются краски, которых в мире нет, – немучительная любовь и нестыдный стыд. Твой пустынный Бог никогда меня не помилует, – мой цветущий тебя простит и меня простит.

Теодицея

– На, – сказал генерал, снимая
«Командирские». –
Хочешь – носи, хочешь – пропей.

Михаил Веллер

Не всемогущий, в силе и славе, творец миров,
Что избрал евреев и сам еврей,
Не глухой к раскаяньям пастырь своих коров,
Кучевых и перистых, – а скорей
Полевой командир, небрит или бородат,
Перевязан наспех и полусед.
Мне приятно думать, что я не раб его, а солдат.
Может быть, сержант, почему бы нет.

О, не тот, что нашими трупами путь мостит
И в окоп, естественно, ни ногой,
Держиморда, фанат муштры, позабывший стыд
И врага не видевший, – а другой,
Командир, давно понимающий всю тщету
Гекатомб, но сражающийся вотще,
У которого и больные все на счету,
Потому что много ли нас вообще?

Я не вижу его верховным, как ни крути.
Генеральный штаб не настолько прост.
Полагаю, над ним не менее десяти
Командиров, от чьих генеральских звезд
Тяжелеет небо, глядящее на Москву
Как на свой испытательный полигон.
До победы нашей я точно не доживу –
И боюсь сказать, доживет ли он.

Вот тебе и ответ, как он терпит язвы земли,

Не спасает детей, не мстит палачу.
Авиации нет, снаряды не подвезли,
А про связь и снабжение я молчу.
Наши танки быстры, поём, и крепка броня,
Отче наш, который на небесех!
В общем, чудо и то, что с бойцами вроде меня
Потеряли еще не всё и не всех.

Всемогущий? – о нет. Орудья – на смех врагу.
Спим в окопах – в окрестностях нет жилья.
Всемогущий может не больше, чем я могу.
«Где он был?» – Да, собственно, где и я.
Позабыл сказать: поощрений опять же нет.
Ни чинов, ни медалей он не дает.
Иногда подарит – кому огниво, кому кiset.
Скажем, мне достались часы «Полет».

А чего, хорошая вещь, обижаться грех.
Двадцать пять камней, музыкальный звон.
Потому я и чувствую время острее всех –
Иногда, похоже, острее, чем он.
Незаметные в шуме, слышные в тишине,
Отбивают полдень и будят в шесть,
Днем и ночью напоминая мне:
Времени мало, но время есть.

Колыбельная для дневного сна

В удушливом полдне, когда ни гу-гу
В цветущем лугу и заросшем логу,
И, еле качая тяжелые воды,
Река изогнулась в тугую дугу
И вяло колышет лиловые своды
Клубящейся тучи на том берегу, –
СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ.
Я слышу их рост и уснуть не могу.

Как темные мысли клубятся в мозгу,
Как в пыльные орды, в живую пургу
Сбивают гонимые страхом народы, –
В безмолвии августа, в душном стогу,
В теплице безветренной влажной погоды
СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ.
Я вижу их мощь и дышать не могу.

Один изгаляется в узком кругу,
Взахлеб допивая остатки свободы,
Другой проклинает недавние годы,
А третий бежит, норовя на бегу
Еще и поставить подножку врагу, –
Хотя их обоих накроют отходы,
Осколки руды и обломки породы.
На всем горизонте, на каждом шагу
СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ.
Я знаю какой, но сказать не могу.

Но в это же время, над той же рекой,
В лиловом дыму вымывая проходы,
В ответ собираются силы такой,
Такой недвусмысленно ясной природы,
Что я ощущаю мгновенный покой.

Уже различая друг друга в тумане,
Они проплывают над лесом травы.
Имело бы смысл собираться заранее,
Но первыми мы не умеем, увы.

И я засыпаю, почти замурлыкав,
В потоке родных переливов и бликов
Плывя в грозовую, уютную тьму.
У тех, кто клубится в лиловом дыму,
Всегда бесконечное множество ликов,
А мы остаемся верны одному.

Неясно, каков у них вождь и отец,
Неясно, чего они будут хотеть,
Неясно, насколько все это опасно
И сколько осталось до судного дня,
И как это будет, мне тоже неясно.
Чем кончится – ясно, и хватит с меня.
Одиннадцатая баллада

Серым мартом, промозглым апрелем,

Миновав турникеты у врат,
Я сошел бы московским Орфеем
В кольцевой концентрический ад,

Где влачатся, с рожденья усталы,
Позабывшие, в чем их вина,
Персефоны, Сизифы, Танталы
Из Медведкова и Люблина, –

И в последнем вагоне состава,
Что с гуденьем вползает в дыру,
Поглядевши налево-направо,
Я увижу тебя – и замру.

Прошептав машинально «Неужто?»
И заранее зная ответ,
Я протиснусь к тебе, потому что
У теней самолюбия нет.
Принимать горделивую позу
Не пристало спустившимся в ад.
Если честно, я даже не помню,
Кто из нас перед кем виноват.

И когда твои хмурые брови
От обиды сомкнутся в черту, –
Как Тиресий от жертвенной крови,
Речь и память я вновь обрету.

Даже страшно мне будет, какая
Золотая, как блик на волне,
Перекатываясь и сверкая,
Жизнь лавиной вернется ко мне.

Я оглохну под этим напором
И не сразу в сознание приду,
Устыдившись обличья, в котором
Без тебя пресмыкался в аду,

И забьется душа моя птичья,
И, выпрастываясь из тенёт,
Дорастет до бывшего величья –
Вот тогда-то как раз и рванет.

Ведь когда мы при жизни встречались,
То, бывало, на целый квартал
Буря выла, деревья качались,
Бельевой такелаж трепетал.

Шум дворов, разошедшийся Шуман,
Дранг-унд-штурмом врывается в дома –
То есть видя, каким он задуман,
Мир сходил на секунду с ума.

Что там люди? Какой-нибудь атом,
Увидавши себя в чертеже
И сравнивши его с результатом,
Двадцать раз бы взорвался уже.

Мир тебе, неразумный чеченец,
С заготовленной парюю фраз
Улетающий в рай, подбоченьясь:
Не присваивай. Всё из-за нас.

... Так я брежу в дрожащем вагоне,
Припадая к бутылке вина,
Поздним вечером, на перегоне
От Кузнецкого до Ногина.

Эмиссар за спиною маячит,
В чемоданчике прячет чуму...

Только равный убьет меня, значит?
Вот теперь я равняюсь чему.

Остается просить у Вселенной,
Замирая оглохшей душой,
Если смерти – то лучше мгновенной,
Если раны – то пусть небольшой.

Двенадцатая баллада

Хорошо, говорю. Хорошо, говорю тогда. Беспощадность вашу могу понять я. Но допустим, что я отрекся от моего труда и нашел себе другое занятие. Воздержусь от враг, позабуду, что я вам враг, буду низко кланяться всем прохожим. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Сохранить тебе жизнь мы никак не можем.

Хорошо, говорю. Хорошо, говорю я им. Поднимаю лапки, нет разговору. Но допустим, я буду неслышен, буду незрим, уползу куда-нибудь в щелку, в нору, стану тише воды и ниже травы, как рак. Превращусь в тритона, в пейзаж, в топоним. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Только полная сдача и смерть, ты понял?

Хорошо, говорю. Хорошо же, я им шепчу. Все уже повисло на паутинке. Но допустим, я сдамся, допустим, я сам себя растопчу, но допустим, я вычищу вам ботинки! Ради собственных ваших женщин, детей, стариков, калек: что вам проку во мне, уроде, юроде?

Нет, они говорят. Без отсрочек, враз и навек. Чтоб таких, как ты, вообще не стало в природе.

Ну так что же, я говорю. Ну так что же-с, я в ответ говорю. О, как много попыток, как мало проку-с. Это значит, придется мне вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел, но не я виноват, что вы всё забыли! Раз-два-три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, Господи Боже мой. Не поверишь, Боже, как надоело.

Четырнадцатая баллада

Я знал, что меня приведут
На тот окончательный суд,
Где все зарыдают, и всё оправдают,
И всё с полувзгляда поймут.
И как же, позвольте спросить,
Он сможет меня не простить,
Чего ему боле в холодной юдоли,
Где лук-то непросто растить?
Ведь должен же кто-то, хоть Бог,
Отбросив возвышенный слог,
Тепло и отрадно сказать мне: «Да ладно,
Ты просто иначе не мог!» –
И, к уху склоняясь моему,
Промолвить: «Уж я-то пойму!».
Вот так мне казалось; и как оказалось –
Казалось не мне одному.

... Теперь на процессе своем
Стоим почему-то втроем:
Направо ворота, налево гаррота,
А сзади лежит водоем.

И праведник молвил: «Господь,
Я долго смирял свою плоть,
Мой ум упирался, но ты постарался –
И смог я его побороть.
Я роздал именье и дом,
Построенный тяжким трудом, –
Не чувствуя срама, я гордо и прямо
Стою перед Вышним судом».

Он смотрит куда-то туда,
Где движется туч череда,

И с полупоклоном рассеянным тоном
Ему отвечает: «Да-да».

И рядом стоящий чувак
Сказал приблизительно так:
«Ты глуп, примитивен, ты был мне противен,
Я был твой сознательный враг.
Не просто озлобленный гном,
Которому в радость погром, –
О, я был поэтом, о, я был эстетом,
О, я был ужасным говном!
Я ждал, что для всех моих дел
Положишь ты некий предел, –
Но, словно радея о благе злодея,
Ты, кажется, недоглядел.
Я гордо стою у черты
На фоне людской мелкоты:
Доволен и славен, я был тебе равен –
А может, и выше, чем ты!»

Он смотрит туда, в вышину,
Слегка поправляет луну
Левее Сатурна – и как-то дежурно
«Ну-ну, – отвечает, – ну-ну».

Меж тем все темней синева
Все легче моя голова.
Пришла моя очередь себя опорочивать,
А я забываю слова.
Среди мирового вранья
Лишь им и доверился я,
Но вижу теперь я, что все это перья,
Клочки, лоскутки, чешуя.
Теперь из моей головы
Они вылетают, мертвы,
Мой спич и не начат, а что-либо значит
Одно только слово «увы».

Всю жизнь не умея решить,
Подвижничать или грешить, –
Я выбрал в итоге томиться о Боге,
А также немножечко шить;
И вот я кроил, вышивал,
Не праздновал, а выживал,
Смотрел свысока на фанатов стакана,
На выскочек и вышибал –
И что у меня позади?
Да Господи не приведи:
Из двух миллионов моральных законов
Я выполнил лишь «Не кради».
За мной, о верховный ГУИН,
Так много осталось руин,
Как будто я киллер по прозвищу Триллер,
Чьей пищею был кокаин.
И все это ради того,
Что так безнадежно мертво –
Всё выползни, слизни, осколки от жизни,
Которой живет большинство;
И хроникой этих потерь
Я мнил оправдаться теперь?
Прости меня, Боже, и дай мне по роже –
Я этого стою, поверь.

Он смотрит рассеянно вдаль,
Я, кажется, вижу печаль
В глазах его цвета усталого лета –
Хорошая строчка, и жаль,
Что некому мне, старику,
Поведать такую строку;
Он смотрит – и скоро взамен приговора
«Ку-ку, – произносит, – ку-ку».

И мы остаемся втроем
В неведенье полном своем;

Нам стыдно, слюнтяям, что мы отвлекаем,
Подумать ему не даем,
Но праведник дышит тяжкó
И шепчет ему на ушкó:
«Ну ладно, понятно, хотя неприятно,
Но, Господи, дальше-то что?!»
И он, подавляя смешок,
Как если б морской гребешок
Спросил его: «Боже, а дальше-то что же?» –
«Да что? – говорит. – На горшок».

И вот мы сидим на горшках,
Навек друг у друга в дружках;
Зима наступает, детсад утопает
В гирляндах, игрушках, флажках.
Мой ум заполняет не то,
Что прожито и отжито,
А девочка Маша, и манная каша,
И что-то еще из Барто,
Но я успеваю вместить,
Что он и не мог не простить –
И этого, справа, по имени Слава,
Что всех собирался крестить,
И этого тоже козла,
Эстета грошового зла,
Сидящего слева, по имени Сева,
И третьего – кто он? Не зна...
Он всех нас простит без затей,
Но так, как прощают детей,
Чьи ссоры (при взгляде серьезного дяди)
Пустого ореха пустей.

Но краем сознания держась
За некую тайную связь,
Без коей я точно подох бы досрочно
И был совершенная мразь, –
Уставясь в окно, в полумрак,

Где бегают радостно так
Толпа молодежи, – я думаю: «Боже!
А надо-то было-то как?»

Он смотрит рассеянно вбок,
И взор его так же глубок,
Как тьма океана; но грустно и странно,
Как будто он вовсе не Бог,
Он мне отвечает: «Вот так,
Вот так вот»! – и делает знак,
Но этого знака среди полумрака
Уже мне не видно никак.
Он что-то еще говорит,
И каждое слово горит,
Как уголь заката; шумит, как регата,
Когда над волною парит,
И плещет, как ветка в грозу,
И пахнет, как стог на возу –
Вот так: бобэоби... но нет, вивизэре...
Потом моонзу, моонзу!

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Примечания

1

Перевод Г. Островской.

2

Вольный перевод.